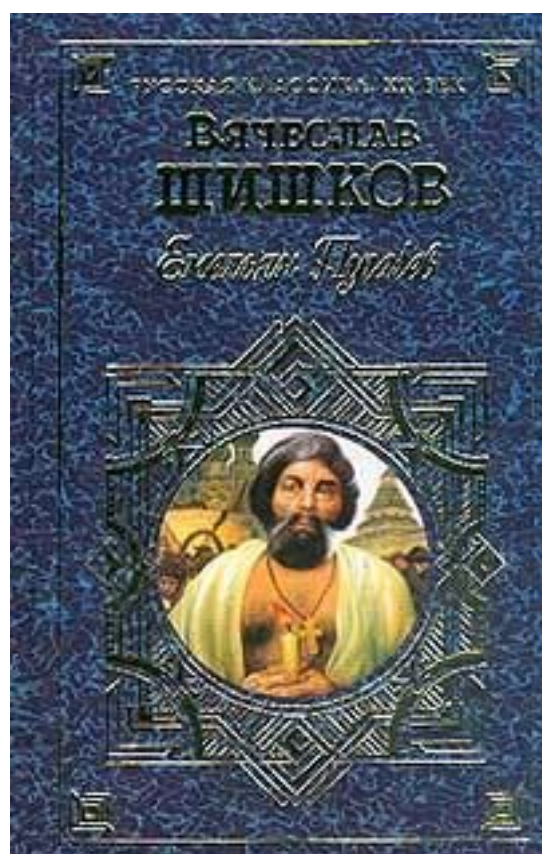




Вячеслав Яковлевич Шишков

Емельян Пугачев, т.2

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174085
В.Шишков Емельян Пугачев, т.2: Эксмо; Москва; 1998
ISBN 5-04-001163-6*

Аннотация

Жизнь, полную побед и поражений, хмельной вольной любви и отчаянной удали прожил Емельян Пугачев, прежде чем топор палача взлетел над его головой. Россия XVIII века... Необузданные нравы, дикие страсти, казачья и мужичья вольница, рвущаяся из степей, охваченных мятежом, к Москве и Питеру. Заговоры, хитросплетения интриг при дворе «матушки-государыни» Екатерины II, столь же сластолюбивой, сколь и жестокой. А рядом с ней прославленные государственные мужи... Все это воскрешает знаменитая эпопея Вячеслава Шишкова – мощное, многокрасочное повествование об одной из самых драматических эпох русской истории.

Содержание

Книга вторая	5
Часть вторая	5
Глава I	5
1	5
2	8
3	12
4	15
Глава II	18
1	18
2	24
3	26
4	30
Глава III	35
1	35
2	40
3	43
Глава IV	44
1	44
2	48
3	49
4	51
5	53
Глава V	56
1	56
2	61
3	64
4	66
5	70
Глава VI	73
1	73
2	76
3	78
4	80
Глава VII	85
1	85
2	86
3	88
4	91
5	93
Глава VIII	96
1	96
2	98
3	100
4	101
5	103
Глава IX	106

1	106
2	108
3	111
4	113
Глава X	115
1	115
2	119
3	121
4	124
Часть третья	128
Глава I	128
1	128
2	131
3	133
Глава II	136
1	136
2	138
3	140
4	143
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Вячеслав Шишков

Емельян Пугачев, т.2

Книга вторая

Часть вторая

Глава I

Веселые тетки. Военачальник Кар идет на Пугачева. Прапорщик Шванвич. Горячий на морозе бой

1

Пугачева обычно с утра осаждали разные людишки: то два подравшихся по пьяному делу есаула просили рассудить их, то ограбленная башкирцами баба из окрестного селения, то сельский попик, у которого казаки вывезли со двора свинью и еще две копны сена; то жалоба на колдуна-мельника, что по злобе он килы людям ставит. И так каждый Божий день. Большинство просителей Пугачев отсылал на решение к атаманам или к писарям.

Но вот сегодня, после недавнего сражения, Падуров привел к государю не просителя, а только что прискакавшего в Берду молодого мужика. Крестьянин покрестился на образа, упал Пугачеву в ноги, сказал:

– Царь-государь, дозволю слово молвить... К Сакмарскому городку казенный генерал идет с войском. Тебя, наш свет, ловить! Ямщик сказывал, Тереха Злобин. Поопасись, батюшка!

Пугачев изменился в лице. «Вот оно, начинается...» Правда, он ожидал против себя действий регулярных войск, но думал, что это еще долга песня: царицыны-то войска угнаны в Турцию. А тут на вот-те!

– Великое ль у него регулярство, много ль народу у него в команде? – спросил он крестьянина.

– Ямщицишка сказывал, да и другие прочие баяли, что, мол, команда не шибко велика, да и не больно мала, середка на половину вроде как... А хвамиль генералу – Кар.

– Кар? – переспросил Пугачев и переглянулся с Падуровым. – Ну так я этого знаю!

Отпустив крестьянина, Пугачев приказал позвать Овчинникова с Зарубиным-Чикой.

– Вот что, атаманы, – сказал он им, – по нашу душу генерал Кар идет. К Сакмаре подходит... Ты, Овчинников, тотчас спосылай туда конные дозоры. А послезавтра и сам отправляйся в тое место вкупе с Чикой. Со всех сил постарайтесь Кара к Оренбургу не допускать, а расколотить его в прах, наголову. Возьмешь с собой пятьсот доброконных казаков да шесть пушек. Ну, ступай, Андрей Афанасьевич, дается тебе сроку два дня, приуготовь войско к маршу. А главное смотренье сам буду чинить опосля и наставленье в подробностях дам.

Пугачев остался с глазу на глаз с Падуровым. Стараясь казаться бодрым, он подморгнул полковнику правым глазом и сказал:

– Эвот Катерина уж генералов на меня стала насылать. Садись, полковник, да прислушайся-ка, что молвить стану. Тебе ведомо, что по вчерашней ночи, опосля бою, к нам бежали с крепости четыре солдата, кои на часах стояли, да вдобавок два казака. А седни утром я им

допрос произвел. Оные солдаты уверительно сказывали, что всему головой там яицкие да оренбургские казаки. Вся беднота-то казацкая ко мне приклонилась, к государю. Вот и ты, спасибо, шестьсот молодцов привел. А у Рейнсдорпа богатенькие остались, да еще молодые, замордованные Матюшкой Бородиным: они и пикнуть супротив него страшатся.

– Чувствую, государь, к чему вы речь ведете. Не написать ли письма увещательные к жителям?

– Во! – кивнул головой Пугачев. – Напиши поскладней жителям, чтобы до конечной погибели себя не доводили, а сдавались бы мне. Это от моего императорского имени слово. А от себя пиши оренбургскому атаману Могутову Василию да яицкому старшине Мартемьяну Бородину: ежели хотят прощение от меня принять за супротивность за свою, то пускай уговорит солдат и казаков, да и всех начальников, чтобы немедля город сдали и покорились бы в подданство моему державству. А ежели не покорятся, да милосердный Бог поможет мне взять город штурмом, я с них живьем шкуру-де на ремни стану драть. – Он тяжело задышал и притопнул. – Да в письмах-то, слышь, уверяй их, что я, мол, доподлинный Петр Третий. И приметы, что в народе про меня ходят, пропиши: верхнего, мол, зуба нет наперед и правым глазом прищуриваю. Слыхал такие приметы?

– Как не слышать.

– Гляди, – Пугачев приподнял пальцами усатую губу и показал меж зубов щербинку. – Видал? Ну, вот! Да, слышь-ка, Падуров, как будешь писать Могутову Ваське, напомни-ка, брат ему, постыди-ка: ты что ж, мол, нешто забыл государевы-то милости, ведь он сына твоего пожаловал в пажи.

Падуров слушал со вниманием, все больше и больше поражаясь сметке Пугачева. «А и верно, неплохой бы из него царь был», – подумал он.

К обеду письма были изготовлены в духе сказанного Пугачевым. Атамана Могутова Падуров старался запугать своей собственной выдумкой: мол, государем получены новые бомбы адской силы, каждая бомба чинится тремя пудами пороха, и, мол, «невозможно ли, батюшка, уговорить его высокопревосходительство Ивана Андреича, чтобы он склонился и, по обычаю, прислал бы к государю письмо, чтоб государь вас простил и ничего бы над вами не чинил». Было в письме сообщено и про царские приметы. «Сверх того вам объявляю, батюшка Василий Иванович, что государь упоминает вас всегда и вспоминает то, как вашего сына Ивана Васильевича произвел в пажи».

Бородина он уверял в письме, что Пугачев, как его облыжно называют, доподлинный царь есть. «Удивляюсь я вам, Мартемьян Михайлыч, что вы в такое глубокое дело вступили и всех в то привлекли. Сам знаешь, братец, против кого идешь». Письма были длинные, обстоятельные. Пугачеву они понравились.

Падуров сказал, что затруднительно будет доставить письма по принадлежности. Пугачев, подумав, велел Давилину скликать восемь оренбургских баб, что неделю тому назад были отхвачены от обоза, тайно приезжавшего из крепости на луга за сеном. Падурову стало любопытно, он улыбался и накручивал усы.

Шумно вошли восемь рослых, крепких теток, в лаптях, в душегреях, в пуховых шالях. Лица у них одутловатые, глаза покрасневшие, заплывшие, будто после неспросыпного запоя. Покрестившись на икону, они поклонились Пугачеву. Он принимал их в золотом зальце. Тетки вертели головами, рассматривая убранство горенки, толкали друг дружку в бока, перешептывались.

– Ну, с чем пришли, красавицы? – спросил Пугачев, прищуривая правый глаз и отправляя челку на лбу.

– Ой, надежа-государь, а чего ж ты нас, сирот, в полон-то позабрал? – заголосили тетки. – Диво бы мужиков, а то баб.

– А пошто вы сено мое по ночам воровать ездите?

- Ой, надежа, сено-то не твое, а наше, мы сами косили, сами и ставили.
 - Сено ваше, а вы мои рабы – выходит, и сено мое.
 - Отпусти ты нас, батюшка, век за тебя будем Бога молить!
 - Пошто отпускать-то? Али плохо жить у меня? Может, кто пообидел вас?
- Тетки переглянулись между собой и заулыбались:

– Много твоей милостью довольны. И обиды нам от твоих не было. И винца, грешным делом, попили вдосыт, и покушали, и поплясали всласть, – выкладывали развеселившиеся тетки. – Эвот и вина у тебя сколь хошь, и хлеб дешевый – грош фунт, и говядина с бараниной – всего много, все шибко дешево. А у нас... Ой, да чего уж тут...

– Ну, вот и оставайтесь.

– Слов нет, мы бы, конечно, остаться согласны, да ведь в городу-то робятенки малые, да коровки, да козочки...

– У вас козочки, а у меня зато казачки, – пошутил Пугачев, лукаво подмаргивая теткам.

– Ха-ха, – закатились тетки; им очень по нраву пришелся ласковый царь-батюшка. – Слов нет, казачки твои насчет женских сердцов дюже сердитые... Ой ты! – сокрушенно, погреховному вздохнув и снова переглянувшись, тетки повалились Пугачеву в ноги: – Отпусти, надежа-государь, не задерживай нас, сирот...

– А ты чего в ноги не валишься? – и Пугачев воззрился в лицо красивой, с веселыми глазами, бабы.

– А я остаться у тебя в согласье, – замигала она и потупилась. – Я как есть на Божьем свете круглая вдова, я под тобою внизу живу...

– Как так?

– Я, круглая вдова, взамуж за твоего казака, конечно, вышла, за Кузьму Фофанова. Кузьма-то мой у тебя внизу упомещается. Ну-к и я с ним.

– Хах! – хохотнул Пугачев. – Ты, я вижу, с понятием! – Конечно, с понятием, конечно... Я, как круглая вдова...

– Да уж чего круглей, – перебил ее Пугачев, покосившись на пышнотелую молодку. – Ну ладно, оставайся. А вы, тетушки... Вам я волю объявляю. Давилин, вели старику Почиталину выдать молодайкам замест лаптей обутики добрые, да по бараньей ноге чтобы выдал, да круп с мукой. А ихним ребятишкам чтобы сладких леденчиков Максим Горшков отвесил.

Бабы аж затряслись и с радостными слезами взголосили:

– Надежа, надежа!.. Спасибочка тебе, надежа-батюшка... Ой, забирай ты скорее городишко-то наш... Забирай!

– Город заберу скоро. Ну, тетушки, сослужите и вы мне службишку. Вот возьмите-ка эти письма да передайте из рук в руки Мартемьяну Бородину да Могутову.

– О, это Ваське Могутову-то да Матюшке-то... Да зараз, зараз!

– Только, тетки, знайте: у меня в Оренбурге свои глаза и уши. Обманете – не прогневайтесь.

Тетки поклялись страшной клятвой, что все исполнят с радостью. Пугачев важно поднялся с кресла, дал каждой по полтине, сказал:

– Всем толкуйте, что я, великий государь Петр Федорыч, денно-нощно думаю о несносном житишке всей черни замордованной, всех мирян оренбургских. Толкуйте и казакам, и солдатишкам, чтоб не супротивничали мне, своих командиров не слушались, а бежали ко мне. А нет – выморю крепость голодом, а город выжгу. Толкуйте, что у меня всего много и я милостив.

Он велел Давилину отправить женщин на двух пароконных подводах с бубенцами, подвезти их к крепости на пушечный выстрел и с честью отпустить.

Когда стемнело, Пугачев распорядился нарядить за фуражом тысячу подвод в сторону Илецкой защиты. Велено было ехать по сыртам, минуя город. Еще не рассвело, как нагруженные сеном возы, не замеченные городом, уже возвращались в Бердскую слободу.

Наступил срок отправления отряда Овчинникова в поход. На рассвете ударила восточная пушка. Когда все было готово, к стоявшим в строю казакам подъехал Пугачев. Знамена склонились перед царем, все вокруг замерло. Только встряхивались в деревьях проснувшиеся галки и вороны.

Пугачеву нравился порядок, который завел атаман Овчинников среди своих казаков.

– Детушки! – начал он с коня. Звонкий его голос был слышен даже в хвосте растянувшегося на версту воинского обоза. – Детушки! Верные мои казаки! На мою императорскую армию измыслила поднять руку заблудшая жена моя, царица Катерина. Она выслала супротив меня генерала своего, бездельника, немчуру тонконогого, Кара. А нуте-ка, детушки, задайте тому Кару жару! (Казаки заулыбались.) Да такого жару задайте Кару, чтобы оный Кар и каркать позабыл. (Казаки по всем рядам всхотнули.)

Пугачев обнял Овчинникова, обнял Чику-Зарубина, скомандовал:

– С Бо-о-гом!.. Трогай!

2

Граф Захар Чернышев писал градоправителю Москвы, князю Волконскому, что для учинения сильного поиска «над злодеем Пугачевым посылается *ныне же наскоро* генерал-майор Кар».

Таким образом, Кар был избран наскоро и, как оказалось впоследствии, не совсем обдуманно. Да, впрочем, и выбирать-то было не из кого: в Петербурге в это время очень мало находилось армейских генералов вообще, а опытных и надежных среди них тем паче.

Василию Алексеевичу Кару не хотелось отправляться в немилый ему поход: наступала суровая зима, а здоровье его было не из важных, у него «хроническая трудно излечимая» болезнь, он только что вернулся с заграничных «теплых вод». Просился генерал в чистую отставку – не пустили... Ему всего сорок три года. Он звезд с неба не хватал, но все же был довольно опытный в военном деле командир, прошедший хорошую школу в Семилетнюю войну.

Невысокого роста, щуплый, большеголовый, виски запали, глаза расставлены широко и смотрят немного в стороны, как у зайца, рыжеватые волосы торчком, нос большой. Он совсем некрасив. С солдатами в мирное время очень холоден; в походе хотя он и старается наладить с командами отеческое отношение, но это ему плохо удается. В нем прорывается заносчивость, он временами становится без толку криклив и суетлив. Солдаты не любят его.

Он ехал до Казани по грязнейшим осенним дорогам в собственном хорошем экипаже и в сопровождении военного лекаря.

Не доезжая до Казани верст полтораста, он обогнал роту 2-го гренадерского полка. Генерал остановил отряд. Командир отряда поручик Карташев отрапортовал ему, что эта рота гренадер выступила из города Нарвы через Питер и движется скорым поспешением тоже в Казань.

– Прекрасно, – сказал Кар. – Ваша рота назначена в мое распоряжение. Вы немедленно посадите солдат на подводы и как можно скорей последуете за мной. В Казани не задерживайтесь, а проворней гоните к Оренбургу. В Кичуевском фельдшанце я буду вас поджидать.

Стоявший тут же молодой прапорщик Шванвич, адъютант Карташева, записывал в книжечку приказания генерала.

Губернатора Бранта генерал Кар в Казани не застал – Брант еще не возвратился из поездки за границы губернии, где он своими распоряжениями старался оказать посильную помощь Оренбургу.

Осмотрев небольшие воинские части, собранные казанским губернатором, Кар отправил их в Кичуевский фельдшанец, находившийся в четырехстах верстах от Оренбурга, и вслед за ними вскоре выехал сам.

В попутных деревнях крестьяне не оказывали Кару ни малейшего почтения, прямо-таки дерзки были.

И чем ближе к Оренбургу, тем поведение жителей становилось беспокойнее, задиричее. Вместо хороших лошадей в генеральский возок впрягли каких-то одров, ссылаясь на то, что ныне бескормица и что сытые кони потребованы под Оренбург. «Кто потребовал?» – «А кто же его ведаёт... Мы народ темный, нам говорили, что к самому батюшке-царю. И бумага от него была быдто бы...»

Кар всюду раздавал напечатанные в Петербурге увещательные манифесты, приказывал священникам и муллам оглашать их народу.

Иногда, и очень часто, вдруг выпорхнет из перелеска всадник в малахае и с луком за плечами, прощупает раскосыми глазами скользящий по скрипучему снегу возок генерала, сани его свиты и скачущий конвой, погрозит нагайкой, гикнет гортанным, каким-то птичьим голосом и, словно птица же, умчится прочь. Конвой всякий раз безуспешно бросался за такими дерзцами, но те неуловимы, как ветер.

Сильный мороз, Кар зябнет. Изнеженные руки его в меховых варежках и к тому же засунуты в дамскую теплую муфту.

– Морозы, дурацкая степь, метелицы... – брюзжит Кар. – Черт знает!.. И какой дурак зимой воюет? Ну и удружил мне граф Чернышев. Ведь я же болен, ведь я ж только что на теплых водах был. Ноги ноют, бок покалывает... А главное, какая же в моем распоряжении воинская сила? У меня никого! Вы понимаете? Нет никого... Ну да я не теряю надежды и с моей командой раздавить воровскую сволочь.

В Кичуевский фельдшанец Кар прибыл 30 октября. Там уже ожидал его назначенный ему в помощь приехавший из Калуги генерал-майор Фрейман.

При свидании генералы обнялись.

– Ну, Федор Юльевич, – воскликнул Кар, – я крайне рад, что вы со мною. Правда, силы у нас малые, но мы подкопим, подкопим! И самозванца расшибем вдрызг. Опасаюсь лишь, что они, разбойники, сведав о нашем приближении, обратятся в бег и, не допустив наши отряды до себя, скроются... того пуще всего опасаюсь.

Тактичный Фрейман не хотел сразу огорошить Кара. Поэтому свой печальный доклад делал Кару после сытного обеда. По докладу оказалось, что воинские силы, которые должны были поступить в распоряжение Кара, недостаточны: отряд майора Астафьева в Кичуевском фельдшанце, отряд майора Варнстедта, стоявшего за Бугульмой, и отряд симбирского коменданта полковника Чернышева – всего в трех отрядах около трех тысяч пятисот человек. Из них полевых кадровых войск шестьсот человек, остальные – старые, малогодные гарнизонные солдаты и плохо вооруженные отставные поселенцы, забывшие военную муштру.

Но главная неприятность, доложенная Кару, – это измена двух тысяч башкирцев, собранных губернатором Брантом на Стерлитамакской пристани; они открыто заявили, что уходят к «законному государю», даровавшему им земли и вольности. Точно так же изменили и пятьсот человек калмыков, находившихся на сакмарской линии.

Эта новость была большим ударом для Кара: его экспедиция лишалась, таким образом, прекрасной и многочисленной конницы.

И еще известие: местное население к увещательным манифестам императрицы относилось недоверчиво. У живущих по форпостам и в Яицком городке казаков по получении манифеста будто бы оказалось «зловредное отрыгновение», казаки, не стесняясь, говорили:

– Хотя нас и устраивают публикуемым манифестом, но мы того не боимся. Эта грамота нам читана, да не про нас она писана.

Трезвым складом ума Кар сразу оценил свое незавидное положение. Да к тому же он точно не знал, где находится Пугачев, велики ли его «воровские» силы и, наконец, может ли Рейнсдорп оказать наступательным действиям Кара серьезную помощь. С душевной болью генерал воочию убеждался, что весь Оренбургский край погружен в смятение... Да, черт возьми, было над чем призадуматься!

Воинских сил у Кара мало, конницы нет, артиллерия так себе, провианта скудно, фуража того меньше, а стоит морозная пора, и плохо одетые солдаты страдают от холода, ропщут.

Что же делать в этой стране мятежников, забывших свой долг перед отечеством?

«Наступать, наступать», – с отчаянною настойчивостью решил генерал Кар.

Он тотчас отправил в Бугульму на усиление отряда Варнstedта только что прибывшую из Москвы роту Томского полка и двести человек солдат казанского батальона. А на следующий день, 2 ноября, и сам прибыл в Бугульму.

Майор Варнstedт ошеломил Кара известием о том, что все окрестные селения передались самозванцу, что жители покинули свои дома, что многие поместья выжжены, край разорен и что, прежде чем двигаться вперед, необходимо заготовить продовольствие и фураж.

Задуманное Каром наступление задерживалось. В разные стороны посылались отряды для реквизиции фуража, продовольствия, лошадей. Оставшееся население вконец озлобилось, ничего не хотело давать в казну, подвергалось наказаниям и почти поголовно бежало в стан к Пугачеву.

Между солдатами тоже замечалось колебание. Они не надеялись ни на свою малочисленную артиллерию, ни на способности генерала Кара. Среди солдат ходили слухи, что у Пугачева артиллерия знатная, что силы у него много и что Оренбург давно им взят, только наши генералы-де это скрывают.

Кар решил некоторое время подождать, пока придут из Саратова четыре обещанных орудия да ожидаемые из Москвы армейские команды. А тогда можно будет и с малодушными солдатишками посчитаться и посечь их, а нет, так одного-другого и повесить.

Но ждать было некогда.

– Быстрота действий есть единственное средство для успеха, – сказал Кар на военном совещании.

И его отряд в полторы тысячи человек при пяти пушках выступил вперед.

С дороги Кар послал второй приказ симбирскому коменданту, полковнику Чернышеву, чтоб он тотчас же шел из Сорочинской крепости и занял крепость Чернореченскую, откуда чтоб зорко следил за неприятелем и при первой же его попытке к бегству чинил изменникам жесточайший вред и истребление.

Стратегические расчеты генерала Кара были в общем правильны. Подходившие к Оренбургу воинские части должны были окружить мятежников с трех сторон. А с четвертой стороны – Оренбург, с грозной артиллерией и большой воинской силой. Единодушные действия наступающих отрядов могли бы поставить Пугачева в безвыходное положение.

Но «судьба» и на этот раз продолжала покровительствовать Пугачеву.

Полная неосведомленность Кара в наличии и расположении правительственных отрядов, отсутствие какой бы то ни было связи с ними нарушали все планы генерала. Он и не подозревал о близком нахождении значительных сибирских сил генерала Деколлонга, а также отряда бригадира Корфа. С другой стороны, ни Деколлонг, ни Корф не ведали, что из

Петербурга прибыл генерал Кар с высочайшим поручением возглавить все действия против Пугачева.

Об экспедиции Кара, идущего на выручку Оренбурга, не знал и сам Рейнсдорп, отрезанный Пугачевым от всего внешнего мира.

О походе Кара знал лишь Пугачев. Только ему через своих людей были в точности известны и численность, и местонахождение всех выдвинутых против него правительственных сил. Емельян Иванович был среди народа как у себя дома, а генерал Кар чувствовал себя незванным гостем.

Утром 7 ноября Кар получил запоздалые сведения, что некий пугачевец, каторжник Хлопуша, со своей толпой, разгромив Авзяно-Петровский завод, движется к Оренбургу, в стан мятежников.

Кар тотчас приказал секунд-майору Шишкину двинуться с пятисотенным отрядом напересек пути Хлопуши и занять деревню Юзееву, что находилась в тридцати верстах от резиденции Кара.

Авангард Шишкина из семидесяти пяти человек пехоты и девяноста двух всадников уже подходил к Юзеевой, расположенной в низине. С горы виднелись в беспорядке разбросанные избы, среди них торчал покривившийся минарет мечети. Кругом холмы, пологи, увалы, перелески, белый снег, морозные мечи у солнца. Все тихо, все спокойно...

И вдруг справа и слева от дороги вымахнули из перелеска всадники – их сотни три – и стали наезжать на выдвинутый Шишкиным авангард.

– Против кого идете, солдаты? Против своего государя идете! – крикнул с коня черно-волосый Чика. – Кладите оружие, передавайтесь нам!

Часть конных татар тотчас же перешла на сторону Пугачева, но сзади быстрым маршем уже подходил крупный отряд Шишкина. Ободренная в авангарде пехота открыла по пугачевцам меткий огонь. С десятков яицких казаков и передавшихся татар попадали с коней. Чика скомандовал отступление, и пугачевцы ускакали.

Поздно вечером Шишкин занял Юзееву, а в три часа ночи явился сюда и генерал Кар со всем своим войском. Деревня была почти пуста, оставались лишь старики да малые дети. Взрослое же население, с лошадьми, скотом и даже с собаками, перекочевало в стан Пугачева.

Всему отряду Кара не хватило в избах мест, часть солдат расположилась на улицах и огородах. Было темно, жутко. В каждом крике, в каждом долетавшем издали звяке чудился крадущийся враг. Старые солдаты за ночной переход очень утомились, перезябли, а молодые рекруты, еще не нюхавшие порошу, тряслись от страха и от холода. Возле костров время от времени появлялись молодые офицеры, подбадривали пехотинцев, но и сами-то они были в боевых действиях еще неопытны и немало страшились пугачевцев.

– Полушубки да новые лапти с теплыми онучами нам треба, ваше благородие, – брюзжали солдаты. – А то пропадем! Эвот какие палящие морозы завернули.

Оба генерала и лекарь поместились в избе муллы. Душевное состояние Кара было отратительное.

– Не угодно ли, не угодно ли! – говорил он, нервничая, помаргивая широко расставленными глазами. – Мы идем ловить Хлопушу и, вместо Хлопуши, неожиданно натыкаемся на сильную ватагу. Кар не знает, где Пугачев, а Пугачев-то, не беспокойтесь, точно знает, где мы. Не угодно ли! А?

3

Утром ударила вестовая пушка. Еще не смолкли ее раскаты, как в квартиру Кара вбежал растерявшийся адъютант, а за ним следом – майор Астафьев. Оба офицера в повязанных по ушам коричневых башлыках, в длинных, выше колен, валенках, сплошь запорошенных снегом; офицеры бежали целиной по сугробам.

– Ваше превосходительство! – задышливо отрапортовали они в два голоса Кару. – Деревня окружена неприятельской толпой численностью в пятьсот-шестьсот всадников!

– С чем вас и поздравляю! – с фальшивой иронией бросил Кар. И оба генерала при помощи денщиков и лакея поспешно стали одеваться.

– А как войска? – крикливо спросил Фрейман, натягивая валенки.

– Войска в боевой готовности. Пушки вывозятся на удобные позиции, – отрапортовал Астафьев.

– Где неприятель и что он? – опять спросил Фрейман.

– Толпа маячит по обе стороны деревни, по горам и взлобкам, опасаясь, видимо, приблизиться на ружейный выстрел.

– Бить по разбойникам из пушек! – надевая поношенный свой мундир, воскликнул Кар воинственно.

– Смею заметить, Василий Алексеич, – возразил ему Фрейман, – что у нас маловато боеприпасов... Поберегать надо.

– Поберегать, берегать, – с недовольным выражением лица завертел головою Кар, будто свободный воротник мундира был ему тесен. – Будем берегать, так нас немедля стопчут... Ни черта нет, ни конницы, ни пушек, ни снарядов! Поди воюй!.. – добавил он желчно, явно преувеличивая нехватку своего отряда.

– А кроме того, – попытался поддержать распоряжение генерала майор Астафьев, – молчание артиллерии приводит наших пехотинцев в робость.

– Вот видите, видите, Федор Юльевич! А вы – берегать! Эй, Мишка! – крикнул Кар старому лакею. – Достань-ка, братец, из саквояжа с десяточек увещательных манифестов.

Тем временем к солдатским группам подъезжали – по два, по три – смельчаки пугачевцы, кричали им:

– Бросьте палить, солдаты! Мы вам худа не сделаем...

А Зарубин-Чика, высмотрев участки, где не было офицеров, подъезжал к пехотинцам почти вплотную. Чернобородый, горбоносый, глядя в упор на притихших, растерявшихся солдат, Чика кричал им:

– Неужто не видите? Деревня ваша пуста и весь край пуст. Не зря же все жители повернули к государю. Не верьте офицерам, они господскую выгоду блюдут. А наш истинный, природный государь Петр Федорыч приказал бар изничтожать, а всю землю мужикам отдать, и всему люду свет наш батюшка волю объявил... А что касемо солдатства, то слово нашего государя – быть всем в вольном казачестве!..

– Пошел прочь, злодей! – кричали старые солдаты. – Стрелять учнем!

– Ха-ха!.. Стрелять! – надрывался голосистый Чика. – Стрелял в нас один такой, да сам без головы остался!.. Станете супротивничать – пощады не ждите, солдаты!

– Ребята, сыпь на полку порох! Скуси патрон! – хриплым голосом скомандовал рыжеусый капрал. Молодые пехотинцы тотчас вскинули ружья на изготовку, но их руки тряслись.

Вдали рванула пугачевская пушка, и певучая картечь хлестнула по солдатским рядам. Вышедший Кар приказал стрелять ответно из пушек. Но тут отряд Чики скрылся, стягиваясь к мельнице.

– Видали? Вот вам и «поберегать»! – посмеивался Кар над Фрейманом. – Как зайцы разбежались. Их теперь с гончими собаками не сыщешь... Эх, если б мне еще с десяточек пушек да добрую конницу, – показал бы я им!

Меж тем Чика, присмотревшись к численности и настроению неприятельских солдат, то есть исполнив поручение атамана Овчинникова, вернулся со своими казаками к главным полевым силам пугачевцев, что прятались в перелеске, подле мельницы-ветрянки, всего в двух верстах от занятой Каром деревни Юзеевой.

Направляясь сюда из Берды, Овчинников в пути присоединил к себе тысячу пятьсот башкирцев. А казак Самодуров, командированный Овчинниковым на дорогу к Авзяно-Петровскому заводу, перехватил возвращавшегося в Берду с толпой заводских людей Хлопушу. Из толпы было отобрано триста ратников и две пушки с заводскими пушкарями-наводчиками. Вместе с Хлопушей ратники двинулись за Самодуровым к атаману, остальная же часть заводской толпы с четырьмя пушками продолжала свой поход в Берду. Таким образом, у Овчинникова было под мельницей почти две с половиной тысячи народу, большинство – доброконных.

О существовании в двух верстах от себя столь серьезной силы Кар и не подозревал. Он утешался тем, что утром удачно «разогнал» противника, что противник тот труслив и малочислен, да к тому же и вооружен лишь одной паршивенькой пушчонкой. Значит, нечего было Кару унывать, значит, все будет отлично, надо стойко ждать подкреплений. Кар теперь чувствовал себя хорошо, и его не одолевала даже подагра – сей зело лютый внутренний враг.

Да уж кстати – радостное, давножданное известие: прискакал подпоручик московских гренатер Татищев и доложил генералу, что сегодня в ночь должна прибыть сюда направленная из Москвы рота 2-го гренатерского полка.

– Ну, поистине мне сегодня бабушка ворожит! – воскликнул Кар и на радостях пригласил гренатера на обед.

Но бабушка ворожила, видно, не одному Кару. Почти в тот же час посчастливилось и атаману Овчинникову. Казачьи караулы схватили ехавшего в Юзееву квартирмейстера, из унтеров той же гренатерской роты, и доставили пленника Овчинникову. Допрос чинился у костра в лесу. Овчинников с Чикой и Хлопушей ели ушку из налимов, в котле плавали вкусные налимы печенки. Связанный гренатер отвечал на вопросы атамана вяло, без охоты.

– Командир нашей роты сначала послал к генерал-майору Кару офицера Татищева, а вслед за ним и меня. Мне велено прибывающим гренатерам квартиры приготовить.

– Квартиры мы твоим гренатерам и без тебя приготовим. Отвечай, сколько вас?

Квартирмейстер ответил и попросил, чтоб его развязали и, если будет милость, накормили: он прозяб и голоден. Овчинников строго спросил:

– Признаешь ли государя Петра Федорыча?

Квартирмейстер молчал, мялся, мускулы его широкого лица от внутреннего напряжения подергивались. Тут медленно поднялся в накинutom на плечи шебуре мрачный Хлопуша. Его корявые пальцы вцепились в торчавший за опояской тяжелый безмен, а белесые глаза, уставясь в лицо гренатера, заблестели по-холодному. Затаив дыхание, он ждал, какой ответ даст пленник.

– Оглох?.. – резко крикнул Овчинников.

Гренатер вздрогнул, сказал:

– Мы, известное дело, люди простые, не ученые, и про государя ничего такого-этакого не слышали. Только знаем, что он умерши, а была присяга государыне Екатерине.

– Так вот знай теперь, что государь жив-здоров и стоит со своим войском под Оренбургом. Мы слуги его величества... А твой Кар завтра на березе будет качаться, – со сдержанной силой сказал Овчинников. – Ну, так как, готов принять государя?

У Хлопуши захрипело в груди, он вытащил из-за опояски безмен и, избоченясь, угрожающе шагнул к гренадеру.

– В таком разе, – сорвавшимся голосом ответил гренадер, косясь на страшного, с безменом человека, – ежели он, батюшка, жив-здоров, мы, известное дело, с нашим удовольствием... Мы присягу и повернуть можем... Признаю государя! Чай, свой же, расейский!

Овчинников, махнув рукою Хлопуше, прощупал гренадера острым взглядом и приказал:

– Развязать его!.. Садись, квартирмейстер, к котлу. Эй, подайте-ка ложку!

Хлопуша сунул безмен за опояску, резким движением плеч подпернул сползавший бешмет и пошел в лесок. А освобожденный гренадер широко заулыбался. Но улыбка его выражала крайний испуг и душевное смятение. Он на морозе весь вспотел...

Ночь темная, тихая, морозная. Кар не спит. Кар нетерпеливо поджидает прибытия испытанной в боях гренадерской роты.

Рота движется медленно – дорогу перемело, попадаются длинные подъемы, лошади истомились. Обоз растянулся на версту – около полсотни подвод. На каждой подводе по четыре, по пять гренадеров. Обессиленное трудной дорогой и холодом, большинство их крепко спит, дежурные подремывают, веки слипаются, головы валяются на грудь. Тут же в санях кое-где сложены незаряженные ружья и мушкеты. А зачем их спозаранку заряжать, только зря порох отсыреет. Опасаться нечего: впереди отряд генерала – значит, врага нет и в помине.

В середине обоза, в спокойных санях, накрытые кошмой, – поручик Волжинский и прапорщик Шванвич.

– Черт, до чего надоело, – брзжит молодой прапорщик. – Ямщик, скоро ли Юзеева?

– А кто же ее ведает! – повернувшись к седокам, шамкает древний старик возница; он в больших собачьих мохнатках и повязан по шапке белой шалью, из-под шали торчат кончик распухшего на морозе носа, покрытая сосульками борода. – Вишь, темно! Вот падь проедем, пять верстов останется до Юзеевой-то... Пять верстов. А то и с гаком!

Сзади побрякивали шаркунцы на лошадях и доносилась негромкая песня: заунывно тянули два тенористых голоса. Сидевший слева от Шванвича поручик Волжинский легонько храпел и посвистывал носом. По бокам дороги темнели кусты или целый перелесок – не разобрать было. Тишина, нарушаемая лишь скрипом полозьев да ленивым понуканьем приморившихся коней.

Шванвичу не спится. Ночная тишина и мерное покачивание санок будят у него воспоминания. Он вспоминает недавнюю встречу в Петербурге со своим приятелем Гришей Коробьиным. Встретились они в Милютиных рядах, на Невском, в погребке венгерского купца Супоняжа, пили токайское, а за токайским попросили венгерского, закусывали жареными фисташками. Затем, охмелев, стали откровенничать, стали изъясняться в любви и дружбе. Офицер Коробьин, вплотную придвинувшись к Шванвичу, шепотом сказал ему, что он получил на днях от своего знакомого, из-под Оренбурга, от депутата Большой комиссии, сотника Падурова, необычайное письмо. «Вот прочти», – сказал ему Коробьин и подал исписанный кудрявым почерком лист. Шванвич прочел, вытаращил на приятеля глаза и спросил его: «Что сие значит?» – «А значит сие то, – ответил Коробьин, – что в нашей Россиюшке...»

На этом месте воспоминания Шванвича пресеклись. Из тьмы, как с неба гром, ударила пушка, другая, третья. По окрестности прогудело раскатистое эхо. На санях по всему обозу все повскакали, ночную тьму взорвали сотни крикливых, заполошных голосов. Обоз враз остановился. Мимо Шванвича проскакал на коне начальник роты поручик Карташов.

– Ружья! Гренадеры, ружья!.. – орал он с коня. – Стройся!

И путанные в ответ по всему обозу голоса солдат:

– Где ружья-то?.. Не заряжены они, чай?

– Ах, черт!.. Говорил – зарядить...

– Пули, пули забивай! Давай натруску!

Но ружья при себе были не у каждого. Капрал, стоя дубом в санях, изо всех сил кричал, размахивая шапкой:

– Сюда, черти, сюда!.. Здесь ружья-то! И ладунки здесь. Эвот, в энтих санях!.. Давай, давай!

Но «давать» было уже поздно. Молодцы атамана Овчинникова со всех сторон окружили полусонную, перепуганную роту.

– Пли! – яростно командовал обезумевший поручик Карташов.

Затрещали недружные и малочисленные выстрелы гренадер.

– Клади оружие, солдаты! Нас две тысячи, да двенадцать пушек при нас. А вас сколько? – отовсюду раздавались крики наскაკивавших пугачевцев.

Засверкали сабли, пики. У Карташова вместе с мохнатой шапкой слетела голова. В быстрой свалке убиты были два офицера и семь солдат. Вся рота, бросая ружья, загалдела:

– Сдаемся!.. Не трог нас!

...Темнота, сутолока, крики. Пугачевцы забирают у пленных оружие, сгоняют их на дорогу. Многие озлобленные солдаты злорадно, с отчаянием выкрикивают:

– А так нам, дуракам, и надо: не ходи супротив царя! Слых-то давно шел...

Душевное состояние солдат было в высшей степени подавленное.

– Ой, Ванька!.. Да никак это ты? – прогудел здоровенный казак Брусов, схватив за шиворот и обезоруживая в потемках молодого гренадера.

– Батька! – вскричал тот, кого называли Ванькою. – Здорово, батя! Это я...

– Вот где, сынок, довелось нам встренуться...

– Ой, батя, батя!.. Пропали мы! – всхлипнул молодой парень и принялся с жаром целовать у отца руки. – Сказнят нас всех... а?

– Не скули! Шагай за мной живчиком. Царь до простых солдат милостив. Вот офицеров – дело десятое, им не миновать на релях качаться.

Шванвич и Волжинский, шагая в толпе солдат рядом с Брусовым и слыша слова его, обратились к старику:

– Дедушка, вот мы два офицера, мы государю готовы служить и – не супротивники... Походатайствуй за нас.

И многие бывшие возле них солдаты, в особенности старик Фаддей Киселев, принялись упрашивать казака Брусова:

– Они господа хорошие, не вредные. Уж постарайся!

– За хороших господ я рад-радехонек словцо замолвить. Упрошу, укланяю! – гукнул в бороду старый казак.

Пленных пригнали в брошенный овин и там до утра заперли. Шванвич с Волжинским заметили, как старик Брусов, сдернув шапку и кланяясь, вел переговоры с начальником конвоя, татаринoм Мансурoм Асанoвым и безносым Хлопушей. На душе приунывших офицеров стало поспокойней.

4

Эти три пушечных выстрела, только что грохнувших во тьме над головами гренадерской роты, отчетливо долетели по морозному воздуху и до деревни Юзеевой.

– Пушки! В тылу! – выкрикнул еще не ложившийся спать генерал Кар и схватился за голову.

Было около часу ночи. Кар приказал адъютанту точно выяснить, откуда была слышна стрельба, созвать к нему на совещание офицеров и поднять солдат. Разбуженные Фрейман и плешивый, в очках, лекарь Мигунов, брюзжа, стали одеваться. Зажгли свечи. Грязно-бурые, прокоптевшие стены поглощали почти весь свет, было темновато.

На совещанье, по-заячьи покашиваясь на собравшихся широко расставленными глазами, Кар сказал:

– Итак, господа... Слышали пушечные выстрелы? Вот вам! И поскольку сейчас выяснились обстоятельства, что неприятель находится у нас в тылу, мы рискуем быть отрезанными от Казани... Нет, вы только подумайте, каковы нахалы эти висельники! Они не умеют по правилам воевать, совершенно не знают, не понимают регул. Они, как бешеные волки, носятся по горам и не идут не токмо на штыковой удар, но и не подпускают к себе на выстрел... А у меня конницы нет... Как я их стану преследовать?.. И какой дурак, позвольте вас спросить, стреляет из пушек ночью? Мужичье, каторжники, сволочь! Ночь, мороз, а они... – Уши Кара покраснели, рыжеватые волосы встопорщились, он закашлялся и выпил поданных лекарем капель. – Господин Татищев, где же ваши гренадеры?

Подпоручик Татищев, поднявшись и оправив португепю, ответил:

– По моим расчетам, ваше превосходительство, рота вот-вот должна быть здесь. Опасаюсь, уже не они ли подверглись нападению и терпят бедствие.

– Вздор, вздор! – вспыхнул Кар, но сердце его сжалось. – Садитесь, Татищев... Никакого бедствия! Гренадеры за себя постоят, – и, сморщившись, он стал растирать правую ногу.

– Болит? – сочувственно осведомился лекарь.

– Ноет, подлая; должно быть, к перемене погоды... Да и вообще инвалид я... Итак, господа офицеры, с рассветом выступать! Надо играть назад, пока не поздно, – ретироваться, выбрать подходящую деревню и там, ретраншировавшись, ожидать сикурса. К нам должны прибыть по Новомосковской дороге еще две роты да из Казани три или четыре пушки, також отряд башкирцев с мещеряками. Прошу подготовить солдат, артиллерию и обозы к маршу.

В поход выступили еще до свету. Обескураженный внезапными событиями, Кар рысцою ехал с лекарем в крытом возке. У него теперь уже не было высокомерного предположения, что стоявшая где-то под Оренбургом толпа Пугачева, проведая о наступлении Кара, в страхе рассеется вместе с этим самозванцем Пугачом. «Не угодно ли, не угодно ли!.. Все мои диспозиции полетели к черту!» – злился Кар, его исхудавшее лицо передергивала судорога. Он стал зябнуть, на него напало уныние; где-то в тумане грезилась теплые воды, мягкий всплеск голубого ласкового моря, домашний уют... Он с грустью выглядывает из холодного возка в мороз, его душу охватывает чувство, близкое к отчаянию.

Полторы тысячи солдат Кара, с заряженными ружьями, продвигаются торопливым шагом, за ними трясутся в жестких седлах шестьдесят конных татар и экономических крестьян.

Среди конников шел негромкий сговор: как бы изловчиться да повернуть назад и – прямо к «батюшке»! Солдаты неодобрительно косились на теплый возок Кара, с тоской поглядывали на пять жалких, скрипевших колесами пушек.

Светало, восток алел, стоявший по бокам дороги лес, опушенный густым инеем, казался легким и нарядным. В ветвях белой пуховой елки встряхнулась большая птица – должно быть, филин, с дерева посыпался, засверкал снег.

От Юзеевой солдаты уже прошагали версты три. Головная рота, выступив из леса в чистое поле, вдруг загайкала, закричала, как стая галок, напуганная налетевшим ястребом:

– Глянь, глянь... Окружают!

И по всему отряду, из конца в конец, как по сигналу, не видя еще опасности, во всю глотку загалдели:

– Окружают, окружают!.. Погибель нам!..

Как только началась тревога, все конники – татары и крестьяне, – словно по уговору, вытянули коней плетками и дружно махнули в лесную гущу.

– Стой, стой, изменники! – кричали им вдогонку офицеры.

По приказу выскочившего из повозки Кара вся воинская часть остановилась. Теперь уже всем было видно, как по горам и взлобкам, с обеих сторон дороги, скакали врассыпную всадники. Отдельные из них кучки волокли по сугробам единороги и пушки, кричали, ругались, полосовали кнутах впряженных в орудия лошадей.

Осмотревшись, оба генерала определили, что неприятеля приблизительно около двух тысяч человек, а пушек при них – раз, два... четыре... восемь, девять.

Пугачевская артиллерия начала пристрел – перелет, недолет. На возвышенностях возле пушек копошились люди.

– Не угодно ли, – задыхаясь, сказал Кар. – Девять! И так далеко ставят, подлецы!.. Наши до них, чего доброго, и не до...

Он не закончил фразы, на левом фланге разорвалась граната, пущенная пугачевцами из единорога. Она повалила сразу пятерых солдат – двоих насмерть.

– Видали, каковы? – крикнул Кар стоявшему рядом с ним Фрейману и послал к месту поражения своего лекаря.

Воинские части Кара стали поспешно выходить за пределы дороги, строиться к обороне. Расставили по удобным местам всю артиллерию – четыре пушки и один единорог. Началась артиллерийская перестрелка. Ядра и картечь пугачевцев ложились как по заказу, пугачевцы стреляли метко. У пушек же Кара были все недолеты. И лишь единорог действовал прилично, но и он вскоре перевернулся вверх колесами: в его лафет брякнуло двенадцатифунтовое ядро.

– Анафемы! – освирепел Кар. – Какие же это, к дьяволу, мужики?.. Нешто мужики столь искусно артиллерией управлять могут? А где же наши конники, где татары? Эй, капрал!

– А наши конники, ваше превосходительство, тютю! – прошлепал губами коренастый капрал и показал обнаженной шпагой на пригорок. – Эвот они пурхаются, видать – на сдачу покати... Да и нам бы, ваше превосходительство... того...

– Что?.. – заорал Кар и, выхватив из теплой дамской муфты руку, погрозил капралу кулаком. – Я тебя расстрелять... расстрелять, мерзавец, прикажу! – Нас и так расстреляют... – огрызнулся капрал и, со злобой тряхнув локтями, пошагал прочь от генерала.

А Кар, проклиная изменивших ему конников, направился к возку за пледом: морозом сильно прихватило уши. Астафьев, Татищев и еще третий молоденький офицерик, отобрав по приказу Фреймана с полсотни лучших стрелков-охотников, побежали с ними далеко вперед и, прячась за пригорками, открыли меткую ружейную стрельбу по пугачевцам.

Пушки пугачевцев подтягивались к Кару ближе и ближе. Раненых у Кара прибывало. Вот новобранец уронил ружье, перегнулся вдвое, с глухим стоном ткнулся головою в снег. Здесь, в длинной шеренге, тоже упал солдат, еще один упал, еще... словно в огромной, поставленной на ребро гребенке валились зубья. С воем летит граната; солдаты, спасаясь от смерти, валятся плашмя. Взрыв. Осколки ранят лошадь, солдата и лекаря Мигунова, что подле саней делал перевязку раненым.

Пугачевцы палили без передыху. Пушки Кара отвечали вяло, редко.

– Подноси проворней ядра! Пороху сюда! – до хрипоты кричали у пушек канониры.

– А где их узять, ядров-то?

И летело по рядам:

– Ядер нету... Пороху нету-у! Братцы!

– Эй, кто орет? Я те покажу «нету»! – бегали по фронту офицеры, призывно взмахивали шашками. – Давай, давай сюда! Все есть!

Но давать действительно нечего: снаряды на исходе. Длительное молчание пушек приводило оробевших солдат в уныние, в трепет.

– Братцы! Пушки наши ни черта не стоят, ядра недолетывают... Погибать доводится...

И уже раздавались то здесь, то там призывные голоса:

– Бросай ружья, бросай, братцы!

Солдаты плохо понимали, за что и против кого они воюют. Против ли самозванца Пугачева, как им внушает начальство, или же против истинного государя, как им выкрикивали пугачевцы. Солдаты были душевно подавлены и сбиты с толку, солдатам вовсе не хотелось воевать. А тут еще разные неполадки, голод, мороз.

Многие, не слушая окриков своих командиров, оставляли фронт, кидались в лес за хворостом, разжигали костры и лезли прямо в огонь, стараясь хоть немного отогреть кочевшие ноги, ознобленное тело.

– Это супостаты лихие, а не начальство! – сквозь слезы вопили они. – Этакой лютый мороз, а они... в ус не дуют. Босые мы, раздетые! За что страдаем, неизвестно. Да гори они все огнем! Сдавайся, ребята!..

И снова в разных местах безумные выкрики:

– Было бы за что воевать! Бросай ружья... К черту!

По всему фронту зачиналась паника. Пришедшие в отчаяние оба генерала и майор Варнстедт приказали канонирам усилить пальбу из пушек, кидались от пушки к пушке, угрожали, умоляли солдат не малодушничать, помнить присягу.

– Все будет, все будет у вас, ребятушки!.. И теплые шубы, и обувь, – запинаясь, говорил Кар. Капризный, самонадеянный, упорный, он наконец признал, что подставлять свои силы под расстрел неуязвимого врага преступно и бессмысленно. – Сейчас маршем уходить будем, ребята! Не робей... С нами Бог!

– Давно пора!.. – кричали ошетинившиеся солдаты. – В могилу завели... Эх, вояки, лихоманка вас затряси!

Горнисты затрубили сбор. Наскоро построились, наскоро подобрали на сани раненых, обмороженных, умершего от ранения лекаря Мигунова и под бой барабана ходко пошагали по дороге. Отстреливаясь от неприятеля, отступающие в продолжение восьми часов прошли всего семнадцать верст.

Кар отошел к деревне Сарманаевой. Общие потери его отряда за три дня определялись в сто двадцать три человека.

– Довольно! Ни шагу вперед! Мы разбиты. Нас могли бы уничтожить... – сетовал Кар генералу Фрейману. – Будем сидеть и ждать подхода войска. Но, Боже милосердный, что я стану делать без лекаря?!

Кар захворал лихорадкой и слег.

Глава II

Пугачев любил народ. Милостивая беседа. Медные прянички и «Трансмордас». Вопрос был внезапен

1

Не понять было ни Кару, ни тем более графу Чернышеву, пославшему его охотиться за Пугачевым, что Пугачев – это тот самый сказочный Кашей Бессмертный, которого ни пуля, ни сабля не берет; живет и будет жить, пока на Руси бьется хоть одно горячее, жаждущее воли сердце... А и полно – не тысячи ли тысяч таких сердец, не бесчисленно ли войско мятежное, не полным ли полна земля русская богатырской крови? Уж ежели брызнет

да прорвется – шибко забушует!.. И попробуй-ка останови, взнуздай этот огневой поток, положи-ка преграду ему!

Пленная рота 2-го гренадерского полка жила в Берде уже двое суток.

Пугачев принимал гренадер торжественно, всенародно. На крыльцо поставили золоченое кресло. Батюшку вывели под ручки Ненила и красивая каргалинская татарка. На нем богатый меховой чекмень, каракулевая шапка с бархатным красным верхом, через плечо генеральская лента, при бедре сабля, за поясом два пистолета. По бокам его встали два яицких казака – молодые, чубастые, высокие, в мухояровых казакинах; у одного в приподнятой руке булава, у другого – посеребрённый топор. Вниз по лестнице, по обе стороны расписных перил, двадцать четыре казака личной охраны с обнаженными саблями – пугачевская гвардия.

Вся улица забита народом: казаки, башкирцы, татары и множество русских мужиков, пришедших за последнее время из ближайших и дальних селений. Народ подступил к самому крыльцу, многие залезли на заборы, на деревья, на крыши.

День был морозный, солнечный. Пугачев весь сиял – от солнца ли, от радости ли: впервые одержана столь легко победа над войсками царицы и вельмож.

Ермилка держал в руке сигнальную трубу и, косясь через плечо на «батюшку», взволнованно облизывал губы. Пугачев махнул ему белым платком, и, выставив ногу вперед, выпучив глаза, надув щеки, Ермилка затрубил сигнал. Враз забили барабаны, знамена встряхнулись и замерли в линию.

Через расступившуюся толпу попарно шагали пленные – рослые, с заплетенными косами, в треугольных шапках, гренадеры. Вел их Падуров. Выстроились в четыре ряда, впереди офицеры: Волжинский, Шванвич.

Пугачев окинул гренадер острым взглядом, поправил шапку, едва заметно ухмыльнулся, будто собираясь выкинуть какую-то любопытную штучку, затем прихмурил брови и зычно, но без злобы закричал:

– Так-то вы, сукины дети, несете военную службу, так-то регул исполняете? В дороге дрыхнете, как дохлые собаки, ружья не заряжены, едете без всякой остроги... Дисциплины не знаете, сукины дети! А еще гренADERами зоветесь... – Пугачев говорил выразительно, строго и потрясал кулаком, притопывал, а сам по-хитрому косился на казаков и башкирцев, на все свое воинство. – Да вас всех смерти предать надо!

Гренадеры, один по одному, опустили на колени. А весь народ повернул головы в сторону часовни, где темнели виселицы, затем снова все усталились на царя.

Стоявший на коленях Шванвич с любопытством присматривался к Пугачеву и, внутренне содрогаясь, дивился неожиданным словам его.

Гренадеры сняли шапки, прижали их к груди и, кланяясь, хрипло выкрикивали:

– Винимся, ваше величество, винимся! А супротивничать мы не хотели по уговору, от того от самого и ружья бросили.

Пугачев предвидел такой ответ, он сразу сложил гнев на милость и, подняв руку, проговорил:

– Встаньте, детушки, Бог и я, государь, прощаем вас! Офицерики, двое, приблизьтесь ко мне.

Шванвич и Волжинский взошли по ступеням крыльца наверх, к золоченому креслу, и, ударив каблук в каблук, замерли перед Пугачевым.

В мыслях Шванвича, как огненным углем, прочертились слова из того странного письма, которое подсунил ему приятель Коробьин, там, в Петербурге, на Невском, за бутылкой венгерского. «Доподлинный ли он государь, уверить тебя не берусь, – говорилось в письме, – только думаю, что за одиннадцать лет скитания по белому свету он царское обличье свое мог утратить». Так писал Коробьину казак Падуров, тот самый Падуров, который

привел их сюда, а сейчас стоит позади этого осанистого, строгого, но, должно быть, справедливого, как никто, бородача в генеральской ленте.

Обратясь к офицерам и помаргивая правым глазом, Пугачев во всеуслышанье проговорил:

– Мне, господа офицеры, атаман Овчинников отписывал с моей действующей армии, что вы оба якобы супротивления в бою не оказали и обещались служить мне верно. Да и старик Брусов, илецкий казак, давеча мне сказывал про вас. Так ли это?

– Так, государь! – вскинув открытое, бодрое лицо, внятно произнес Шванвич.

– Так, – тихим голосом подтвердил и Волжинский, тотчас опустив голову.

– Добро, добро! – промолвил Пугачев и взмахнув платком, закричал: – Слышь, гренадеры! А что, вот эти хлопцы не забижали вас, не мордовали трохи-трохи?

– Никак нет, ваше величество! – откликнулись в роте. – Господа офицеры, двоечка, хороши до нас были, милостивы.

– Добро! – повторил Пугачев. – Так вот что, господа офицеры... Мы, Божию милостью, примыслили принять вас под свою императорскую руку и поверстать в казаки... Падуров! Ты здесь-ка? Выдать им доброе обмундирование и по хорошему коню. Да чтобы беречь офицеров, беречь! – выкрикнул он, повернул назад голову и, найдя взором Митьку Лысова, погрозил ему пальцем. Затем, обратясь к офицерам, он продолжал: – Старшего ставлю атаманом, а тебя, прапорщик, есаулом. Впредь будете управлять своими гренадерами, как и допрежде управляли.

Он протянул свою правую руку ладонью вниз. По знаку Падурова офицеры целовали руку и отходили в сторону. Затем были допущены к царской руке и солдаты.

– Вот, детушки, – говорил Пугачев, утирая платком навернувшиеся на глаза слезы. – Мне опять Бог привел над вами, гренадерами, царствовать по двенадцатилетнем странствии моем: был я в Ерусалиме, в Цареграде и в Египте. Опосля того в Россию, на родиму землю, перебрался. Исходил, истоптал я ее, сиротинушку, сквозь... Самовидцем был, как простой народ страдает от лютых бояр да от чиновников. И положил я землю свою устроить, как дедушка мой родной устраивал, великий Петр Алексеич... – Пугачев снова утер слезу. – Послужите же мне, детушки!

– Послужим, послужим, батюшка, отец наш, милостивец! – неистово закричала огромная толпа крестьян, казаков, солдат.

Это был голос, которого никогда не услышать царствующей Екатерине даже в мечтаниях своих...

– Благодарствую, други мои! – отвечал Пугачев, кланяясь народу. – Держитесь за мою правую полу, во счастье будете...

«Пугачев любил народ, и народ отвечал ему тем же – народ восторгался им и боготворил его»¹.

Вот он сидит в золоченом кресле и чувствует, что люди смотрят на него множеством глаз, люди следят за каждым его движением, за тем, как хмурятся его густые брови, как трепетными пальцами охорашивает он генеральскую ленту на груди.

И вот как бы приподнят над землей, и уже не простой, безвестный казак он, Емельян Пугачев, а некто иной, неведомый и странный. И какая-то непонятная ему самому сила захватывает его: он весь во власти этой силы. Тут разом открываются животворящие родники в душе его, и летят, летят в толпу пламенные крылатые слова, сами собой возникают жесты, исполненные всепокоряющей воли.

Наступает минута ликования, душа толпы доведена до высокого накала: позови сейчас Емельян Пугачев людей на муки, на смерть – и вся толпа безоглядно двинется за ним.

¹ Из рассказов стариков уральцев. – В. III.

...Целование руки кончилось.

Два старых солдата, растроганные милостивыми словами Пугачева, подойдя к царской руке, пристально вглядывались в лицо его.

– Мы, ваше величество, издаleckа признали вас за истинного Петра Федорыча Третьего, – говорили они, захлебываясь от волнения. – Мы ведь не единожды стаивали на карауле в Зимнем дворце и видывали вас. Только втапору вы бороду не извоили носить, а правым глазом так же подмаргивали...

Старики, сами, видимо, веря в слова свои, говорили громко, отчетливо, обращаясь более к народу, нежели к Пугачеву.

В народе снова закричали оглушительно «ура». Громче всех кричали крестьяне: они солдатам верили не в сравнение больше, чем казакам. Крестьяне всегда были того мнения, что «казак – человек вольный, балованный, да и живет-то супротив мужика куда справней, а солдат – наш брат-савоська, только что косу отрастил, и нуждишка мужицкая – его нуждишка, он свой, ему вся вера».

– Как ваше прозвище? – спросил Пугачев у стариков.

– Я Фаддей зовусь, Фаддей Киселев, – кланяясь, ответил солдат с рыжими щетинистыми бровями и скуластым лицом. – А вот этот Самсон Астафьев, свояк мой.

– Давилин! Выдать своякам-гренадерам по хорошей шапке да замест лаптей обуви крепкие... В память нашей стречи!

Появился приблудивший к стану Пугачева расстрига-поп Иван. Он в новых лаптях, в новых суконных онучах, в парчовой, поверх полушубка, ризе; в трясущихся руках его – крест и Евангелие, похищенные в егорьевской церкви. Нос у отца Ивана сизый, вспухший, узенькие глаза заплыли. Всех пленных он быстро привел к установленной присяге. Пугачев поднялся, махнул платком и возгласил:

– Жалую я вас, гренадеры, землями, морями, лесами и всякой вольностью, охочих – крестом и бородой! – торжественно поклонился и ушел, позвав за собой Шванвича. За порогом он велел Давилину провести нового есаула в золоченую горницу, а сам прошел к себе в спальню перевести дух и выпить водки для сугрева: он изрядно прозяб, ноги в козловых сапогах совсем зашлись у него.

Михаил Александрович Шванвич, девятнадцатилетний юноша, высокий, корпусный, с открытым краснощеким лицом, на вид казался значительно старше своих лет. Он точно так же порядком продрог и, прислонившись спиной к горячей печке, с любопытством оглядывал разукрашенную, как в театре, комнату. Трон, двуглавые орлы, знамена, английские, в высоком футляре, часы, даже портрет великого князя Павла Петровича!..

Внутренне ухмыляясь, столичный офицер Шванвич думал: «Ну, конечно же, он самозванец. У него и выговор-то малороссийский. Да и манеры грубые... Значит, верно мне сказали в Казани, что есть это простой донской казак Емелька Пугачев. А вот по осанке да сообразительности, пожалуй, мог бы и царем быть. Во всяком разе, актер натуральный! Роль свою ведет с искусством. Попробуем и мы играть свою». Голова юноши наполнена сумятицей, а в душе – то надежда, то уныние. Почва под его ногами колебалась, а впереди туман, туман, полное неведение! Все его солдаты в плену, сослуживцы-офицеры уничтожены. Да и сам-то он спасся чудом. Да и спасся ли?

– Скажи-ка, друг, откуда ты будешь родом? – прервав его мысли, заговорил вошедший Пугачев и сел к столу, на котором в порядке лежало несколько письменных приказов.

– Родился я в Петербурге, – ответил Шванвич. – Покойная государыня Елизавета изволила крестить меня.

В густых усах Пугачева промелькнула озорная усмешка. Взглянув в лицо Шванвича, он подумал: «Ты, брат, вижу, такой же крестник Елизаветы, как я был когда-то... хе-хе... крестником Петра Великого», – и сказал, расчесывая гребнем бороду и челку на лбу:

– Так, так!.. Значит, есть ты – Шванвич? Ну, так я про тебя и про родню твою от тетушки Лизаветы слыхивал. Не твой ли батька, алибо дядя, Алешку Орлова палашом рубанул?

Шванвича эти слова очень удивили – он не знал, разумеется, что необычной силы память Пугачева сохранила случайно подслушанный много лет назад, в Кенигсберге, разговор пьяных офицеров об той истории.

– Сей грех приключился с моим родителем, лейб-компанцем, тоже гренадером, – пролепетал Шванвич, широко открыв на Пугачева свои серые вдумчивые глаза.

– Жалко, что он, родитель твой, головы Алешке-т не смахнул, все бы одним недругом помене на свете было. – Пугачев вздохнул и потупился.

– Обидчик вашей персоны есть и кровный обидчик моего отца, каковой через Алексея Орлова по сей день в опале, – приходя в себя и пряча лукавый огонек в глазах, молвил Шванвич.

– Вишь ты! – воскликнул Пугачев, сделав в воздухе угловатый жест указательным пальцем. – Стало, мы с тобой вроде как... равнообиженные... Ну, ин ладно! А вот полковник Лысов сказывал мне, что ты маракуешь говорить по-иностранному. Верно ли?

– Так, государь, умею.

– Ну, так подь-ка сюда, на тебе вот бумагу да перо, возьми вон в том месте напиши что-либо по-шведски...

Шванвич молча взял из рук Пугачева исписанную четвертушку бумаги – указ приказчику Воскресенского завода П. Беспалову, перевернул ее и принялся писать. Он шведского языка не знал, написал по-немецки: «Ваше величество Петр Третий».

– Теперь напиши еще... какой ты знаешь язык.

Шванвич написал по-французски: «Великий император Петр Первый».

Пугачев поднес листок к глазам, наморщился, проговорил:

– Эх, худо видеть стал, все глаза-то выплакал из-за злодеев, из-за гонителей своих. – Он достал очки, протер их уголком скатерти, неуклюжим жестом оседлал ими нос и долго всматривался в написанное, затем сказал: – Мастер! Дюже хорошо обучен. Ты пригодишься мне. Авось Бог приведет иноземным королям писать да государям. Обо мне вся земля услышит, а как дойдет до дела, все государи-одномышленники за меня горой вступятся. Я-то искони русский, не Катерине, а мне владеть русской землей... Ну да то еще долга песня! – Он взглянул на портрет Павла Петровича, хотел еще что-то сказать, но только махнул рукою: – Ну, иди! Служи мне верно. Да в порядке себя держи! – добавил с непонятными Шванвичу рассеянностью и равнодушием.

Шванвич ушел. В прихожей то и дело хлопала наружная дверь, стучали подкованные каблуки, слышались сдержанные голоса, иногда дверь в золоченую горенку приоткрывалась, высовывалась чья-либо борода. Пугачев отмахивался рукой, дверь со скрипом закрывалась снова.

Швырнув очки в ящик стола (он в стекла их ничего не видел), Пугачев с напряжением всматривался в мудреную пропись Шванвича. Раздувая ноздри, долго посапывал и морщил лоб. Затем взял перо и, поглядывая на бисер букв, стал писать каракульки. Рука, ловко владевшая саблей, с трудом держала мягкое гусяное перо... Дверь скрипнула, он бросил перо и поднял голову. Перед ним, покашливая в горсть, стоял Максим Шигаев.

– Слышь-ка, Максим Григорьич! – сказал Пугачев, прикрывая широкой ладонью бумагу. – За этими хлопцами – Шваныч да другой с ним – треба покрепче досмотр держать.

– Да ведь их, офицеров-то, много понахватано, батюшка Петр Федорыч, их без малого дюжина теперь у нас. Конечно – дворяне! За ними глаз да глаз!

– Мне желательно не в ком ином прочем, а в Шваныче увериться, – прервал его Пугачев. – Он иностранным обучен и нам гораздо надобен. Ежели по молодости лет будет в нем шатание, ну так и одернуть можно, чтобы опять к нашей дорожке потянул. Смекаешь? Шваныч, я чаю, человек хоть и молодой, а кубыть надежный. Я чаю, Шваныч назад глядеть не станет. Его отец от вышнего начальства обиженный, а по отцу – обижен и сын. Смекаешь, что к чему? Алешка Орлов, граф, отца-то избил, отец-то харю Орлову, графу, порубил палашом, из-за княгини одной перетырка вышла у них. Она и того и другого приголубливала, а собой такая – взглянешь, закачаешься, одно слово – фрухт, – с легкостью, даже с оттенком удовольствия плел измышление Пугачев. – И вот сдается мне, Максим Григорьевич, что хлопца не больно-то правителями довольный, а скорее всего нашу руку станет держать. Глаза у него дерзкие, и как сказывал он мне про обиду, аж затрясся весь. Ты как полагаешь?

Житейски опытный Шигаев не мог не согласиться с доводами Пугачева, но в его душе гнездились врожденное предубеждение к дворянству, и, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде, он уклончиво ответил:

– Время укажет, батюшка Петр Федорыч. Правда, что он не сам пришел к нам, а привели его... Ну да ведь своевольных-то дорожек ихнему брату, дворянам, к нам и нетути... Да еще надобно дознаться: богаты его родители алибо малосильны; родовитые господа алибо захудалые какие обсевки в поле?

– Бедные его родители, самые бедные! Он сам так толковал... – поднял голос Пугачев; ему очень хотелось склонить упорного и подозрительного Шигаева на сторону Шванвича. – Одним словом, Григорыч, недельки через две ты отрепортуешь мне о нем... Ты что, по делу?

– По делу, Петр Федорыч. Наши патрули «язычка» сграбастали. Схваченный показал, что-де полковник Чернышев с Сорочинской подступает, а оттуда в Татищеву-де ладит иттить, а опосля и в Оренбург.

– Это который Чернышев?

– А он симбирский комендант, его отрядил казанский губернатор иттить походом по Сакмарской линии к Оренбургу. Рейнсдорпа вызволять.

– Чернышева до Оренбурга допускать не можно, Григорыч.

– Да уж постараемся...

– Ежели сила не берет, хитростью надо обмануть.

– Время придет, обманом, батюшка.

Пугачеву понравился этот ответ, он усмехнулся, спросил:

– От атамана Овчинникова вести есть?

– Есть, Петр Федорыч. И об этом деле я доложиться пришел. От Овчинникова только что гонец прибежал: Кар-то дюже побит.

– О-о-о!.. Ведут ли его?

– То-то, что нет. От Юзеевой наши поворотили его да взад пятки верст на двадцать угнали...

– Эх, дураки!.. Генералишку не могли словить!.. – вскочил Пугачев и, руки назад, стал в волнении вышагивать по комнате.

– Да вы, ваше величество, не печалуйтесь. Мы бучку дали генералу и добро! Человек до двухсот повалили у него. А к нам сотню конных мужиков да татар с солдатами переметнулось от Кара-то.

– Добро, добро! Солдаты, видать, склонны повсегда к нам, Григорыч. Так, стало быть, Кар докаркался? Стало быть – победа?

– Победа, батюшка! И так и этак победа!

Пугачев подошел к лестнице на кухню, распахнул дверь и гаркнул вниз:

– Эй, кто там живой! Подать нам с полковником Шигаевым винишка покрепче, а на прикуску редьки тертой с маслом да жареной баранинки с жирком. Живо! Одна нога здесь, другая там!..

2

Два бывших гренадера – старик Фаддей Киселев и молодой Брусов, уже с обрезанными косами и в казачьих шапках-трухменках, поджидали Шванвича на улице.

– А мы уж вашему благородию и хибарку разыскать спроворили, – сказал старик, приветливо улыбаясь. – Извольте идтить за мной!

Втроем шагали они улицей. Народ уже разошелся со зрелища по своим делам. Навстречу попались подвыпившие казаки. Раскачиваясь в седлах, сладко улыбаясь и полукрыв глаза, как соловьи, они горланили песню.

– Зюкнувши! – подмигнул в их сторону молодой Брусов и облизнулся. – Ох и гуляки же эти казачишки!

По дороге тянулся большой крестьянский обоз с бревнами. То здесь то там, между старыми жилищами, на огородах и в поле, не одна сотня мужиков наскоро рубили себе избы.

За четыре дня было выстроено до шестидесяти кой-каких хатенок, с глинобитными печами, об одном крошечном оконце, затянутом распяленным бычьим пузырем или тонкой льдинкой. А лесу заготовлено еще на сотню изб.

Тут же, на стройках, возились бабы; они доили коров, кормили овец, свиней: многие крестьяне, разгромив господские владения, перебирались в государев табор со всем своим имуществом, не забыв при этом прихватить и кой-что из барского добра. Крестьяне были одеты пестро: и в последнюю рвань – прореха на прорехе, и в добротные тулупы с полушубками. На ногах валенки, лапти, яловые сапоги с подковками.

Возле кустарника работали две новые кузни. Бежавшие от господ крестьяне-кузнецы подковывали казацких лошадей, делали для мужиков острые, в виде рогатки, копыя или окоывали железом концы закомелистых березовых дубинок.

– Это лучше сабли ошарашит! – смеялись крестьяне, пробуя дубинки.

Всюду костры, дымки, говор, смех, визг пил, стук топоров. Там вздымали верхний венец, поухивали: «Раз-два, еще разок! Раз-два, матка идет! Раз-два, подается! Пошла-пошла-пошла!»

Шванвич, шагая к себе, с удовольствием присматривался к этому живому, деятельному бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурил для порядка рыжие щетинистые брови, но тоже посматривал по сторонам одобрительно, а в серых, глубоко посаженных глазах поблескивали искорки восторга. «Вот она Расея... Зашевелилась!» – внутренне улыбаясь, думал Киселев.

За околицей, до самого перелеска, расстилалось большое поле, усеянное какими-то закоптевшими буграми, из которых клубились сизые дымки, как будто под снегом по всему простору горела земля. А там подальше, в огороженном жердями огромном притоне, табунились косяки лошадей, над ними плавал в морозном воздухе туман. Справа стояли бесчисленные стога бурого сена, между дымящимися бугорками разъезжали на низкорослых, но сытых, исправных лошаденках люди в остроконечных шапках.

Небо было высокое, бледное. Солнце склонялось к закату.

– Тута-ка башкирцы кочуют, орда. Это их стойбище. Ишь, землянок да нор понарыли, чисто кроты! – пояснил старик Киселев.

– А где же казаки? – спросил Шванвич.

– А те, кои в чинах алибо по возрасту стары, в самых Бердах живут, в селенье, а молодежь-то по огородам, в банях да в сарайчиках, а то и в землянках, по-походному.

– А наши где?

– Сейчас дошагаем! Горе мое, ноги-то обманывают меня, гудут и гудут!

Путники свернули в прогон. Навстречу – казачья полсотня с пиками и со значками. Впереди – есаул. Усталые кони клубятся паром. В середине два всадника поддерживают с боков третьего, тот бессильно изогнулся в правую сторону, постанывает, ежится, голова упала на грудь. Сзади, на двух конях, раненые казаки, татары.

– Откудов, сынки? – невпопад полюбопытствовал Киселев.

– А ты ослеп, чего ли?.. – огрызнулись казаки. – Не со свадьбы жа... Покалеченных везем... Под крепость подступали, ошибка была.

Путники постояли, сочувственно поглядели им вслед, пошли дальше. Вскоре все трое остановились возле маленькой крайней избушки.

– А вот тут-ка и палаты ваши, – сказал Киселев.

На задах избы, на обширном, в десятину, огороде, работала вся гренадерская рота. Солдаты строили себе землянки, грелись у костров, курили трубки.

– Ну, как, кипит работка, молодцы? – спросил подошедший Шванвич.

– Кипит, ваше благородие! – с добротью ответили солдаты. – Еще денечек, и в тепле мы. Да крестьянство баню обещало нам сварганить. Тогда нам прямо рай!

Шванвич с Киселевым и Брусовым вошли в избу. Застекленное оконце промерзло, давало мало света. Присмотревшись, Шванвич заметил две деревянные кровати; на одной из них, на сенном тюфяке, лежал в мрачной задумчивости Волжинский.

– А кто же в этой избушке на курьих ножках жил? – спросил Шванвич. – Уж не Баба ли Яга?

– Никак нет, тут мужской пол жил, – ответил Киселев, стоя навытяжку. – Полячок один, фидерат прозывается, да казак, да офицер. Казак будто в полон попал, полячок в сшибке убит, а офицер повешен.

– За что офицер-то?

– Да чевой-то супротив государя провирался, – сказал Киселев, и глаза его стали злыми, – с изменой, известно, турусы разводить неча!

Волжинский при этих словах порывисто поднялся, накинул шубу и, хмурый, вышел. Шванвич, посмотрев вслед ему, сказал:

– Ты, Киселев, с нами будешь жить. Согласен?

– Ой, ваше благородие! – обрадовался старик. – Да с полным нашим удовольствием!

– Эх, черт! – воскликнул Шванвич. – Жаль, вещишки пришлось бросить в пути.

– Никак нет, ваше благородие, – и Фаддей Киселев выволок из-под кровати походный чемодан Шванвича. – Вы бросили, а мы с Ванькой Брусовым подобрали. Как можно... Вот и ключик, пожалте, ключик-то я нарочно отвязал да в карман сунул, а то кто его ведает, тут народ аховый.

Растроганный Шванвич крепко обнял старого гренадера. Ванька Брусов, получив разрешение, ушел. Старик затопил еще не остывшую печку, принес из чулана кислой капусты, бок баранины, сбросил старенький мундир, засучил рукава рубахи, стал готовить щи да кашу.

– Таперича заживем, вот как заживем, ваше благородие!

– Только долго ли жить-то доведется, – вздохнул Шванвич, разбирая свои вещи.

– Вот то-то и оно-то, – ответил Киселев, – никому знать не дадено, один Бог знает, правда ли верх возьмет, алибо опять кривда укрепитя. Ох, грехи, грехи!..

– А что же ты правдой считаешь и что кривдой?

– Ах, ваше благородие, да ведь правда-то на мужицкой стороне, ведь вся Расея-то на мужике стоит, мужиком кормится. Алибо взять бусурманскую войну. Кто турку побеждает? Опять мужик!.. Эх вы, косточки мужицкие!.. Дюже мне жалко вас...

Шванвич внимательно вслушивался в грубоватый говор Киселева. Ему нравился этот простосердечный, услужливый старик. Да и сам Фаддей Киселев за дальнюю дорогу успел присмотреться к Шванвичу и полюбить его.

Шванвич с удовольствием раскладывал свои пожитки по кровати. Вот зеркальце, три куска пахучего мыла, бритва, ножницы, свечи, походный подсвечник, чай, сахар, иголки, нитки, белье и, главное, с десятков немецких и французских книг, купленных им в Петербурге. Вот они, ненаглядные!.. С ними можно коротать время, в часы душевной тоски они унесут его мысль в область фантазии чудесной... И он готов был целовать свои книги, как горячо любимую женщину.

Бритва! «Ну, уж нет, надежда-государь, хоть ты и пожаловал нас бородой, а я все же буду бриться!» – подумал он и провел ладонью по заросшей щетиной щеке.

– Вот я и толкую... Мужик натерпелся ой как! Ведь вы сами, ваше благородие, видели, как походом шли, – мужик все к царю да все к царю лататы дает, мужика таперича ничего не утешит – ни розга, ни пуля. Уже раз заступник-царь объявился да посулил мужичку землю с волей, – мужик весь на дыбы поднимется, врагов зубами будет рвать... Миллионы их, мужиков-то!

– Толку мало в мужиках, – возразил Шванвич, приготовляясь бриться. – Вот армия придет с войны – государю, пожалуй, туго будет. Как полагаешь, Киселев?

– Вот то-то и оно-то. Войско-то у батюшки неаккуратное. И порядку маловато; да и обучены, похоже, не Бог знает как... Ведь у государя все народ простой. Воевод, чтоб настоящих, нетути. А ему, батюшке, одному не разорваться стать. Вот, ваше благородие, – и Киселев, бросив мыть гречневую крупу, подошел вплотную к Шванвичу, – вот ежели б вы да и другие господа офицеры от всего чистого сердца взяли бы да и помогли наладить дело-то военное!.. Ежели офицерство поможет, дело-то крепко будет, а не поможет – карачун нам всем!.. Ваше благородие! Вот было бы добро-то!.. – Морщинистые щеки Киселева задержались, голос стал срываться. – Ваше благородие!.. Ведь один раз живем. Ты все знаешь, ты всю военную науку превзошел и на войне сражался... Уж ты прости меня, старика... Помогли, заступись, родной, за нас, сирых! – Старик, всхлипнув, неожиданно повалился молодому человеку в ноги.

– Что ты, Киселев! Да что ты, старый? – попятился изумленный Шванвич. – Встань!

– Не встану, ваше благородие! Пока слова твоего не услышу, не встану!

– Встань! – И Шванвич, смущенный, растроганный, принялся поднимать гренадера. – Я всеми силами... что могу... Я ведь и сам... того... к простому люду... Я... понимаю, понимаю, старик!

Но Киселев, поднявшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, спасибо, ваше благородие!..» – схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крылечную ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху и не переставая выборматывал: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то!..»

За ним выскочил Шванвич:

– Киселев! Киселев! Да ты что?.. – и потащил старика в избу.

3

Поздно вечером, когда Пугачев уже собирался ложиться спать и, сидя в маленькой горенке, доигрывал с Шигаевым последнюю партию в шашки в поддавки, дежурный Давидлин доложил о приходе Хлопуши. Пугачев велел впустить его.

Огромный Хлопуша сбросил с широких плеч лисью, с бобровым воротником, богатую шубу и, опасаясь повесить ее в прихожей («Чего доброго, стянут!»), вошел к Пугачеву, ужав шубу под мышку.

– Вот, батюшка! – сказал он, тряхнув лохматой головой. – Перво-наперво кланяюсь тебе вот этим гостинцем, – и он разбросил в ногах Пугачева лисью шубу мехом вверх.

– Благодарствую! – промолвил Пугачев и, подмигнув в сторону шубы, ухмыльнулся. – С кого снял? Ась?

– Ни с кого, батюшка, – усмехнулся в свой черед Хлопуша. – А то управитель Авзянского завода скоропостижно представился, так он отказал тебе на поношение. Носи на доброе здоровье, батюшка!

– Садись, Хлопуша-Соколов!

– Постоим.

– Давилин! Поддай сюда бархатный кресел... Садись, господин полковник!

Хлопуша покорно хлопнулся в придвинутое кресло.

– Жалую тебя, Соколов, полковником и ставлю командиром над заводскими крестьянами, коих ты привел ко мне: над пятьюстами!

Хлопуша вытаращил на батюшку глаза, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и, подобно большой жабе, опрокинулся с кресла, как в омут, Пугачеву в ноги:

– Батюшка, помилуй! Какой я, к свиньям, полковник, я и грамоте-то ни аза в глаза!.. Ослобони, отец!

– Грамота ни при чем тут, – сказал, раздражаясь, Пугачев, – лишь бы человек в дело свое веру имел да честь бы блюл. Встань и не супротивничай! Объявляю тебе благодарность царскую за людей, за порох, за пушки да за пять тысяч рублей казны, что прислал мне. Пушки опробованы – хорошие, бьют метко... А то что у тебя за узелок?

– А это, батюшка, второй гостинчик тебе – два «пряничка» да два «пирожка». – И Хлопуша, размотав холстину, вытащил медные увесистые плитки и подал их Пугачеву. – Орленные «прянички»-то, батюшка!

Пугачев с интересом повертел их в руках и сказал:

– Об эти пряники зубы поломаешь... Что за чертовщина?

– А это катерининские рубрики, батюшка.

Пугачев прищурился и засипел язвительным смехом:

– Вот олухи царя небесного!.. Ха!.. Максим Григорыч! Видал? Да из полсотни таких рубриков добрую пушку вылить можно!

Хлопуша скреб за ухом и ухмылялся. Шигаев, встряхивая на ладони тяжелый прямоугольный рублевик, сказал:

– Кабы мастера-знатецы были, на пятаки бы нам перелить их.

– Не на пятаки, а на кресты, – поправил его Пугачев. – Серебреца подбросить, да на большие кресты и перековать, чтоб те кресты в награждение давать людям за храбрость. Треба, Максим Григорыч, пошукать таких мастеров-та... Чтобы кресты, медали... Давилин! Поддай-кось из опочивальни рубаху мою железную.

Давилин притащил легкую чешуйчатую кольчугу-безрукавку; сделана она из некрупных стальных планок, скрепленных проволочными кольцами.

– Вот башкирские знатецы ковали, – взял кольчугу в руки Пугачев и принялся встряхивать. Кольчуга заструилась, зазвенела, как ручеек в горах. – Башкирец Юлай с сыном Салаваткой в дар прислали мне... Хошь и легка штучка, а ее ни сабля, ни пуля не берет. Ну-тка, новый полковник, надень, я по тебе попробую из мушкетона пальнуть. – И Пугачев швырнул кольчугу на колени сидевшему Хлопуше. – Давилин, поддай-кось ружье!

Хлопуша вскочил и замахал руками:

– Да что ты, батюшка, ваше величество?.. Не убивай, дай уж мало-мало в полковниках походить.

Пугачев захохотал, погрозил Хлопуше пальцем и крикнул:

– Дурак, да ведь пуля-то отскочит!

– А кто ее знает, батюшка, ей как взглянется... Пушай Максим Григорьевич надевает, он человек стреляный, а у меня жена, ребенчишки.

– Да тебе говорят – отскочит! – смеялся Пугачев, потешаясь над перепуганным Хлопушей. По случаю одержанных побед Пугачев был в прекрасном состоянии духа.

Меж тем Давилин распялил кольчугу на полузакрытой двери и подал Пугачеву изготовленное ружье.

– Поостерегись, атаманы-молодцы, а то пуля в сторону прынет, как бы не зацепило кого, – сказал Пугачев, приложился и пульнул.

И как только грохнул выстрел, вбежала в горницу растрепанная, неприбранная, с подоткнутым подолом и с мочалкой в руке Ненила, а за нею горнист Ермилка с топором.

– Вы что тут воюете? – неистово завизжала Ненила.

Все захохотали. А в прихожую уже вломилась толпа яицких казаков – личная охрана Пугачева – с обнаженными саблями, с пиками. У всех разъяренные лица.

– Эй, кто палит? Где государь?.. – гулким басом орал сотник Белоносов.

– Заспокойтесь, детушки! Идите с Богом! – сказал вышедший к ним Пугачев. – Это я новое ружьишко пробовал.

Внимательно оглядывая государя – здоров ли, цел ли, казаки поклонились ему и, тяжело дыша, ушли.

Вместе с Ненилой прибежала из кухни и пестренькая кошка, любимица Пугачева.

– Мурка, Мурка, – погладил ее Емельян Иваныч и взял на руки. Шигаев, рассматривая кольчугу, говорил Пугачеву:

– Насквозь, ваше величество. И кольчуга прошиблена, и дверь насквозь!

Хлопуша, поправив тряпицу на носу и набожно осенив себя крестом, сказал:

– Вот, твое величество!.. Устукал бы ты меня за всяко просто!

– Дурак ты, полковник, императорских шуток не разумеешь, – ответил Пугачев. – Неужто стал бы я стрелять в тебя? Да ты медведь, что ли? Давилин, а ну-ка выброси эту чертову железную кофту на помойку!

– Эта кольчуга против сабли с пикой хороша. Да и пуля, ежели на излете, отскочит, – заметил Шигаев.

Затем были втащены с улицы два сундука и корзины с привезенным Хлопушей добром: три больших зеркала, столовые английские часы и клавесин. Пугачев с удовольствием разглядывал содержимое сундуков, прищелкивал языком, оглаживал руками богатые серебряные кубки, вазы, кувшины, ендовы, еще недавно принадлежавшие Демидову.

Серебряный орленый кубок с вензелем Петра I Пугачев тут же подарил Хлопуше; высокие, под потолок, часы велел отнести в хату атамана Овчинникова – вернется из похода, рад будет; большое зеркало – Ивану Творогову – пускай красавица Стеша любит в него; другое зеркало, поменьше, – полковнику Падурову – да пусть скажут там, чтоб в это зеркало смотрелся не сам полковник, а его татарочка; а вот эту вот мраморную голубь-красотку с отбитым носом – есаулу Шванвичу, да ему же и вот этот бисерный колпак с кисточкой, и меховые рукавицы. Словом, Емельян Иваныч всех оделил дарами. Не обидел и свою особу, отложив кой-какие приятные вещишки.

– А тут чего? – коснулся он ногой большой, как стол, плетеной корзины.

– А здесь-ка сряда всякая, барахлишко, тряпье бабское, – ответил Хлопуша, развязывая веревки на корзине и отпирая замок. – Есть и прянички.

– Медные? – подмигнул Пугачев.

– Пошто медные!.. Самые съедобные! И вареньице тут есть, банок с пять больших, ежели казаки не сожрали в пути.

Хлопуша, присев возле скрипучей корзины, открыл ее и вдруг, всех поразив, внезапно завизжал дурным, оглушительным голосом и повалился на бок.

– Мышь, мышь!..

Кошка Мурка мигом спрыгнула с плеча Пугачева и, урча, ухватила мышонка. Горенка грохнула дружным хохотом. Даже на лице Шигаева, строгом, бледном и постном, как лицо монаха в схиме, выдавилась улыбка. А Пугачев схватился за бока и от неумолимого хохота закашлялся.

– Уф, дьявол! Пуще смерти мышат боюсь, пятнай их душу! – сразу облившись потом, задышливо пыхтел Хлопуша. – В тюрьме, в камере, я однажды мыша увидел, едва решетку не оторвал с окна...

– Бывает, бывает... – откликнулся Пугачев. – У меня в свите генерал-адъютант один был, старик, так тот черных тараканов боялся дюже. А на войне первеющий храбрец!

Он запер сундуки и корзину, ключи сунул в карман, велел скликать казака Фофана, хранителя имущества, и, когда тот явился, приказал ему:

– Перетаци-ка с Ермилкой все это к себе вниз. Завтра, в присутствии моей особы, составишь список всему добру.

Затем он указал на искусно сделанную из ясеневое с резьбой дерева неведомого назначения вещь.

– А это что за оказия такая? Стол не стол, кресел не кресел?

– Музыка, – буркнул в бороду Хлопуша и поднял крышку. – Вот ежели по энтим клапанам вдарить, музыку можно вырабатывать.

– Ну, это мы видывали! – сказал Пугачев, придвинул стул, сел за инструмент и с силой ударил по клавишам обеими пятернями. Струны испустили душераздирающий, разнотонный звук. Пугачев простодушно засмеялся. – Я ведь во дворце игрывал на этой штуковине-то. Почасту игрывал, да вот забыл... Бывало, тетушка Елизавета сама меня учивала и за уши не раз трепала, как где собоюсь... – И он, закусив нижнюю губу, опять забрякал по клавишам, но помягче.

– Ты ногой-то, ногой-то, батюшка, орудуй, притопывай помалу, по приступке-то, – неожиданно проговорил Хлопуша, указывая корявым пальцем на нижнюю педаль. – Учи, учи!.. Не смыслю я с твое-то! – огрызнулся Пугачев и притопнул по педали. – Сия музыка зовется... Тьфу ты, черт!.. Трасмордас, что ли? Забыл.

– Уж вот нет, батюшка, ваше благородие! – опять ввязался Хлопуша. – Она называется – клавесин. А играть на ней надобно вот как... Пусти-ка, батюшка! Ты, я вижу, ни хрена не смыслишь.

Пугачев хотел оттолкнуть его, однако уступил место. Хлопуша засучил рукава, откашлялся, отплюнулся, скривил рот и заиграл.

Шигаев, Давилин и подошедший Максим Горшков придвинулись к Хлопуше и, разинув рты, глядели на него с приятным удивлением. Взяв несколько складных аккордов, Хлопуша подышал в пригоршни, пошевелил кривыми пальцами, стараясь размять их, затем стал двигать бровями и вышептывать, как бы что-то вспоминая. Вот он отбросил назад волосы, вытер вспотевший лоб, покосился на мрачного Пугачева и вдруг, ударив по клавишам, гнусаво, но складно запел заунывную священную стихиру: «Достоин еси во вся времена нет быти гласы преподобных...»

– Ах ты, сволочь! – не то в восторг и похвалу, не то в порицание выкрикнул Пугачев. – Откудов знаешь?

– А как же мне, батюшка, не знать? – захлопнув крышку клавесина, ответил сияющий Хлопуша, и большие белесые глаза его стали бегать от лица к лицу. – Ведь я из вотчины тверского архиерея Митрофана.

– Уж не попом ли был там. Ась?

– Пошто попом?.. Я родом крестьянин, из сельца Машковичи, Тверского уезда. А к архиерею по первости в истопники был взят, а тут в певчие попал, голосишка у меня, у

мальчонки, подходящий был. Ну, как спевки у нас почасту случались, я и понаторел на клавишине-то брякать. Я мальчишка озорной был, нечистики-то и попутали меня пакость сотворить. Как-то в Троицын день заприметил я пьяного дьякона в канаве, взял да всю гриву под корешок и обкорнал ему ножницами, а бородищу начисто отхватил. Так дьякон-то от того позору чуть умом не тронулся, а меня – пятнай их черти! – выпороли и прогнали. Владыка-т Митрофан своеручно посохом меня отвозил. Да так мне, подлецу, и надо!..

Все засмеялись. Хлопуша сказал:

– Да уж я тебе, батюшка, когда на свободе, всю жизнь обскажу. Только знай слушай!

4

Сидели за накрытым столом, выпили по доброй чаре крепкого пенника². В глубокое деревянное блюдо, в котором Ненила обычно толкла чеснок и лук, опрокинули банку демидовского малинового варенья. Ели его большими ложками, как кашу, хвалили, запивали квасом с кислинкой. За квасом появилась распластанная соленая рыба, за рыбой опять квас, за квасом тертая редька с конопляным маслом и баранина.

Хлопуша чавкал снесь со всем усердием, громко рыгал «в знак благодарности хозяину», утирал бороду широкой ладонью и неспешно вел свою чистосердечную исповедь.

– А звать меня, люди добрые, Афанасием Тимофеевичем, по роду – Соколов, я уж сказывал. А годов мне сорок пять. Опосля архиерейской службы вторично на деревне жил я, а придя в возраст, пошел в Москву в извозчики, и свел я там в кабаке знакомство с капралом да с сержантом Коломенского полку... Вот как-то закутили мы, по питейным домам ездили. А ночью заехали на Пречистенку; мне велели у рогаток дожидать, а сами ушли. А тут, глядь-поглядь, прут ко мне узлище с серебряной посудой, а через малое время два мешочка денег серебряных да маленький шкатульчик, оправленный золотом, в нем алмазные вещишки. А как зачали на Пречистенке у рогаток бить в трещотки тревогу, дружки мои пали ко мне в сани да дуй не стой на Москву-реку! Ну, иначе, стражники догнали нас, всех троих привели в часть. Путем-дорогой дружки научили меня, чтобы всем троим настоящинское звание укрывать, а показывать одно: все, мол, мы беглые, Черниговского полку солдаты. Нас отправили в военный гауптвахт. Там по суду меня приговорили к шпицрутенам и прогнали через сотню человек шесть разов.

– Не больно сладко, – вздохнув, сказал задумчиво сидевший Шигаев.

– Да, сладости не шибко много, – согласился Хлопуша и потянулся к штофу с вином; ему не препятствовали. – Два раза водой отливали меня, и валялся я изувеченный месяца с два. Шибко я здоровьишком своим скудался. Кровью харкал... Да, родимые мои, испортила меня Москва, вот как испортила! С мазуриками спознался, увечье немалое претерпел! А все через зелье это! – ткнул он пальцем в опорожненный штоф. – Правильно в божественных книгах сказано: не упивайтесь вином, в нем бо блуд.

– Ну, а как в конокрады-то попал? – спросил Шигаев. – Помнишь, в тюрьме ты мне сказывал?

– Нет, Максим Григорьич, не был я конокрадом, ни в жисть не был. То облыжно! После Москвы-то я опять в своей деревне очутился, под Тверью, и жил там в последней бедности. И поехал я в город Торжок и выменял там на базаре коня у мужика. А этот самый мужик – чтоб ему без покаяния, собаке, сдохнуть! – в провинциальной канцелярии возвел на меня поклеп, что я, мол, у него коня украл. А как считался я в своем сельце человеком худого состояния, жители принять и защиту дать мне не согласились. А канцелярия определила высечь меня кнутом и сослать на жительство в Оренбург.

² Пенник – очищенная водка.

– Вот видишь, Афанасий, – стало, не вино, а сам ты виноват, – укорчиво сказал Шигаев.

– Ничего не сам, а народ шибко виноват, жители. Они не приняли меня.

– Стало, ты согрубил народу, вот и поддержки тебе не дали, – настойчиво вел обвинение Шигаев. – Народ никогда зря не обидит.

– Ой ли? – ввязался в разговор Пугачев. – Нет, Григорьич, как хошь, а не соглашусь с тобой. В народе, брат, разные людишки бывают. Иных за ведро вина можно купить. Я, конечно дело, не про весь народ балакаю, а про скопище, про сброд. Чуешь? – Глаза Пугачева загорелись. Он вскочил и стал шагать по горнице.

Шигаев, сметив, что предстоит с батюшкой разговор «по душам», и считая Хлопушу человеком лишним, сказал ему:

– Слышь, приятель, сделай милость, дошагай до моей хаты, принеси записную тетрадь мою с расходами, буду государю отчет чинить, а я забыл... Я бы Ермилку спослал, да страшусь документ доверить – как бы не утерять...

– С полным нашим удовольствием, – проговорил Хлопуша, польщенный оказанным ему доверием, оделся и быстро вышел. Шигаев запер за ним дверь.

Тем временем Пугачев, припомнив свою давнишнюю беседу со скитским старцем Филаретом, продолжал:

– Ха, народ!.. А слышал ли ты, Григорьич, как рекомый народ ложного Димитрия на царство посадил, оный же самый народ и разорвал царя Димитрия на части. Вестимо вам это ай нет?.. Толпища – что комариный рой: куды ветер дует, туды и комары летят... Али взять хоша бы Степана Тимофеича Разина, казака донского, с чего он в руки бояр-злодеев попал и такую страшительную, на колесе, смерть принял?.. А с того, опять-таки, что в народе полного ладу не было и всякие водились душонки промежду него. Наслышавшись мы горазд много об этом, как по Дону довелось бродить. – Он остановился, помолчал и, воззрясь на смущенно покашливающего Шигаева, спросил его: – Ну, а как думаешь ты, Максим Григорьич?.. Вот ты все балакаешь – народ да народ... А ежели б я, к примеру, вышел да и объявил ему, что есть я обыкновенный сырый человек, а вовсе не царь?

Вопрос был столь внезапен, прям и необычен, что оба атамана выжидательно усталились на батюшку. И средь наступившей тишины Пугачев, раздувая ноздри, молвил:

– Народ, чаю, зараз прикончил бы меня... А не то – самовольнице Катерине предал бы...

Пугачев и сам, похоже, смутился этими своими словами. Как будто и повода к ним не было, но вот какая-то шипица вдруг кольнула его в самую душу, и он, не сразу одумав смысл своего вопроса, кинул его своим товарищам.

Безбородый, безусый, похожий на скопца, Максим Горшков, испугавшись, набычился и гулким, с дрожью, голосом сказал:

– Ты, ваше величество, царь есть. Сему народу ведомо это.

– Да знаю, что не лапоть я, не прибудыш какой! – закричал Пугачев. – Я к примеру толкую. Вот, скажем, взял бы я да и крикнул людям: «Не хочу вас за нос, как индюков, водить, не внук я Петра Великого, а есть я правнук Разина, вольный житель!» Что бы тогда? Ась?

Шигаев приосанился, махнул по бороде концами пальцев вправо-влево, сказал:

– Народ, то верно, разъярился бы, пожалуй... Обязательно разъярился бы, батюшка! – добавил он уверенней и продолжал с внезапной угрозой в голосе: – И тебя бы убил, да и нас переколол бы... А почему так? А потому, что вы, батюшка, укрепил из-под ног у него, у народа-то, вышибли бы, надежду его рушили бы, даль-дорогу ему затмили б. А первой всего – за обман! Ведь не всякий простит обман-то... Эх, да чего там!.. И поздненько нынче про это про все талалакать...

– Поздненько, ваше величество, – повторил и шадристый, неразговорчивый Максим Горшков, двигая вверх-вниз бровями. – Взялся за гуж, не говори, что не дюж.

– Это самое, – вскинув на него глаза, сердито буркнул Пугачев и отошел к окну, за которым чернела глухая ночь.

Горшков и Шигаев переглянулись. Они, каждый по-своему, любили Пугачева, но, охраняя свои интересы, все время зорко следили за ним. И теперь им обоим вдруг с ясностью припомнилась далекая потайная ночь в бане, припомнилось крестное целование и клятва – признать Емельяна за царя, дабы служить ему верно... Будь же здоров, будь до конца благополучен, отец наш, Емельян Иваныч! Благополучен и... послушен: затеяли дело вместе, так уж не брыкайся, ваше величество, не куролесь... А то и тебе, и нам несдобровать!

Емельян Иваныч напряженно глядел через окошко в тьму, как в стену, полный своим нелегким раздумьем, и в его ушах еще звучал голос, похожий на угрозу: «Народ, это верно, обязательно разъярится бы!» Да, так оно и есть... Ежели не Шигаев с Горшковым – им Пугачев крепко верил, – то другие атаманы вроде Чумакова помогли бы, пожалуй, народу в ярость прийти... Только объявись, попробуй: какой, мол, к лешему, я Петр Федорыч, я такой же, как вы, простой человек, лишь за всех вас духом воспрял! Попробуй-ка этак молвить, вот и заварится буча. Сыщутся, пожалуй, которые и поддержат его, а громада-то, чего доброго, за атаманами пойдет: позднеенько, мол, батюшка... Царем-де за гуж ты взялся – царем и тяни, а ежели нет, так и нас с тобой нет. И разобьется народ, как вода и пламень, надвое, и получится великая смута, и проистекут побоища страшные... Нет уж, Емельян, видно уж, ежели «попала в колесо собака, пищи да бежи...» Точь-в-точь так. «А вот возьму, да и упрусь», – мысленно воскликнул он и загрозил во тьму взором.

В дверь постучали. Шигаев отпер, пустил Хлопушу, принял от него тетрадь в синей корочке, поблагодарил его. Хлопуша, раздевшись, присел к столу, ужал в корявую лапищу с набухшими жилами штоф темно-зеленого стекла с орлом, встряхнул его и, глотая слюни, с огорчением поставил на место.

– Эх, усохло винишко-то... Выпить ба, – сказал он и, повернувшись к Пугачеву, громким голосом воззвал: – Батюшка, твое царское величество! Подь сюды поближе, каяться перед тобой хочу!

Стоявший у окна, руки назад, Емельян Иваныч с готовностью прошагал к столу, поскрипывая подкованными сапогами, и сел в мягкое кресло. Лицо у него было хмурое, рот слегка подергивался, глаза блестели.

Хлопуша, обхватив ладонями локти и раскачиваясь взад-вперед, как пильщик в работе, воззрился на Пугачева, заговорил:

– Батюшка, слушай! Как на духу тебе, без утайки.

Он начал рассказывать о том, как перебрался в Бердскую слободу, женился, обзавелся хозяйством, прожил на месте пятнадцать лет, затем ушел работать на Покровский, графа Шувалова, медный завод. И, проработав там трудолюбиво с год, спознался с тремя работниками из беглых людей.

– Оные злодеи в пьяном положении сказали мне: ведут-де в Троицкую крепость касимовские татары кровного дорогого иноходца. Пойдем отобьем!.. И мы, сволочи такие, пошли! Дорогой мы повстречали двух беглых мужиков, таких же воровских людей, как мы. Они обсказали нам, что жеребец уведен далеко, уж его не нагнать, а вот едут-де с Ирбитской ярмарки четверо татар на шести подводах, при больших деньгах, вот давайте-ка их трянем. Ну, мы, знамо, согласились и, как выследили татар, запали в буерачик. А как подводы противу нас поверстались, мы выскочили и после бою всех татар перевязали и ограбили. Денег взяли рублей с тридцать, да двенадцать мерлушек бухарских, да сколько-то халатов, да шесть лошадей. После разбою мы, сволочи, татар отпустили, а убитого своего товарища в землю закопали, чтоб ему, язвы его, век в аду гореть! Трое по московской дороге в дома свои пошли, а я с товарищем опять на завод повернул. И вот, батюшка, работаю я на заводе честь по чести, и доходит до меня слух, что ограбленные татары всех нас в Оренбурге оговорили

и меня ищут солдаты. Я с товарищем ну-ка с завода бежать! А как не было у нас паспортов, мы и вдругорядь влопались. В Екатеринбурге судная изба при воеводстве определила наказывать меня кнутом, вырвать ноздри, на щеках, на лбу поставить клейма... – Хлопуша боднул головой, поправил тряпку на носу и, ударив себя в грудь, надрывным голосом выкрикнул: – Изувечили!.. На всю жизнь изувечили! Урод я стал. В меня пальцами все тычут, изголяются надо мной стар и мал, за десять сажен орут: «Глянь, глянь: страхолюдное чудище идет!» Тяжелехонько мне, братцы, на свете жить... Батюшка, твое величество! Вели подать вдругорядь эфту посудинку, – неожиданно попросил он, сделав плаксивую гримасу и позвякав ногтем о пустой штоф.

– Нет, не велю, Афанасий Тимофеич, – сказал Пугачев, хмуря густые брови. – Гуляшек безо времени не потакаю.

– Да ведь я, батюшка, не ради пьянки прошу. Плакать мне надобно перед тобой, душу свою богомерзкую тронуть, а плакать-то и нечем... Дай штофик, батюшка, уважь...

– Не проси, не дам, – еще строже сказал Пугачев. – Брось причитать!

Тогда Хлопуша, издав не то рычащий, не то плачущий звук, поднялся во весь рост и сорвал с лица тряпицу.

– Вот, твое величество! Гляди... на меня... изукрашенного... Хорош?!

Еще никто из присутствующих не видал лица каторжника открытым. И теперь, взглянув невольно, все с жалостью и необоримым отвращением откатнулись от Хлопуши... Из носового черного провала торчали безобразные ослизлые хрящи, на щеках и на лбу темнели зарубцевавшиеся несмываемые знаки: «В.О.Р.»

Человек злобно ухмыльнулся, всхлипнул и дрожащими руками вновь повязал тряпицу. От надсадного дыхания в его груди хрипело, булькало.

– Батюшка, царь-государь! – скосоротившись, завопил Хлопуша. – Хоть ты не дашь мне новой хари человечесьей, а грех с моей души снять в твоей власти... Ты – царь!

– Да велик ли грех твой, Соколов? Эка штука, – откликнулся Пугачев и махнул рукой.

– Грехов у меня целый мешок, батюшка... не говори! Через них и душа-то у меня безносой стала, и сердце-то, как ошметок, высохло... Людишек убивал я, по пьяному разгулу грабил. Вот дело какое. Попы снимали с меня грехи-то, да ведь они за деньги и черта святым сделают. А вот ты прости меня, по чистой совести прости!.. – Хохлатые брови Хлопуши поднялись, белесые глаза стали как у сумасшедшего, он всплеснул руками и упал Пугачеву в ноги. – Сними ты с меня, окаянного, грехи мои... Помилуй!

– Встань, Афанасий Тимофеич, – сказал Пугачев лежащему у ног верзиле. – Бог и я, государь, прощаем вины твои, малые и большие. Служи мне правдой, тогда все грехи твои насмарку отойдут!

Хлопуша-Соколов с жаром поцеловал колени Пугачева, поднялся и, ни на кого не глядя, расхлябанным шагом пошел к выходу.

– Похоже, хватил Хлопуша-то лишнего, – заметил неодобрительно Горшков.

– Что ж, что хватил, – отозвался Пугачев. – Сказано: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... Совесть в нем живет – это хорошо... Ах, сволочи! – продолжал он с сердцем. – Каких людей увечили... А еще Овчинников, дурак, все приставал ко мне: повесь да повесь Хлопушу. Экой дурак! Ну, а что же с Хлопушей после Екатеринбург-то сталося?

Шигаев, когда-то слышавший в тюрьме от Хлопуши о всех его мытарствах, сказал, что безносый сослан был на каторжные работы в Тобольск, оттуда бежал, снова был схвачен и сослан в Омскую крепость, но вскоре и оттуда бежал.

– Молодец! – воскликнул Пугачев. – Вот это молодец!..

– Бросился он к Оренбургу, чтобы со своим семейством свидеться, а был схвачен под Сакмарой казаками и доставлен в Оренбургскую крепость, где в четвертый раз наказан плетью.

– Понравился, видно, кобыле ременный кнут, – буркнул Горшков.

– Да... и оставили Хлопушу страдать в кандалах при тюрьме вечно. Вот тут-то Рейнсдорп и призвал его.

Наступило короткое безмолвие. Все позевывали, закрещивали рты. Пугачев, снимая послушенными пальцами нагар со свечи, сказал:

– Ну, вот, други мои... Кару, значит, мы всыпали в загорбок. Теперь за Оренбургом черед. Да вот, шибко долго возюкаемся с ним, с Рейнсдорпом-то. Не плюнуть ли нам на него да на матку Волгу податься?! Ведь земли в нашем императорском государстве неоглядно, а мы здесь, кабудь у журавля на кочке, топчемся. Ты как, Максим Григорьич, думаешь на этот счет? Ась?

– Да что, батюшка Петр Федорыч, – покашливая и сутулясь, откликнулся Шигаев, – наше казачье мнение ведомо тебе: без Оренбурга нам не можно! Ведь Оренбург-то у нас – один.

Пугачев, прищулив правый глаз, посмотрел на Шигаева с нарастающим раздражением. Шигаев, подметя это, примирительно сказал:

– Да о чем печаль? Время придет, батюшка, потолкуем наособицу.

– Ну, ин ладно, – отступился Пугачев. – Время что семя: был бы дождик, оно себя окажет. – И, снова обратясь к Шигаеву, спросил его: – А как ты, Григорьич, насчет турецкой войны? Ведь придет же когда-нито ей скончание? Как бы нам, мотри, не опростоволоситься, Григорьич. Ведь Катерина-то, чаю, дюже хвост поджала, вдруг да заключит она с султаном мир... да и двинет супротив нас с тобой целый корпус? А мы все околачиваемся возле Оренбурга твоего...

Сутулый, высокий и сухой Шигаев, не торопясь, поднялся, вправо-влево щелкнул по бороде концами пальцев, заложил руки назад и прошелся по горнице. Затем сказал:

– С войной еще долга песня, Петр Федорыч. Которые прибегают к нам из деревень да заводов, сказывают, что опять рекрутов набирают по России-то... А Оренбург так и так брать надо... Надо, Петр Федорыч, батюшка...

Пугачев насупился, передернул плечами, засопел и, недружелюбно поглядывая из-под хмурых бровей на Шигаева, с раздражением сказал:

– Ну, атаманы, спать пора! Ты, Шигаев, упреди-ка Федю Чумакова, чтоб завтра привел в боевой распорядок артиллерию, я смотреенье буду делать, а всем канонирам строгую проверку учиню.

Было два часа ночи. Гости наконец ушли. Утомленный Пугачев прилег на кровать, не раздеваясь, и сразу захрапел.

Перед рассветом ему привиделся недобрый какой-то сон. Он заскрипел зубами, застонал, затем дико принялся вопить. Растолкала его прибежавшая на голос Ненила. Она – в одной рубаше, в накинутой поверх плеч пуховой шали. Теплая, разомлевшая от сна, склонилась над Пугачевым, перепуганно забормотала:

– Батюшка, батюшка, очнись!

Он оттолкнул ее и, не размыкая глаз, как бы продолжая с кем-то спорить, гневно говорил взхлеб:

– К лешему, к лешему Оренбург!.. Че-го-о! Да как вы смеете?! – Застонал, перевалился на бок и опять: – Ну, так и торчите здесь с Петром Федорычем своим... А я... А я на Дон, на Волгу... Геть с дороги, так вашу, геть, геть!

Он скрежетал зубами и захрипел, будто его сгребли за глотку. Вся дрожа от страха, Ненила принялась трясти его:

– Батюшка, ягодка моя, очнись! Уж не домовой ли тебя душит...

– Ась? – промямлил Пугачев, спустил с кровати ноги, сел, открыл глаза и, почесывая волосатую грудь, сонным голосом спросил: – Ты, Ненилушка?

– Я, батюшка, твое величество... я!

– Кваску бы мне... с кислинкой.

Обрадованная Ненила схватила со стола порожний жбан и кинулась на кухню:

– Чичас, родименький, чичас!

В этот самый час оправившийся от лихорадки генерал-майор Кар, сидя в деревне Дюсметевой, не спеша сочинял пространную реляцию в Военную коллегию. Описывая подробно все свои неудачные стычки с неприятелем и с неопровержимой, как ему казалось, логикой выставляя причины этих неудач, он между прочим требовал:

«Для того, чтоб совсем сих разбойников искоренить, то непременно надобно, чтоб сюда был прислан целый полк пехотной да полки ж карабинерной и гусарской с одними седлами и оружием на почтовых подводах. Неминуемо также потребна артиллерия, пушек восемь и четыре единорога. Отбивать атакою пехоты вражескую артиллерию невозможно, потому что они всегда стреляют из нее, имея готовых лошадей и перевоза пушки быстро с горы на гору, что весьма проворно делают, и *стреляют отлично, не так, как бы от мужиков ожидать должно было*».

Затем он стал писать президенту Военной коллегии графу Чернышеву. Повторяя в частном письме причины неудач и свою просьбу выслать ему военную силу с артиллерией, Кар попытался запугать графа Чернышева.

«Если не соизволите уважить мою просьбу, то по генеральному в сем крае колебанию, *куда б сей злодей Пугачев ни прошел, везде принят будет*. И возгоревшееся сие пламя надобно много уже трудиться утушать».

В конце письма следовал погубивший карьеру Кара более чем рискованный постскриптум:

«Пока еще направляемые сюда войска собираются для переговоров с вашим сиятельством о многих сего края подробностях, поруча команду генералу-майору Фрейману, намерен я отъехать в Петербург, ибо то время, которое употреблю на езду свою и с возвращением, здесь безо всяких предприятий протечет. Василий Кар».

Глава III

У П. И. Рычкова гости. Отчаянный купчик

1

Знаменитый Рычков³, давнишний житель Оренбурга и Оренбургского края, член-корреспондент Академии наук, член Вольного экономического общества, принадлежал к числу недюжинных русских людей елизаветинского и екатерининского времени. Хотя Рычков и не получил систематического образования, но, будучи одаренным от природы и благодаря своему необычному трудолюбию и великой склонности к наукам, он был широко известен образованным кругам не только Москвы и Петербурга, но и ученым Западной Европы.

Высокий, очень упитанный, с размашистыми жестами, но уже достаточно престарелый – ему шел шестьдесят второй год – Рычков имел крупное овальное лицо с выражением

³ Автор известной летописи «Осада Оренбурга». – В.Ш.

упрямства и надменности. Серые выпуклые, необычайно спокойные глаза, слегка приплюснутый нос, круглый подбородок, длинные седые, в буклях, волосы.

Он состоял в должности начальника соляного дела Оренбургской области и очень печалился, что знаменитые соляные промыслы в Илецком городке пограблены и наполовину порушены пугачевцами.

В воскресный день, сразу же после поздней обедни, к нему неожиданно появились посетители.

– Ну, вот, Петр Иванович, уж не обессудьте, гостей к вам привел, двух благочестивых коммерсантов, – сказал прокурор Ушаков, подслеповатый, низенький, с брюшком, в мундире и при шпаге.

Оба купца поклонились хозяину с приятными улыбками. Первейший оренбургский купец Кочнев, высокий и долгобородый, бывший от купечества депутатом Большой комиссии, застенчиво потеребливая бороду, сказал:

– Ну извини, брат Петр Иванович. Не бывывал я еще в твоих новых хоромах-то. Вот любопытства ради, и пришел, да и приятеля с собой привел, это купеческий сын из града Курска Авдей Иванович Полуехтов, прошу любить да жаловать!

– Знакомы будем, знакомы будем! – тенористо выкрикнул молодой кудрявый купчик, закатился беспричинным смехом и столь крепко сжал мускулистой лапищей пухлую руку Рычкова, что тот болезненно сморщился и выдохнул:

– Ой, ну и сила же у вас!

– Ха-ха!.. Силой Господь-батюшка не обидел, – снова закатился Полуехтов, закинул руки за спину и, бесцеремонно высвистывая какую-то бурлацкую, взад-вперед стал ходить по кабинету. Краснощекий, широкоплечий, в синей поддевке и алой шелковой рубаше, перехваченной персидским чеканным поясом, он, несмотря на ранний час, уже был навеселе: от него изрядно пахло водочкой.

Рычков поглядывал на него с некоторым удивлением. Степенный Кочнев, осматриваясь, сказал:

– Добрые, добрые у тебя хоромы, Петр Иванович!

– Оное обиталище выстроено на казенный кошт губернатором Рейнсдорпом и отведено мне, – ответил Рычков. – Дивлюсь на сего капризного барина: то он ко мне полный решпект имеет, то вдруг – вожжа под хвост, и я уже не хорош ему. Наш губернатор, ежели хотите знать, низкопоклонство да лесть любит, а у меня ни того ни сего и в природе нет.

Брюхатенький прокурор Ушаков ядовито улыбнулся, он прекрасно знал мнение Рейнсдорпа о Рычкове. «Помилуйте, то ж Тартюф, настоящий Тартюф! – не стесняясь говорил про него губернатор. – В нем неограниченное самолюбие, глупое тщеславие и низкая зависть. Но иногда он прикидывается признательным. Впрочем, я отдаю всю справедливость его уму, хотя и не вполне возделанному».

Рычков был действительно умен и наблюдателен. Он тотчас разгадал смысл язвительной улыбки прокурора и, укорчиво взглянув на него, сказал:

– Ежели немец-губернатор, в силу своей душевной ограниченности, не умеет ценить таких, как я, то меня и фамилию мою ценит и чтит российское общество. И вот доказательство сему. Господа купцы, пожалуйста сюда! – Он взял их под руку и подвел к письменному столу, на котором лежали две большие медали. – Вот, извольте видеть, обе сии медали получены нами в награждение от Вольного экономического общества. Моя – серебряная – за сообщение туда разных моих сочинений и опытов. А эта вот – золотая – супруги моей, Алены Денисьевны Рычковой.

– О-о-о? За что же женскому полу этакая медалища? – удивился Полуехтов.

– А вот читайте! – И Рычков показал ему диплом: «За оказанное усердие нашему обществу присылкой как прежнего, так и нынешнего рукоделия».

– Ха! Стало, супружница-то перекрыла вас. Вам серебряную, а ей золотую!.. Ха! Ну, я бы не поддался, ей-Богу, право! Я свою бабу во страхе завсегда держу, – с чувством собственного превосходства воскликнул курский купчик.

Рычков улыбнулся и, достав из ящика третью медаль, сказал:

– Позвольте, позвольте... Победителем-то все-таки остался я. Вот большая золотая медаль, полученная мною не столь давно от того же Вольного общества в награждение трудов моих.

– Ну, слава те Христу, что вы верх взяли, – проговорил простоватый Полуехтов, взвешивая на ладони ценность золотой медали. – Нет, ваше высокородие, супружниц завсегда нужно в страхе содержать, чтобы не в свое дело не лезли. Медаль для бабы – это баловство, ей-Богу, баловство... Не женского ума сие дело. Да ежели б моя половина медаль получила, а я нет – ну, знаете... отойди-подвинься! Я бы после этакого позору бабу свою извел бы... Я человек карахтерный, ей-бо, право! – Купчик говорил горячо и не стесняясь, даже с оттенком зазорного бахвальства.

Рычков с удивлением и любопытством выпучил на него большие серые глаза, а купчина Кочнев стал своему приятелю пенять:

– Полно болтать-то, Авдей Иваныч, постыдись! Ведь твой родитель в купческую гильдию по Курску вписан, а ты...

– Да ведь обидно, Илья Лукьяныч. – И одернутый купчик конфузливо зачесал в своей кудреватой голове. – Вдруг моя баба медаль бы получила, а я нет. Да меня тогда весь город засмеял бы!.. А вы меня, ваше высокородие, разожгли медалями-то... Эх, зачем я не офицер, не генерал, не дворянин хотя бы.

– Друг мой! – И Рычков, широко улыбаясь, взял молодого Полуехтова за плечи. – Ежели вы, будучи купческого сословия, окажете доблесть на поле брани, то неукоснительно и медаль получите, а нет – и крест.

– Скажи на милость! – протянул купчина. – Я ведь драться охоч, у нас, в Курске, я кажинный праздник на кулачный бой выхожу. Бью крепко! – Он плюнул в горсть и, размахнувшись, ударил кулаком по воздуху. – Р-раз – и с каблуков долой! Вот ежели б случай вышел здесь со злодеями схватиться!.. А?

– Здесь похвально было бы тем более, – поощрительно сказал Рычков. – Наш несчастный Оренбург является наивящей ареной для отличения подвига ратного...

– Ваше высокородие, отец родной! – с необычной горячностью вдруг закричал купчик, наступая на Рычкова. – Не можно ли обо мне губернатору доложиться?.. Я бы скуки ради...

– Брось, Авдей! Тут тебе не кулачный бой! – прикрикнул на него степенный Кочнев. – Это в тебе не отвага, а винцо говорит. И где ты, чадо лукавое, спозаранку клянуть-то споровил?

– За обедней, Илья Лукьяныч, видит Бог – за обедней. Выскочил я из собора да в сторожку, а там у пономаря вино. Хлопнул на размор души да опять в собор... – Купчик подбоченился и бесцеремонно сплюнул. – А я на Пугача, поистине скажу, сердит. Он, супостат, в великие убытки меня ввел, ей-бо, право. Ведь я, господа хорошие, товаров сюда понавез, с бухарцами да с ордой на Меновом дворе менка ладил устроить, баш на баш, как говорится. А глянь, что вышло? Тьфу! Сидению здешнему конца-краю не предвидится. Нет, я с ними, с разбойниками, сшибусь, видит Бог, сшибусь!.. Я человек отчаянный. Эх, в казаки, что ли, записаться, к Мартемьяну Бородину...

– Ваше усердие, господин Полуехтов, вступить в бой с нашим общим врагом весьма похвально, – покашываясь на Кочнева, наставительно сказал Рычков. – Я чаю, вы не токмо о своих делах печетесь, но такожде и о чести родины помышление имеете.

– Ну, где там о родине! Просто – кровь кипит, поозоровать охота, – бесхитростно ответил купчик и стал осматривать, пробовать на ощупь, колупать ногтем всевозможные пред-

меты, в порядке развешанные по стенам и разложенные по полкам: образцы знаменитых оренбургских шалей и других изделий из козьего пуха, канаты из крапивного волокна, колпаки и холстинку из травы кипрейника, куски разноцветной юфти, ткани из верблюжьей шерсти, осколки всевозможных минералов, медной и железной руд, кубики каменной соли, пробы «горячей угольной земли», то есть каменного угля, – целый музей.

– Многие из того, что вы видите, – сказал Рычков, – я собрал лично и с точностью описал места сих богатств земных недр. Мною описаны также и многие местные промыслы – как вязание шалей, выделка юфти, ткачество сукон из верблюжьей шерсти и прочее. Я приложил немало хлопот к тому, чтобы эти промыслы улучшить, расширить, и того достиг. Помимо сего, новым промыслам положил начало – например, выделка канатов из крапивного волокна, производство краски из травы кипрейника. Да всего и не перечислить. Все это описано мною и опубликовано в «Трудах Вольного экономического общества».

– Купцом бы вам быть, фабрику иметь! – польстил ему Кочнев.

– А что же? – сказал Рычков. – Родитель мой – именитый купец, жил он сначала в Вологде и через Архангельск имел с Голландией торг хлебом, да разорился и переехал в Москву, где и отдал меня, восьмилетнего мальчика, в обучение европейским языкам, арифметике, бухгалтерии. Мой родитель ладил из меня просвещенного купца сделать...

– А вышли вы, Петр Иванович, ученым мужем, – вставил все время молчавший прокурор Ушаков и закурил трубку.

– Вашими устами глаголет истина, – с легким поклоном ответил осанистый Рычков и, оправив рукой седые волосы, торжественно проговорил: – В Священном Писании сказано: «Похвала детям – отцы их», а со мною вышло иначе, и я не без гордости могу похвастывать: «Похвала отцам – дети их».

Гостям очень хотелось есть, они с нетерпением ожидали приглашения к хлебосольному столу, у них были унылые лица. А хозяин все говорил и говорил, он стал показывать прокурору и Кочневу свои многочисленные напечатанные статьи по многим хозяйственным, бытовым и экономическим вопросам края.

– Это все мелочь, – говорил он, – а главная моя работа – «Оренбургская топография» – была еще двадцать лет назад одобрена самим Ломоносовым, коему я был персонально известен.

Рычков пространно стал рассказывать о своем поместье в селе Спасском⁴, о находящемся там опытном медном заводике, приносящем ему одни убытки, о том, как в Спасском пять лет тому назад его посетили и прожили по две недели знаменитые академики Лепехин и Паллас, в команде которого работал в чине прапорщика старший сын Рыčkова.

Наконец, приметя, что гости утомлены, и желая привлечь внимание молодого купчика, Рычков приподнятым голосом и не без хвастливости стал говорить о том, как в 1767 году он преподносил императрице свои труды.

– И я, государи мои, удостоился слышать из уст ее величества следующие слова: «Мне известно, что вы довольно трудитесь в пользу отечества, за что вам благодарна». И более часу изволила расспрашивать меня владычица в парадной своей опочивальне об Оренбурге, о ситуации места, о хлебопашестве и коммерции столь снисходительно и милостиво, что тот день наилучшим и счастливейшим в жизни почитать мне надлежит. Предводителями к сему счастью были его сиятельство Григорий Орлов и приятель мой – историограф Миллер.

Прокурор снова язвительно заулыбался: его взор как раз наткнулся на лежавший перед его глазами пакет, предназначавшийся профессору-историографу, Федору Ивановичу Мил-

⁴ На дороге из Оренбурга в Казань, в пятнадцати верстах от Бугульмы. Земля с тремя деревнями была отведена Рычкову оренбургским губернатором Неплюевым еще в 1743 году за его ревностную службу. – В. III.

леру, с довольно странным адресом: «Дом его за Яузским мостом, идучи на гору, первые низменные каменные палаты на левой стороне, где прежде бывала аптека».

– И доходит? – поинтересовался Ушаков, указывая на пакет.

– Всенепременно, – ответил хозяин. – Мой милостивец и друг известен не только ведомству почтовому, но и всему миру.

– Верблюды! – взглянув в окно, вдруг вскрикнул купчик Полуехтов и стремительно выбежал на улицу.

Гости и хозяин прильнули к окну. По дороге неспешно шествовал большой караван верблюдов. Долговязые животные, слегка покачиваясь, гордо несли свои небольшие головы на мускулистых и длинных, слегка изогнутых шеях. Они, видимо, прошли трудный путь, были тощи, на их ребристых облезлых боках висела грязной бахромою сваливавшаяся бурая шерсть. Меж их горбами навьючены огромные тюки. Животные были связаны нос в хвост – гуськом, по шести верблюдов в связке. Рядом с ними шагали худые, со втянутыми щеками, чернобородые люди, одетые в цветные халаты и войлочные остроконечные шапки.

Шумно вбежавший с улицы купчик замахал руками и закричал, как в лесу:

– Хивинцы! Тридцать верблюдов! А шесть верблюдов пугачевским разбойникам достались. Напали, дьяволы, двух хивинцев саблями порубали, третьего в полон увели. Ах, сволочи! Ну, тепереча Пугачу на портки да на рубахи всяких шелков хватит! – Купчик засунул в рот купленный на улице бублик и стал с азартом чавкать, как умирающий от голода.

Хозяин покосился на него с презрительностью и позвонил в серебряный колокольчик. Вошедшего слугу спросил:

– Завтрак готов?

– Пожалуйста-с... Пироги из печки вынимают.

– Господа, прошу!

Все сразу повеселели.

У стола уже распоряжалась краснощекая пожилая Алена Денисьевна. Поздоровались, поздравили хозяйку с праздником, сели за стол.

– Ой, да какие уж нынче праздники. Каждый час смерти ждешь, – вздохнула хозяйка, раскладывая по тарелкам пирог с рыбой.

– Бог не без милости! – сказал Кочнев, перекрестился и принял от хозяйки две доли пирога.

Потянулись разговоры о тяжелом осадном времени и желчные упреки по адресу губернатора: он нераспорядителен, ленив, не смог обеспечить город ни продуктами, ни фуражом, крепость в самом плохом состоянии, а главное, а главное... губернатор Рейнсдорп проплясал со своими завсегдатаями-гостями самый горячий момент и дал злодею Пугачеву непомерно усилиться.

– Вот уже месяц, как длится осада, – с горечью в голосе начал Рычков. – Надлежало бы в назидание потомкам летопись сему великому историческому событию писать. Но кто за сей почетный труд возьмется?

– Вы, вы, Петр Иванович. Вам и книги в руки! – раздалось со всех сторон.

– Истинно, мне надлежало бы, моему испытанному перу. Но, судари мои, десная рука моя скована: губернатор все сие дело держит в тайне, вся переписка у него под замком. Столь непонятное отношение ко мне со стороны Рейнсдорпа я считаю преступным, а для исторических перспектив – пагубным.

Вдруг близко ударила вестовая пушка. Алена Денисьевна, сильно вздрогнув, вскочила и зажала уши.

– Ну, начинается! – бросив салфетку, пробасил Рычков.

Ударила вторая пушка. Вскочил и купчик.

2

На крепостной вал, охвативший город пятиверстным хомутом, уже сбегались праздные зеваки.

Как только с угловой батареи прогремел пушечный выстрел, тетка Мавра, по прозвищу Золотариха, бросила у колодца ведро с водой и тоже побежала на вал. Высокая, черная, с большими плутоватыми глазами, в народной душегрее, она была столь любопытна и жадна до всяких происшествий, что не пропустила ни одной стычки пугачевцев с защитниками крепости. Эта сорокалетняя разбитная баба была известна городу как содержательница маленького веселого притона, где иным часом совершались жестокие драки, по базарным же дням она торговала на рынке пирожками, блинами, сбитнем.

Прытко избежав на вал, она выбрала самое удобное место. Отсюда была хорошо видна вся окрестность: белое, запорошенное снегом поле, высокая Маячная гора, постройки Менювского двора, стоявшего на отшибе от города, слева – мрачные кирпичные сараи, справа – выжженный пригород – Казачья слобода, а на горизонте – одетые лесами увалы гор.

Все тихо, все спокойно. Только видно, как между кирпичными сараями, из оврага в овраг, перебегают верхоконные пугачевцы.

Золотариха постояла, посудачила с соседями, оглянулась назад: в сиянье холодного солнца пестрел примолкший Оренбург. Над деревянными избами и белыми мазанками высились девять церквей, двухэтажные палаты губернатора и губернской канцелярии, обширный дом гауптвахты с обитым белой жестью куполом, над которым – городские часы с колоколами, далее – цейхгауз, артиллерийский двор, почта, госпиталь, торговые ряды, кирпичные дома купцов и местной знати. Город казался издали многолюдным, красивым и богатым. Золотариха часто любовалась с вала родным городом.

Вот она снова повернулась лицом к степи и, всматриваясь из-под ладони вдаль, звонко закричала:

– Глянь, глянь! Едут!

За кирпичными сараями, на возвышенном взлобке, действительно собралось сотни три пугачевцев. До них было версты полторы, и на таком расстоянии они крепостных пушек нисколько не боялись. Они, очевидно, выехали лишь погарцевать да по праздничному делу поразвлечься, подразнить осажденных. А ежели Рейнсдорп не стерпит да вышлет на них команду, то и сразиться. Они там горланили песни, орали, взапуски скакали на конях, снова собирались в круг.

Вскоре от круга отделились человек тридцать головорезов и, пригнувшись к луке, с гиком ринулись на крепость. Это были подгулявшие яйцкие казаки. Впереди них – отпросившийся у «батюшки» побаловаться чубастый горнист Ермилка.

Вот они подкатили к самому рву против Бердских ворот, до них было не более полтора шагов. Молодые, веселые, разгоряченные вином и скачкой, они замахали шапками и закричали толпившимся на стене солдатам:

– Эй, не стреляйте! Видите – мы без ружей. Долго ль вам воевать? Сдавайте, солдаты, крепость! Государь милость окажет вам. А не взявши крепости, царю прочь не уйти.

– Убирайтесь, христопродавцы! – отвечали со стены. – Ах вы супостаты, изменники!.. Вот уж мы вас!

Казаки, потрясая пиками, горланили в ответ:

– Мы и сами, подобясь собакам, умеем против лаять, да не хотим так безумствовать...

– Ах, не хотите! – кричали со стен и с вала. – Что вы задумали, пьяные ваши рожи, с Пугачом-то со своим?

– По-вашему – Пугач, а по-нашему – милостивый царь! Вот уж сам наследник Павел Петрович прибудет к нам. С ним семьдесят две тыщи войска. Тогда сотрем вас!

Вдруг они проворно подались назад и, отъехав сажен пятьдесят, остановились: из крепости выехала полусотня оренбургских казаков и пальнула в них из ружей.

– Ах, дьяволы! – звонкими голосами кричали пугачевцы, грозя нагайками и отъезжая на недосыгаемое для пуль место. – Так-то вы по безоружным... А ну, наезжай на нас! – заманивали они врага.

– А что, ребята, давай ударим на них! – сказал оренбуржцам бравый урядник. Он взмахнул нагайкой, scomандовал: – Айда! – и, увлекая свой отряд, помчался на пугачевцев.

Те, подпустив их очень близко, выхватили ловко спрятанные винтовки и, отскакав порядочное расстояние, вновь остановились.

– Труссы! Обманщики!.. Ишь ты, безоружными прикинулись! – сердито кричали им оренбуржцы и тоже остановились. Среди них было двое слегка раненных. – Труссы... Ваше дело зады казать! Собаки!

Вдруг с вала увидали: из гущи оренбургского отряда выехал на статном, рослом скакуне всадник и, размахивая какой-то длинной палкой, смело помчался один на пугачевцев. Те, прикинувшись испугавшимися, стали отъезжать, а всадник все еще продолжал скакать за ними и что-то кричал.

Заманив его подальше, пугачевцы, присвистнув, повернули коней и бросились ловить его. Всадник под самым их носом поскакал обратно. Когда он сравнялся с полусотней своих казаков, те тоже поскакали вместе с ним обратно, стараясь в свою очередь заманить теперь пугачевцев под выстрелы крепостных пушек. Но пугачевцы, заметив это коварство, вовремя остановились. С крепости раздался пушечный выстрел картечью, один пугачевец упал с коня, его подхватили товарищи и стали отступать.

Тогда всадник с палкой снова припустился за ними.

– Да ведь это знаете кто? – улыбаясь и оторвав правый глаз от подозрительной трубы, сказал Рычков своему соседу, архивариусу Старцеву. – Это же курский купчик Полуехтов. Он у меня только что в гостях был и прилично выпил.... Вот отпетая башка!

– Да неужели он? Позвольте-ка! – попросил архивариус трубу и долго не мог поймать взглядом снующих по полю всадников.

Золотариха, услышав, что речь идет о курском купчике, схватила за голову и завопила:

– Ой, кормильцы! Что только теперь и будет! Ведь он мне два с половиной задолжал...

Полуехтов без шапки, в поддевке, не с палкой, как представлялось издали, а с железной увесистой клюкой в руке уже мчался за отступавшими. Вот он настиг их, врезался в толпу, вот клюка его проворно заработала по головам, по спинам, один кувырнулся из седла. К нему со всех сторон кидались пугачевцы, силясь схватить за узду коня, чтоб живьем привести «батюшке» свою добычу. Но сильный, рослый конь взвился на дыбы, ударил задом и под громоносные восторженные крики с вала, сминая пугачевцев, помчал своего хозяина назад.

Золотариха, облегченно ахнув, затряслась от радости. За купчиком с гиком, с визгом, вздымая тучи снега, во весь опор неслась разгоряченная погоня. Но резвый конь, надавая ходу, всех оставил позади. Привстав на стремянах и размахивая клюкой, купчик на все поле кричал осатанелым скакунам:

– Не отставай, не отставай!.. Эй вы, лиходеи! – Вот он приостановился, подпустил их почти вплотную, обругал самым смачным словом и снова ринулся к крепости.

– Имай, так его... имай! Хватай живьем! – орал Ермилка, примеряясь ударить врага пикой.

Но, доскакав до опасного места, где может сразить крепостная картечь, хитрые пугачевцы – как в стену – враз остановились. Им люб был отчаянный детина. Молодые, разухабистые, хватившие вина, они сквозь одобрителный хохот вразноголосицу кричали:

– Эй, молодец! Айда к нам! Тебя государь доразу атаманом поставит.

Но пьяный Полуехтов, крутя железной клюкой, как нагайкой, с руганью снова бросился на них. Они, стараясь заманить его как можно дальше, опять кидались наутек.

Такая игра продолжалась недолго.

Полковник Хлудов, заместитель обер-коменданта, решил положить конец любопытному, но бессмысленному зрелищу. Чтоб как следует проучить эту надоедливую кучку пугачевцев, он приказал выпустить из запасных ворот еще две сотни казаков и, как только пугачевцы зарвутся вперед, ударить на них в лоб и с флангов. Но этот маневр сразу же заметили зоркие, стоявшие в резерве за сараями противники. И лишь прозвучал сигнал к атаке, как из-за кирпичных сараев, из глубокого лога выехало на взлобок густое скопище пугачевцев. Изготовив пики и ружья, они галопом пошли навстречу врагу. Тогда с батареей загрохотали пушки, две гранаты разорвались над головами пугачевцев, их ряды смешались, они повернули обратно, рассыпались по полю и вскоре исчезли за перелеском.

Солнце садилось. В воздухе тишина и легкий морозец. Казачьи команды по мосту через ров возвращались в крепость. Впереди на своем коне ехал, сугорбясь, притомившийся Полуехтов. Он утирал красное щекастое лицо подолом рубахи. От кудрявой простоволосой головы его и от широкой спины шел парок. Его разгоряченный конь был в мыле. Как бы сознавая важность исполненного долга, конь гордо выступал, грыз удила, мотал головой, фыркал, с презрением косился большими черными глазами на толпу.

Кто-то из толпы крикнул «ура». К Полуехтову подбежало несколько человек, чтобы пожать руку, чтоб одобрително похлопать его по плечу. Купчик кланялся и, болезненно морщась, улыбался: он начинал мерзнуть и в душе ругал себя, что не надел полушубка, – пугачевцы все-таки здорово отлупцевали его нагайками, через полушубок не так было бы больно.

Ну да и он в долгу не остался: изогнутая в драке железная крюка висела у него с левой стороны, как турецкая кривая сабля.

– Авдей! Авдей! – звонко, чтоб все слышали, голосила чернявая Золотариха, поспешая за купцом и расплескивая из ведер воду. – Слышь, Авдей! Никуда не уезжай, прямо ко мне... Выпьем!

– Поди к черту! – с презрением бросил купчик в лицо слишком бесцеремонной бабы.

Толпа злорадно над Золотарихой всхохотала. Кто-то крепко прилепнул бабу по спине, рыжеусый казак игриво ущипнул ее с коня: «Почем сукнишко?» Она взвизгнула, затем по привычке разразилась площадной бранью.

Толпа оттерла купчика от казаков, и он поехал теперь среди народа. К нему протиснулся купец Кочнев со своим приказчиком.

– Ну, и дурак же ты, Авдей! – тихо сказал он Полуехтову. – Слезай, одевайся... Мороз ведь!

Купчик послушно слез с коня, с охотой надел поданный ему приказчиком лисий тулуп и уселся с Кочневым в коворые купеческие сани. Пара пегашей неспешной рысцей тронулась по улицам.

В церквах благовестили к вечерне. Смерклось. У дома губернатора зажигали масляные фонари. Навстречу попадались конные разъезды и пешие патрули. Вот четыре огромных, по дому, воза сена, их тащат маленькие лошаденки. На каждом возу казак. Возле возов шагают рядом с казачьим урядником пожилые озлобленные мещане.

Хивинцы вели на водопой верблюдов. Два высоких парня, быстро шагая в ногу, несли на головах глазетовый гроб. Пятеро пьяных гуляк, взявшись за руки, плелись цепочкой поперек дороги, нескладно горланили:

Пра-падай моя те-лега,
Все четы... четыре колеса.

– И чего ж ты ругаешь меня, Илья Лукьянович, – не попадая зуб на зуб, проговорил купчик Полуехтов; на него вдруг напала необратимая икота и стала бить нервная дрожь.

– Да тебя не ругать, а трепу тебе надо дать хорошего! – отечески брюзжал степенный Кочнев. – И с чем ты против них, сволочей, шел? Ну, хоша ружье бы у тебя было, либо пистолет, либо сабля, а то с бабьей кочергой какой-то... Тьфу! Срам смотреть! – Кочнев схватил клюку и с омерзением вышвырнул ее на дорогу.

– Кучер, стой! – крикнул Полуехтов и, шустро соскочив с саней, подобрал со снега боевое свое оружие. – Ты этой штучкой не швыряйся, Илья Лукьянович! Я ее в Курск свезу: вот, мол, видали, братцы...

– Дурак!.. Ведь тебя наповал могли убить. Да ты, никак, соколик, пьян?

– Ни в рот ногой, – проямлил купчик, икнул и затрясся еще больше. – С такой бучи опьянеешь! – Молодому сорванцу только сейчас во всей ясности представился весь ужас его безумной отваги, и ему стало по-настоящему страшно. Он зажмурился, схватился за виски и с отчаянием выдохнул: – Ух ты!..

В крепости забил барабан, в казармах заиграли зорю, в пугачевском лагере глухо стукнула зоревая пушка.

Перед ужином купцы ходили в баню.

– Ого, – со скрытым смехом сказал Кочнев, осматривая исхлестанную спину Полуехтова. – Да тебя супостаты-то в клеточку разделали!

– С нами Бог! Будем живы – заживет! – И бесшабашный купчик попросил приказчика натереть ему спину редькой.

3

На другой день Полуехтов был приглашен в канцелярию Рейнсдорпа.

– Маладец, маладец!... Гут-гут-гут! – встретил Рейнсдорп и покровительственно потрепал по плечу. – Как твоя фамилия, дружок?

– Полуехтов, – ответил широкоплечий купчик, поеживаясь: у него все еще болела со вчерашнего спина.

– Полу-эхтов, – протянул губернатор. – Странное имечко... Полу – это я понимаю, полу – сиречь половина. А что сей сон значит – эхтов? Господа, что означает – эхтов?

Чиновники пожимали плечами.

– Петр Иваныч, – обратился губернатор к бывшему тут Рычкову. – Вы человек резонбельный и оччень чудесно знаете русского языка. Что означает – эхтов? Полуэхтов?

– Затрудняюсь сразу в соображение взять, Иван Андреич, – потирая лоб, ответил озадаченный Рычков. – Не смею утверждать, но возможно, что сие слово произошло от просто-народного восклицания: «Эх, ты!»

– Глюпая, глюпая прозвищ, чтоб не сказать более.

– Я из-за прозвища виноватым себя не считаю, – буркнул купчик и потупился, потеребивая свою небольшую бородку.

– Шо, шо?.. Но... молодой человек, – молодецкато повернулся на каблуках губернатор к робко стоявшему купчику. – Существует, молодой человек, в природе два храбростя: один

разумный – ради долга перед отечеством, ради защищения ближнего, наконец – в защиту собственная честь. А другой храбрость – глупый, сумасбродный, никому ненужный. Например, человек на спор, сиречь на пари, бросается с колокольни вниз тормашки. Это храбрость? Храбрость! А кому от такой храбрости, я вас спрашиваю, горячо или холодно?

Вполне довольный своим красноречием, губернатор вопросительно уставился на Полуехтова, а тот по простоте сердечной ждал, когда же губернатор приколет на его грудь медаль за храбрость.

– А где вы, голубчик, проходил столь искусную кавалерийскую школу? Ты сидишь в седле много крепче, чем мой казак, ты как дикий башкирец едешь, я сам вчера видел в подозрительный трубка.

– А это сызмальства я, родитель-то мой, всю жизнь конями барышничал.

– А, карашо, карашо!.. Понимайт. Ну, а для чего ты работал одна сабля? Я очень наблюдать, как ты проворно рубил по головам, и... и... немало дивился, по какому казусу ни у одна разбойник не слетела с плеч башка.

– А как была у меня в руках клюка, я только глушил супостатов да по спинам долбал, – ответил купчик. – Клюкой головы ни в жизнь не срубишь.

– О, клюкой! – воскликнул губернатор. – Господа, что значит сей род оружия – клюкой?

– Клюка, ваше высокопревосходительство, это, – согласным хором ответили чиновники, – это железная палка с загогулиной, клюкой в печке ворошат...

– А-а-а, паньмайт... О! Вот вам русская герой. Похвально, очень похвально! – с пафосом произнес губернатор. – В своей юности (он не хотел сказать «в молодости», ибо до сих пор считал себя молодым), в юности я тоже был недозволительно храбрый, но, господа, я не отважился бы с одна крюка, с одна загогулин вступить в подобная шармюнцель. О нет!... Я не очень стал бы скакать на эта, извиняйте, каторжники! О, нет! Да, молодой человек, за подобный поступка надо сажать в дальхауз, как это, как это... в дом безумства... Но, но... тем не менее, – отечески прикоснулся он к плечу купчика, – тем не менее – отдавая дань справедливости, я вам объявляю, милсдарь, своя благодарность за ваша беззаветный смелость, проявленный к нашему общему презренному врагу, за ваш патриотизм! – выкрикнул губернатор и пожал руку вконец растерявшемуся купчику. – Ну, ступай с Богом! Мой приказ о вашем поступка будет опубликован вслед за сим.

Красный, с горящими глазами, Полуехтов прикрякнул, отдал губернатору поклон, с неприязнью покосился на Рычкова, как бы говоря: «Ну, где же твоя медаль? Наобещал с три короба, лясник!» И, по-сердитому стуча каблуками, вышел. «Приказ, приказ... А черт ли мне в его приказе-то! Только по усам помазал», – злобно думал Полуехтов, сбегая по белокаменным ступеням.

Он отправился в притончик Золотарихи и с горя напился там.

Глава IV

Пальба продолжалась неумолчно. «Ату-ату!» – выкрикнул губернатор. Смертоносное ядро. Отвага Пугачева

1

К вечеру окреп мороз. В степи подымались туманы. Караульные у дворца казаки для сугрева развели костер. Запылали костры возле землянок татар и башкирцев. Туман усиливался. Огоньки в домах и лачугах Бердской слободы мерцали мутно, как сквозь слюду.

У Пугачева дотемна шло совещание. Пугачев настаивал, что, невзирая на сильный мороз, надо воспользоваться туманной ночью, подвезти к стенам пушки, расставить в укрытых местах отряды, а с утра учинить попытку ворваться в крепость и все разом кончить.

– А то мы, как клуши на яйцах, сидим да зря хлеб едим, – сказал он.

– Ах, напраслина, ваше величество, не во гнев будь вам сказано, – возразил атаман Овчинников. – Дня того не проходит, чтобы мы приступ под стены не делали. Хотя не шибким многолюдством, а нет-нет да и притопнем на Рейнсдорпа-то...

– Топал баран на волка, – криво ухмыльнулся Пугачев и велел начальнику артиллерии Чумакову подвезти ночью пушки к Маячной горе, к Бердским воротам и Егорьевской церкви, что в выжженной казачьей слободе. – Ты из пушек-то, Федотыч, почаству плюй, не жалей припасов-то, добудем... Да норови искосным огнем, дугою, чтобы в самый градский пуп бить. А на приступ я сам войска поведу.

Туман разлился белым молоком и захлестнул весь Оренбург, всю степь, весь Яик.

«Посма-а-тривай!» – то и дело кричали на валу часовые, устремляя взоры в степь, но перед их глазами – седая мгlistая пелена. И сердитый мороз хватает за нос, щиплет уши, уснащает ледяными сосульками усы и бороды.

В богатом доме Ильи Лукьяновича Кочнева еще не спят. Там идет уборка к завтрашнему дню: завтра именинница сама хозяйка. Стряпуха и приглашенный от губернатора повар ставят в кухне тесто для именинных пирогов.

Часовой Сенькин – из новобранцев – пристально смотрит в белую гущу тумана. Ему почудились вдали странные звуки: то ли кони проржали, то ли колеса скрипят по снегу, вот песик взлаял, а вот и человек голос подает.

– Эй, кто такие? – стискивая холодное, запущенное инеем ружье, кричит в туманный сумрак оробевший Сенькин. – Смотри, пульку!

Но туман по-прежнему немотно глух. Сенькин поглубже нахлобучил шапку и, чтоб согреть стынувшие ноги, крепко притоптывая сапогами, поплясывал. И снова слышит те же звуки: отдаленные человеческие голоса, скрипы, звяки. Сенькин сбежал с валу, пнул попутно ногой сидевшего у костра и клевавшего носом солдата: «Эй, дрыхня, шапку сожгешь», – и, добежав до караульной избы, подергал у калитки колокольчик. Поднялось волоковое оконце, высунулась усатая голова старого сержанта. Сенькин сказал:

– Так что, господин сержант, в степу беспокойно, кажись, вольница к валу прет.

– Ну и пускай прет на доброе здоровье, – сердито пробрюзжал сонный сержант. – Иди, где стоял. Я сейчас!

– ...Тихо, тихо, молодчики, – грозя с коня нагайкой, вполголоса прокричал Чумаков. – Это чего такое?

– Кажись, в кирпичные сараи рылом въехали, Федор Федотыч, – прозвучал из ночной мглы голос. – Скажи на милость, не видно ни хрена. Ну и туман-ан.

Чумаков осмотрелся, не спеша объехал кругом сараев, затем дал команду:

– Айда тихонько за мной!

Батарея в шесть орудий, поскрипывая колесами и полязгивая, двинулась за Чумаковым. Остальные оружия повел к Егорьевской церкви сам Пугачев.

Часа через два, перед рассветом, когда туман стал оседать, тронулась пехота. Позже выехала конница – казаки и башкирцы с татарами.

Рядом с полковником Падуровым правилась одетая под казачка счастливо возбужденная Фатьма. Она впервые попала в боевую обстановку, вся от волнения дрожит, улыбочиво косится на Падурова. Фатьма еще не научилась стрелять, за ее плечами и ружья нет, но пикой да саблех владеть она умеет, в руках силы у нее, что у доброго джигита.

– Ты от меня ни на шаг, – говорит ей Падуров. – Куда я, туда и ты.

– Милый мой Падур, – откликается вполголоса и начинает дрожать еще сильнее. Зубы ее стучат, она никак не может справиться с собою.

Светало. Отряд Падурова в пятьсот коней стоял в укрытии, в глубоком логоу за Маячной горой. Мороз крепчал. От лошадей подымался курчавый парок. Туман почти улетучился. По краям оврага стояли белые, в густом инее, березы. Они были легки и невесомы, как призраки. И Фатьме казалось, стоило ей взмахнуть руками да прикрикнуть, и – белопенные сказочные призраки развеются.

Едва заголубело небо и начал алеть восток, с пугачевских батарей густо прогудели первые выстрелы. Крепость сразу пришла в движение: ударила вестовая пушка, на всех воротах рассыпался дробью барабанный бой. Защитники высыпали на вал, немало дивясь внезапному зрелищу: сквозь клочья раздернутого в низинах тумана то здесь, то там темнели «злодейские» пушки, передвигались не торопясь всадники, скользили на лыжах стрелковые отряды.

– Ого-го, – причмокивая и потряхивая головами, переговаривались солдаты. – Он, брат, не зевает, он, брат, хитреный! Его ни мгла, ни мороз не берет. Глянь – ночью всю крепость обручем охватил.

Офицеры навели торчавшие из амбразур орудия; сотрясая стены, загрохотали раскатыстые выстрелы. Завязалась гулкая, частая перестрелка.

Пугачевские пушки сэкономили ядра.

– Давай мешок, – покрикивал Чумаков; он перебежал на кривых своих ногах от пушки к пушке. – Давай еще мешок. Ядра напоследок пригодятся.

Мешки, наполненные осколками разбитых чугунных котлов, еще по осени похищенных пугачевцами в Меновом дворе, подтаскивали молодые татары. Тяжелыми мешками нагружены были три воза. Засыпанные в дуло, запыженные паклей, а то сырыми тряпками, осколки летели с устрашающим воем и визгом.

Вот на валу двое упали. Прискакавший обер-комендант Валленштерн приказал сосредоточить огонь на ближней, против Бердских ворот, батарее противника.

Бомбы и ядра стали донимать пугачевцев. На чумаковской батарее уже было два человека убитых, шестеро раненых. По степи во весь опор мчались два всадника, снежная пыль из-под копыт взвивалась выше голов их.

– Чумаков! Федор! – закричал подскакавший с Ермилкой Пугачев. – Эй, там! – Он в старом заплатанном полушубке, одет бедно, как простой казак. – Что ж ты, чертова голова, людей-то почему зря губишь. Подавайся живчиком к Орским воротам!

– ...Ваше превосходительство, мне сдается, что это сам Пугачев, – сказал капитан Наумов Валленштерну, наблюдавшему в подзорную трубу.

– Ну, вы тоже скажете... Оборванец какой-то. А с ним, надо быть, яицкий казачишка.

– Я по коню сужу, конь лихой.

– А вот мы его картечами. Эй, канонир! Наддай-ка пороху...

Но всадники – Пугачев, а за ним горнист Ермилка, – как бы почуяв опасность, уже неслись прочь.

Перевалило за полдень. Рейнсдорп проголодался, уехал домой. Пушки гремели. Во дворец губернатора то и дело скакали вестовые с донесениями.

К собору подкатила карета купца Кочнева – за чудотворной иконой и причтом. В купеческой кухне шла стряпня, в верхних покоях накрывали столы. Помаленьку собирались гости. Купчик Полуехтов, устроившись в темном уголке столовой и отхватив себе изрядный ломтище ветчины, тайно, под шумок, не дожидаясь приглашения, пожирал ее с отменным аппетитом. В спальне, пощелкивая раскаленными щипцами, завивал именинницу цирюльник.

...Губернатор Рейнсдорп велел закладывать сани, намереваясь снова следовать к фортам. Закутанный, как купец, в меховую шубу, он уже стоял в передней против зеркала, по его животу старый камердинер повязывал бухарского тканья кушак. Вдруг в соседнем зале раздался резкий треск, грохот, стены дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка.

– Шо это? Шо это? – пошатнувшись, произнес губернатор.

– Ой, мать-владычица! – выкрикнул камердинер и, окрещивая себя, бросился в зал. – Ядро, ядро! – отчаянно закричал он оттуда.

Губернатор был уже в зале. Блуждающие глаза его широко открыты. Двенадцатифунтовое ядро, раздробив оконный переплет, ударило в печку, выворотило два изразца, отскочило и плюхнулось на пол, в стекольный дрызг.

– Ах он негодяй... Да как он смел палить в губернаторский дворец? – шумел он, наседая на вбежавшего адъютанта. – Я вас спрашиваю!

– Не могу знать, ваш-ш-ше...

– Вы все, все так: не могу да не могу... Дурацкий слоф! Ох, Боже мой, Боже мой!

Вдвинулся в бараньей куртке, в валенках толстощекий вестовой с нагайкой в лапе, гаркнул от двери:

– Обер-комендант приказал доложить: неприятель открыл пальбу от Егорьевской церкви, а равным манером от мишени⁵ и супротив Орских ворот. По загоре откосом ползут пешие, палат из ружей да сайдаков... В Казачьей слободе в погребах засели они, оттоль и палат.

– Дурак... Пошел вон!... Оседлать коня мне!

Пальба продолжалась неумолчно. Крепость израсходовала уже около пятисот ядер, а враг не унимался.

Отчаянная Золотариха уже торчит на валу с небольшой гурьбой смельчаков-мальчишек в самом опасном месте. Когда с завыванием летит через вал ядро или свистят чугунные осколки, она всякий раз взвизгивает и, под хохот мальчишек, валится на землю.

– Ха-ха... Тетка, тетка, никак у тебя голову оторвало! – весело кричат озорники.

...Пугачев с хромоногим Овчинниковым и Зарубиным-Чикой распоряжаются возле Егорьевской церкви устройством форта-заставы. Каменная церковь расположена в выжженной Казачьей слободе (в форштадте) всего саженьях в двухстах от вала. В сущности, почти все было сделано еще туманной ночью: сотни рук всю ночь напролет стаскивали сюда находившийся поблизости бутовый плитняк. И вот по обе стороны церкви высится уже каменная твердыня, укрывая орудия. Отсюда «с руки» бить по городу.

Вторая батарея Пугачева утвердилась за мишенью, что в версте от крепости. Здесь пугачевцы тоже успели соорудить каменные амбразуры и боковые к ним крылья. Отсюда ядра, гранаты били по крепости метко, а ложась навесной дугой в городе, производили среди жителей немало переполоха.

– ...Что это такое, господин Валленштерн, что за безобразий?.. – наскочил на обер-коменданта губернатор. – Глядите, глядите, они из-за мишени бьют... Почему мишень до сей поры не скрыта?!

– Я трижды докладывал вам о необходимости скрыть мишень, но не было учинено, сами же вы приказали ее оставить, – насмешливо посматривая в лицо губернатора, ответил плотный пучеглазый Валленштерн. – Вы тогда изволили с немалым сарказмом молвить, что злодеи и носу сюда не посмеют сунуть...

⁵ Высокая и широкая насыпь из дерна, служившая для обучения крепостного гарнизона артиллерийской стрельбе. – В. Ш.

– Они не сунул нос, а сунул пушка! Вы будете отвечать, да, да! Вы ворона, вы зевали! Как вы могли подпустить неприятель столь близехонько?!

– Виноват не я, а туман, а также и вы, ваше высокопревосходительство! А я-с, к вашему сведению, не ворона, а генерал-майор. Да-с.

– Шо, шо, шо? Ежели вы не ворона, то кто же... шорт возьми?!

– Ваше высокопревосходительство, вы... – сухо начал Валленштерн. – Вы распорядились обратить в пепел Казачью слободу, а церковь оставили. Военное совещание рекомендовало возвести тут фортецию и поставить батарею, но вы, именно вы-с, отклонили, и вот вместо нас форт соорудил Пугач.

Рейнсдорп перекошил тонкие губы и вполоборота бросил Валленштерну: – Вы грубиян и к тому же... трус!

Но тут вдруг вблизи раздался потрясающий грохот, губернатор взмахнул руками.

– О мой Бог!.. – и прытко сбежал с откоса вниз. – Шо, бомба?!

– Никак нет, пушку разорвало! – кричали пробежавшие мимо артиллеристы.

– Носилки! Носилки!.. – неслоь сверху. – Лекаря сюда!

Губернатор, облизывая пересохшие губы, проворно ощупывал бока, грудь, руки, даже пошевелил ногами – слава Богу, все цело! Нервно он выкрикнул:

– Ату, ату! – и, поддерживаемый адъютантом, снова полез на вал.

На батареях и за бастионами шум, крики, бой барабанов, сигнальные свистки, команда. Арестанты в тюремных бушлатах, в ножных кандалах подносят снаряды: кандалы – «звяк-звяк». Ключья порохового дыма через вал к городу.

2

Молебн начинать медлили. Нетерпеливо ожидали, когда наконец стихнет перестрелка, но вот именинница в пышных буклях и золоте шепнула мужу: «Ой, перестоятся, перестоятся пироги у нас...»

Купец Кочнев улыбнулся и сказал седовласому священнику:

– Отец протоиерей, пальбу не переждешь. Давайте богомолебствовать.

– Сущая истина, – с готовностью откликнулся батюшка.

Ему, как и прочим, хотелось поскорее перейти к пирогу. Причетник принялся раздувать кадило.

Гости – их человек двадцать – разместились кто где, а купчик Полуехтов, окинув с опаской широкие проемы окон, что выходили на соборную площадь, почел за благо забиться в темный уголок, за изразцовую печку. Сердце ноет и ноет, а причины зримой как будто и не было, разве только эти глухие раскаты по улице.

Протоиерей облачился в парчовые ризы, наскоро понюхал из порцелинной табакерки носового зелья и, прислушиваясь одним ухом к пушечному эху, обратился к присутствующим:

– Не опасайтесь, чада возлюбленные, приблизьтесь. Господь сему дому защитник суть.

Поздравители, покашливая и шаркая по полу, стали кучкой против чудотворного образа. Только Полуехтов остался за печкой. Не переменил места и сам хозяин, он стоял вблизи иконы, невдалеке от окна, охватив, по давнему своему навыку, правой рукой левую, повыше локтя.

В переднем углу, на покрытом белой скатертью угольнике поблескивала фарфоровая миска, наполненная водой; прилепленные к ее краям, горели три восковые свечи; подле – крест, Евангелие и на серебряной тарелке – кропило.

Священник взмахнул кадилом, поднял брови, возгласил:

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веко-о-ов...

– А-аминь, – не совсем дружно подхватил хор.

Начался молебен. Глаза всех воззрились на икону с мольбой и упованием, всем было тягостно переживать осаду, почти у каждого какое-либо горе или неприятность: торговля падает, подвозу товаров нет, у многих в Меновом дворе разграблены лавки, у иных близкие родственники живут в крепостях или форпостах по Яику, и Бог весть, какая судьба ожидает их; среди простонародья ходят предрезостные слухи, чернь в разбойнике Пугачеве готова признать царя, и промеж казацких всякая неподобная трепотня идет: ежели не приведет Бог будет измена, пугачевцы все купеческие семьи начисто вырежут. Пресвятая владычица, неужели же не спасешь род человеческий от проклятого самозванца, от пагубной его прелесть?!

Богородица, державшая младенца, взирала с иконы на молящихся большими внимательными глазами, и все видели в этих божественных глазах защиту и милость. И в сердце каждого разливалось ласкающей теплотой чувство надежды. Ежели Господь похочет, то такое совершит, что ахнут все...

И все действительно ахнули... Все ахнули, а хозяин, Илья Лукьяныч Кочнев, с тяжким стоном свалился на пол. Посыпались стекла, упал еще другой человек, со страху, надо быть. Шестифунтовое ядро, внезапно ворвавшись в горницу, ударило в стену и грохнуло на пол.

Все кинулись к распростертому Кочневу. А купчик Полуехтов, взбросив обе руки и топая, подобно коню, мчался через весь зал, через столовую, через коридор, вопил:

– Караул! Смертоубийство! – Продолжая кричать, он припустился вдоль улицы, пока его не схватила спешившая домой Золотариха.

– Авдейка! Очумел ты?!

Купчик враз остановился и часто-часто замигал, как бы пробуждаясь от кошмарного сновидения. Затем, выдохнув: «Фу ты, Господи, что это со мной», – он приободрился и не спеша повернул обратно.

Хозяин, приподнявшись, громко стонал. Его посадили на диван, обложили подушками. Глаза его были закрыты, подбородок вздрагивал, большая борода, разметавшаяся по груди, шевелилась. Из оторванного на правой руке вместе с обручальным кольцом пальца струилась кровь, левая рука, перебитая выше локтя, висела плетью.

– Рученька, рученька моя, – через вздох и сипоту, передергивая густыми бровями, постанывал Кочнев.

Было три часа дня. Ядра по городу били чаще и чаще. Во дворец губернатора ударило второе ядро, в здании казначейства расщепило дверь; еще ядра попали в судейскую камеру, в архив, в купол собора, во двор Рычкова, едва не убив здесь протоколиста. В городе несколько человек было ранено, были и побитые насмерть. На перекрестке, возле казарм, лежал, разметавшись, мертвый бухарец. Те, кто потрусливей, прятались в ямах, в подполье, залезали в русские печи.

3

Пугачевцы метко стреляли от Егорьевской церкви, их батареею не удавалось сбить огнем из крепости. Однако орудие они поставили на паперть, а малую пушчонку даже затащили на колокольню, она-то и доставила городу хлопот.

– Глядите, глядите... – загалдели на валу мальчишки.

Из глубокой балки, что за Маячной горой, вырвалось несколько сот пугачевской конницы. В галоп доскакав до Егорьевской церкви, всадники спешили и, не обращая внимания на грохот крепостной артиллерии, двинулись пешей толпой по подгорью и вдоль реки Яика. Их намереньем было пробежать сотню сажень ложиною, затем выбраться на высоту и оттуда через вал ворваться в город.

– Дету-ушки, не трусь! – громким голосом подбадривал Емельян Иванович свою толпу. – В городе богатство несметное! Купечество перешерстим, губернатору чалпан долой, казной завладеем! – Он все в том же бедном одеянии бежал в середине наступавших.

Казаки и башкирцы понимали: батюшка нарочно так оделся, чтоб враг не мог узнать его и убить. Они глаз не спускали со своего царя и, подражая ему в мужестве, прытко передвигались ложиною.

Рядом с Пугачевым бежал, пыхтя, огромный Пустобаев. В его голове крутятся обрывки мыслей. Он вспомнил, как пьяный губернатор целовал его в прихожей, вспомнил капитаншу Крылову с мальчуганом, сержанта Николаева, невесту сержанта – барышню Дарью Кузьминичну. Он косился на бегущего справа от него чернобородого детину и думал: «Оказия, вот те Христос... Ха, царь, голодранец... Эвон бежит как... А ежели не вор, не шатун, то поистине он внучек Петра Великого, поистине есть он государь».

– Не отставай, старик, не отставай от государя.

– Стараюсь, ваше величество! – раскатистым басом гудел Пустобаев.

– О, да ты мастак! Ты, я вижу, старого леса кочерга, – похвалил его Емельян Иванович.

Начали быстро подниматься в гору. Тут, по команде Пугачева, враз приостановились и открыли частую оружейную пальбу, а башкирцы, гудя ременными тугими тетивами, принялись пускать стрелы из сайдаков.

С валу, заметив подступивших, стали стрелять залпами из ружей. Вот один пугачевец упал, другой бросил ружье и, схватившись за ногу, похромал прочь, вот кувырнулся третий...

– Ложись! – раздалась команда Пугачева, и все повалились по откосу в снег. – Бей не торопясь. Цель вернее...

Пули защитников летели теперь над головами пугачевцев безвредно: спасал откос горы.

Отряд егерей легкой полевой команды, сбегав с валу, отважился перейти реку Яик по неокрепшему льду, чтобы, выйдя залегшим пугачевцам во фланг, открыть по ним ружейную стрельбу.

Чумаков, расположившись возле Егорьевской церкви, старался повернуть пушки на врага и никак не мог этого сделать быстро, да и ядра у него были на исходе. Только одна маленькая пушчонка, та, что была по городу с колокольной, принялась обстреливать отважных егерей. Падуров, залегший поблизости Пугачева, заметил, как от Маячной горы несется к пугачевцам всадник.

– Ваше величество! – закричал он. – От атамана Овчинникова гонец... Пикой маячит.

– Пускай себе маячит, – равнодушно ответил Пугачев и пустил из ружья меткий жребий по стрелявшему с колена егерю. Тот перекувырнулся и по-мертвому вытянул ноги.

Пробив лед и усевшись в лодки, на помощь егерям уже спешила из крепости новая ватага смельчаков. Теперь выстрелы со стороны егерей стали часты и метки. Среди пугачевцев началось замешательство. Первыми вскочили башкирцы и, крича тонкими голосами, побежали назад к церкви.

Бывшие на валу солдаты, видя это, с криком «ура» кинулись через ров, через рогатки, чтоб перерезать отступавшим путь. Тут подскочил гонец.

– Батюшка государь, втикайте! – заорал он, приметив Пугачева. – Из Бердских ворот большущий отряд прет.

– На конь! – вскочив, подал команду Пугачев, и все припустились бежать к оставленным у церкви лошадям.

Башкирцы и татары бегали плохо, они скоро отстали от казаков, их настигли солдаты с подоспевшими егерями. Было тут порублено человек тридцать, часть сробевших башкирцев бросились спасаться на Яик, но лед проломился, и они все потонули.

Солдаты в пылу битвы не заметили, как на них кинулись успевшие сесть на коней пугачевцы. Со всех сторон они кинулись на солдат, кололи их пиками, рубили. Но с валу загрохотали пушки, а вслед раздались ружейные залпы. Пугачевская конница, осыпая картечью, повернула обратно.

4

Бой продолжался.

Батальон пехоты при четырех пушках вывел из крепости сам Валленштерн. Конный отряд яицких и оренбургских казаков вел Мартемьян Бородин.

Был в исходе пятый час, солнце садилось. Губернатор Рейнсдорп – на валу, Пугачев – на Маячной горе, оба, затаив дыхание, наблюдали, как войско той и другой стороны, сближаясь, готовилось к бою.

Пугачев стоял в окружении ближних. Под ним рослый приплясывал конь. Горнист Ермилка, с трубой у бедра, глаз не спускал со строгого лица государя. Сбоку Ермилкиной лошаденки, такой же губастой, как и ее хозяин, приторочено четыре солдатских ружья со штыками, две пары новых валенок и шесть овчинных шапок. Все это добро Ермилка спроворил подобрать во время сшибки с солдатами. Валеные сапоги с красненьким горошком на задниках он непременно подарит Нениле.

– Эх, чего-то жрать хочется, ну прямо силы нет...

Он вытащил из-за пазухи крупитчатый пирог с печенкой и уже аппетитно разинул рот, как батюшка не то строго, не то милостиво покосился на него, и оробевшая рука горниста сама собой снова засунула пирог за пазуху. Ермилка только облизнулся. Тьфу ты!

– Полковник, – проговорил зычно Пугачев стоявшему рядом с ним Падурову. – Сигай попрытче в балку, пушай Овчинников шлет по две сотни неприятелю во фланги. Да не шибко чтоб ехали, а самой тихой бежью. Для заману!

Падуров поскакал.

– Ермилка, зажигай вестовой сигнал, – приказал Пугачев.

Ермилка спрыгнул с седла, пошарил взглядом, за что бы привязать лошадь, и, ничего не найдя, протянул повод Пугачеву.

– Подержи-ка маленько, батюшка, ваше величество... Я живчиком!

Пугачев, зорко присматриваясь к наступающему врагу, взял под присмотр Ермикину лошаденку. Ермилка уже успел повалить высокий шест с большим пучком просмоленной соломы наверху и добыть огня. Солома запылала. Ермилка стал размахивать огненным шестом и снова воткнул его на место. Он посмотрел в сторону Берды и радостно закричал:

– Запластало, ваше величество.

Пугачев, передав Ермилке повод, обернулся. В версте уже горел второй сигнал, а дальше занимался третий, и так – до самой Бердской слободы вспыхивали условные сигналы. Вот в слободе ударила вестовая пушка. Это означало, что сигнал принят и что скоро Максим Шигаев прибудет со свежелою силой на поле битвы.

Артиллеристы, под командой Чумакова, уже тащили свои пушки на санях и подсанках к кирпичным сараям и втаскивали на Маячную гору. Старик-великан Пустобаев, напрягая мускулы и потряхивая бородой, пер пушку вверх по откосу, как добрый конь.

Стало помаленьку смеркаться. Пугачевская конница приближалась с флангов к колонне Валленштерна. Вернувшемуся Падурову Пугачев приказал взять из балки, что за Сыртом, весь его, падуровский, казачий полк и, выждав время, ударить стремительно по врагу.

– Только одно – пушек остерегайся.

Впереди уже завязалась перестрелка.

– А ну, Чумаков, плюнь-ка во вражью силу. Без промаху да почаству!

– Припасов-то маловато у нас, – ответил Чумаков и, оглаживая свою бурую и широкую, как лопата, бороду, поскакал к пушкам.

Маячная гора загудела навстречу надвигавшемуся врагу, загудели пугачевские пушки и от кирпичных сараев.

Валленштерн остановился. Его четыре дальнобойных орудия грянули по наседавшей коннице картечью. Мартемьян Бородин кинул своих казаков в атаку. Пугачевская конница, отстреливаясь, рассыпалась по степи. Казакам Бородина, сидящим на заморенных лошаденках, за пугачевцами не угнаться, у тех кони сытые, степные.

И вдруг Бородин, Валленштерн, солдаты и сам стоявший на валу Рейнсдорп заметили, что от Бердской слободы валит народ: на санях, на телегах, бегом... Валит все гуще и гуще... Тысячи! Много тысяч.

А в это время Падуров вырвался из балки со своим полком оренбургских казаков и поскакал на Валленштерна. Солдаты с егерями встретили их оружейными залпами, пушки ударили картечью. Несколько казаков упало. Падуров скомандовал рассыпаться и преследовать бородинцев. Началась по степи скачка, работа пиками. Падуров скакал конь в конь с Фатьмой. Оба хорошо рубили саблями. Настигая врага, Падуров кричал:

– Подчиняйтесь государю! Не противьтесь! В Бреду езжайте, в Бреду!

Народ на валу смотрел на сражение с дрожью. Мальчишки, чтоб лучше видеть, вскарабкались на деревья. Скакавшие по степи лошади казались им издали собачонками, а сидевшие на них люди – тряпичными куклами, и все сражение – потешной игрой. – Глянь, глянь, упал!.. Ощо упал! Ощо! Наши это... Ей-ей, наши... У-у-у, глянь, народу-то што, народу-то што валит. Это из Берды, по сигналам, ишь пластают огнем сигналы-то...

Пугачев смотрел на свой подходящий к полю боя народ и хмурил брови. Затем он улыбнулся. Но его улыбка была не из веселых. Народ бежал, скакал, торопился на санях: мужики, татары, башкирцы с ружьями, с кольями, с пиками, с сайдаками. Потрясая дубинами, народ воинственно выл. Так воет море в зимний шквал, ревет в бурю непролазный лес.

– Го-го-го-го... Давай-давай-давай!... – вопила толпа, наплывая на врага лавиной.

К Валленштерну уже неслись гонцы от Рейнсдорпа.

– Отступать! Отступать!

А чтоб поддержать отступающих, из крепости был выслан сильный сикурс из гренадерских и мушкетерских рот при шести орудиях. Валленштерн давал бородинским казакам сигнал за сигналом к отбою и, устрасая многотысячной силы врага, стал поспешно строить свой батальон в каре.

Над степью растекалась сутемень. В морозной выси замерцали звезды. Шигаев, доставив народ из Берды, подскакал к Пугачеву:

– Чего прикажешь делать, государь? Силы у нас – во!..

– Не силы, а кулаков да кольев...

Ретивый конь под Пугачевым плясал и всхрапывал. Конь делал «свечу» и косил глазом на необъятные степи, где носятся всадники.

– Яицкие где?

– А эвот, эвот, ваше величество, – показал нагайкой Шигаев.

– Теперь самая пора по крепости вдарить, Рейнсдорп более половины войсков-то в степь выгнал. – Пугачев надвинул на брови шапку, хватил коня в бок подкованными сапогами и, гикнув, помчался в сопровождении Ермилки, Зарубина-Чики и Творогова к отряду яицких казаков.

– За мной, детушки! – поравнявшись с ними, огненным голосом закричал он.

Падуров в пылу перестрелки заметил, как яицкие казаки взяли путь к Егорьевской церкви, а впереди них – Пугачев.

– Ба! Государь! – увидев Пугачева, вне себя заорал Падуров. – Эй, оренбуржцы!.. Собирай наших. Айда за государем! – И он с горстью своих поскакал за отрядом яицких казаков.

Шигаев тем временем ударил со своей толпой на отступавшего в батальонном каре Валленштерна. Его сильный отряд, отстреливаясь от пушек и ружей, подбирая своих раненых, полным ходом спешил к распахнутым крепостным воротам. Пугачевцы сильно теснили его, но вплотную сцепиться все же опасались.

– Наддай, наддай, детушки! – поощрял Пугачев скачущих за ним и впереди него казаков. – Рви кочки, ровняй бугры, держи хвосты козырем!

– Ура, ура! – голосисто гремели казаки, взяв наперевес пики и поспешая за государем. В их сердце отвага, огонь, в широко открытых глазах нет и тени страха.

А вот и Егорьевская церковь, вот он – ров, вот – вал, а за валом в таинственном сумраке взбудораженный город.

Пугачев выхватил саблю.

– На штурм! На слом! – и с горячностью повел казаков в конном строю через глубокий ров к валу.

– Ги-ги-ги! – пронзительно орали скакавшие молодцы, держа свои пики навзлете.

И вдруг притаившийся враг полохнул на валу и на ближайших батареях огнем пушек, ружей и мушкетов. Если б не спустившийся сумрак, смельчакам пугачевцам досталось бы на орехи! Все-таки отпор был столь силен, гул многочисленных орудий и бой барабанов столь устрашительны, что казаки смешались, подстреленные их лошади взвизывались и падали, валились наземь раненые, убитые люди.

А на валу уже прогремела команда:

– В штыки!

Вновь набежавшие из резервов солдаты, хватив по стакану водки, с хриплым ревом «ура» ринулись в гущу конников.

Пугачев, Падуров, Фатьма, Зарубин-Чика, Пустобаев и многие другие рубились как богатыри. Ермилка остервенело орудовал пикой.

Пугачев во весь голос кричал солдатне:

– Изменники! Согрубители! Так-то вы встречаете государя? Ну, я ж припомню вам окаянство ваше!..

– Сам! Сам!.. Емелька это!.. Имай, хватай! – орали солдаты и, без голов, без рук, расчеченные от плеча до бедра, хлопались о землю замертво.

Вот стегнула крепостная картечь в гущу схватки в своих и чужих, а солдат из-за вала набегают все больше и больше. Вот защитники крепости выволокли на лафетах две пушки, забили картечью...

– Назад!.. – громогласно скомандовал Пугачев.

Ермилка резко затрубил отбой. Казаки отхлынули прочь и мигом рассыпались по степи, по сыртам. Защитники стали подбирать во рву убитых и раненых.

5

Крепость еще долго гудела от пушечных выстрелов. На башне отбили семь часов вечера. В Егорьевской церкви показался огонь. Там пугачевцы разложили большие костры. Возле костров неумелые дрожащие руки перевязывали раненых. Чугунные плиты церковного пола оросились кровью. Протяжные стоны, крики и тут же ядреные шутки с перцем крепких словечек.

В полночь обер-комендант Валленштерн и начальник полиции Лихачев чинили доклады Рейнсдорпу. Комендант сетовал на большой расход ядер и пороку. По подсчету было с крепости выпалено 1643 ядра, 71 заряд картечью, бомб брошено пудовых – 40, трид-

цатифунтовых – 34; одну пушку разорвало, у другой вырвало запал. Убитых семнадцать, раненых семьдесят человек.

Начальник полиции доложил, что убито по городу восемь мирян, в их числе именитый купец Кочнев.

– Как, Кочнев умирал? – удивился губернатор.

– Ему перешибло руку, ваше высокопревосходительство, сильно раздробило кость. Сначала костоправ пользовал его, потом доктор. Доктор руку отнял по самое плечо, через что онный купец час тому назад помер.

– Ах, какой несчасть, какой несчасть, – скорбно качал головой губернатор. Он Кочнева уважал за его огромное состояние, нажитое... о нет! Совсем не мошенничеством, совсем не хапужничеством каким-нибудь. – Жаль, жаль, – бормотал губернатор. И, обратясь к Валленштерну: – Да, ваше превосходительство, господин обер-комендант... Силы неприятеля велики, силы ошень грома-адны... И без скорая помощь извне нам несдобровать.

– Не так страшен черт, ваше высокопревосходительство, – ответил пучеглазый Валленштерн, губы его насмешливо дергались. – Людства у него хоть отбавляй, а регулярной силы весьма мало. Хотя, по правде-то молвить, в тактике этот Пугачев кой-что смыслит. Я чаю, сей вор в военном искусстве не хуже иных наших... полководцев.

Губернатор поморщился, приняв обиду коменданта на свой счет, рыжие букли на его выпуклом лбу задрожали. Плотный, грубоватый Валленштерн, прогремев шпорами вперед и назад, сказал как бы мельком:

– Между прочим, мне было доложено, якобы на приступе против Егорьевской церкви вел казаков сам Пугачев.

– Шо? Сам Пугашев?... Очшень хорошо, чтоб не сказать более... Пффе... – И, в пику обидчику, делая руками хватательные жесты, он бросил: – Так что ж вы его ату-ату? Опять вы прозевали, проворонили? И говорите о сем спокойно...

– Я в этот момент, как вам известно, был вне крепости, а против Пугачева на валу стояли вы, генерал... Почему же не изволили учинить это самое ату-ату? – И Валленштерн, глядя в упор на побледневшего губернатора, точно так же сделал руками хватательный жест.

Губернатор заерзал в кресле, а припудренное, в желтых веснушках, лицо его вспыхнуло и перекошилось.

– Вот вы всегда... всегда ты, господин обер-комендант, этак. Ваш тон, ваш тон... – мямлил губернатор, подыскивая наиболее сильное, но в пределах светских приличий оскорбление.

Начальник полиции полковник Лихачев счел нужным как-либо пригасить начавшуюся генеральскую перебранку. Он решился прервать губернатора.

– Простите великодушно, ваше высокопревосходительство, – щелкнул он шпорами и вкратце, но довольно ярким языком рассказал, как недавний герой купчик Полуехтов, проявил при несчастном случае с Кочневым непонятную трусость. – Он испугался гораздо больше, чем престарелый отец протопоп. Когда все, даже слабые дамы, бросились к пострадавшему Кочневу, купчик бежал по улице и таким благим матом вопил «караул», что от него шарахались верблюды...

Губернатор, слушая, округлил глаза, округлил рот, ударил себя по бокам и сипло захотал:

– О! О! Вот вам рюсска герой...

В лагере Пугачева тоже шли разговоры.

– Сказывают, в ума исступление пришел ты, батюшка, – пеняли Емельяну Иванычу его атаманы. – Так-то негоже. Поберегать себя надо, Петр Федорыч, ваше царское величество.

– Страшно дело поначалу, – отшучивался Пугачев, чокаясь с атаманами. – А ну, други, промочим трохи-трохи горло с немалого устаточку...

Ужин Ненила приготовила добрый, поедали его с волчьим аппетитом.

– Так-то оно так, – пошевеливая бородами, говорили атаманы. – Храбрости в тебе не занимать стать, знаем, а все ж таки... Ежели тебя, ваше величество, порешат, с кем мы тогда останемся?

– Я замороженный, – подмигнул атаманам Пугачев. – Меня ни штык, ни пуля не возьмет. Мой дедушка, Петр Алексеич, превечный покой его головушке, не в таких еще баталиях бился, а здрав бывал... – Пугачев перекрестился и, вздохнув, выпил вторую чару. – Ежели я, детушки, на рыск пошел, так зато таперь ведаю – мои казаки храбрости отменной. Прямо – урванцы!

– А все ж таки, ваше величество, замороженный ли ты, нет ли, а так делать не моги, чтоб лоб под пули подставлять, – не унимаясь, поднял свой голос Овчинников и так взглянул на Пугачева, что тот стемнел в лице, нахмурился.

– Вот что, атаман, – медленно проговорил он, не глядя на Овчинникова. – Ты дядьку-то из себя не корчи. Ишь, аншеф какой выискался...

– Да что ты, ваше высочество, вспрял-то на меня? – смешавшись, откликнулся Овчинников. – Я ведь тебя же оберегаячи слово молвил.

– Знаю, знаю. Ты за собой позорче доглядывай, а уж я о себе, как-никак, сам...

– Сам-то сам, батюшка, а без советчиков кабудь и тебе негоже. Уж ты шибко-то не чипурись, – ввязался в перепалку Чумаков и раскашлялся то ли от внезапного волнения, то ли от проглоченной чарки вина.

– Да ты спьяну али вздурясь, этикие продерзости мне?! – сверкнул глазами в его сторону Емельян Иванович. – Много вас, советников!..

– А что ж, нешто плохи советчики? – задирчиво перебил его Творогов и вдруг, взглянув в лицо Пугачева, как бы подавился словом: в глазах царя – ни росинки хмеля, а по челу – крутая рябь морщин, будто в непогоду на Яике.

Все затаились, посматривая на «батюшку» с опасением. Однако Пугачев, поборов себя, спокойно и раздельно молвил:

– Лучше давайте-ка, атаманы, в добре жить, обиды друг на друга памятовать не станем. Вот и распрекрасно будет.

– А народной силы, ваше величество, у нас сколь угодно! Все дело обернется – не надо лучше, – примиряюще проговорил Падуров.

– Силы да крови у нас в жилах хоть отбавляй, – сказал Пугачев, – а вот сабель вострых да пороху с пушками маловато... Ой, маловато, атаманы!

– Да ведь не все вдруг, батюшка Петр Федорыч, – дружелюбно заговорил Шигаев. – Ведь и Москва не сразу строилась... Пушки с порохом и всякое оруженье наживем.

– На Воскресенском заводе приказчик Беспалов пушки да мортиры нам сготовляет, и бомбы с ядрами такожде, – вставил свое слово Падуров, покручивая темный ус.

– Надо, чтобы скоропалитно, а мы мешкаем, – сказал Пугачев. Помолчав, он лукаво прищурил глаз и ухмыльнулся: – Одно есть упование наше: хошь мало у нас пороху, а, поди, больше, чем разуменья у Каткиных губернаторов. Видали, атаманы, как он, Рейсдорп-пишка-т, туды-сюды с войском своим заметался, коль скоро мы в бока да в зад ему саданули. Ох, дать бы мне в руки регулярство его, я б такой шох-ворох поднял, что... не токмо Оренбург, а и столицу пресветлую деда моего встряхнул бы! Верно ли, орлы мои, детушки?..

– Да уж чего там! Доразу встряхнули бы...

– А ну, коли так, трохи-трохи по последней, да и спать... – Емельян Иванович чокнулся со всеми, перекрестился, выпил и, прощаясь с атаманами, проговорил: – Только упреждаю: дело наше боевое, чтоб у меня чутко спать, на локотке!

Глава V

Чудо-юдо. Кар ловит Пугачева, граф Чернышев ловит Кара. «К умному разбойничку». Маячная гора

1

Иван Сидорыч Барышников, как только приобрел себе имение и вернулся в столицу, возжелал устроить пир, да не какой-либо кучке знакомцев, а всему работающему Петербургу.

Предвидя разлуку с обогатившей его столицей, Иван Сидорыч питал чувство некоей благодарности ко всему простому народу, который своими грошами, потом и кровью помог ему стать независимым и знатным. Завсегдатаи его трактиров и торговых лавок, строительные рабочие из приезжих крестьян и местных жителей, наконец, многие тысячи любителей выпить – когда-то он держал на откупе кабаки Петербурга и губернии – весь этот народ долженствовал быть участником сказочного пиршества.

Недолюбливая столбовое дворянство, считая знатных помещиков либо дармоедами, либо прямыми врагами всего промышленного сословия, Иван Сидорыч нарочно не пригласил на пиршество кого-либо из заносчивых господ.

С разрешения генерал-полицмейстера Д. В. Волкова (бывшего тайного советника Петра III) Барышников облюбовал для своего всенародного пира Летний сад. Торжество было назначено на 24 ноября, день тезоименитства Екатерины.

Засыпанный снегом сад был расчищен от сугробов. Отпечатанные в академической типографии пригласительные объявления запестрели по всему городу. Начало пиршества назначалось на 2 часа дня. Народ спозаранок повалил толпами к Летнему саду. Сбежавшиеся люди приникли к железной решетке и с жадностью глазели – каковы заготовлены в саду припасы. В полдень с верхов Петропавловской крепости загрохотал по случаю царского дня салют в сто один выстрел.

– Мишка, Мишка, глянь: что это за диво такое? – указывал рукой в середку сада седобородый, в лаптях, крестьянин.

– А пес его ведает... Вот ворвемся, так все высмотрим, – ответил курносый кудряш с широкими ноздрями.

– Эх, деревня! – ввязался в разговор пожилой дворовый в потертой ливрее с позументами и в заячьей шапке. – Это зовется кит – в объявлении сказано о нем.

– О-о-о, – изумился кудрявый и потянул воздух широкими ноздрями. – Чудо-юдо, рыба-кит... Ох ты, мать распречестная... Вот это ки-и-ит...

Действительно, среди просторной полянки на невысоком помосте разлегся искусно смастеренный огромный кит с загнутым хвостом и раскрытой пастью. Он внутри набит вяленой рыбой, колбасами, булками, кусками ветчины, а сверху покрыт цветными скатертями и задрапирован серебряной парчой. Справа от кита – овальный стол окружностью в двести пятьдесят аршин. Он завален всякими яствами, сложенными в виде пирамид: ломти хлеба с икрой, осетриной, вялеными карпами. Большие блюда с рыбой украшены раками, луковичами, пикулями. На других полянках такие же, непомерной величины, столы с мясной снедью – говядиной, бараниной, телятиной.

Во многих местах сада бочки с водкой, пивом, квасом. Виночерпии, все как на подбор рослые бородатые красавцы в полушубках, высоких боярских шапках и белых фартуках, оглаживали бороды, перебрасывались шутками, ожидая возле бочек дорогих гостей. Были устроены качели, ледяные горы, карусели.

К часу дня на тройке вороных, с бубенцами, прибыл сам Сидорыч Барышников в пышной, с бобровым воротником, шубе. Рядом с ним в санях – его сын Иван, будущий офицер, в форме кадетского шляхетского корпуса. Он высок, курнос, глаза с прищуром. На облучке, рядом с кучером, в медвежьей шубе, Митрич, бородачи во всю грудь.

Народ заорал: «Ура, ура!» Хор трубачей мушкетерского полка заиграл «встречу». Иван Сидорыч, встав в санях, низко кланялся народу. Полетели вверх шапки, вся площадь дрожала от рева толпы. Иван Сидорыч принимал восторги людей как должное, полагая в душе, что народная масса чтит в его лице великого удачника, поднявшегося из низов на вершину жизни. Иван Сидорыч и не подозревал, что орал народ лишь потому, что сильно приотомился ожиданием, изрядно проголодался и промерз, а в подкатившей тройке с бубенцами он угадывал сигнал к началу пиршества.

Растроганный приемом, Барышников прослезился даже. Он, кряхтя, вылез вместе с сыном из саней, наряд полицейских, в полсотни человек, отдал ему честь, помощник пристава крепко пожал богачу руку и, заискивающе заглядывая ему в глаза, поздравлял с праздником.

В народе зашумели:

– Кто такие? Эй, кто там приехал-то?

– А домовый его ведаёт, какой-то главный.

Народ рьяно стал нажимать к центральным воротам, нетерпеливо ждал впуска в сад. На решетку по ту и другую сторону ворот вскочили двое, одетые в красные жупаны, затрубили в медные трубы и, отчеканивая слова, зычно закричали:

– Миряне! Знатнейший купец, его степенство Иван Сидорыч Барышников, хозяин торжества, приказать изволил: по первой пущенной ракете все гости, не толпясь, чинно, входят через главные ворота в сад, идут к виночерпиям, выпивают по стакашку водки, либо пива, либо квасу...

– Ма-а-ло! Водки-то по два либо по три стакашка надобно... – по-озорному отзывались из толпы.

– Выпив, гости ожидают второй ракеты, – продолжали выкрикивать красные жупаны, – после коей гости идут к «чуду-юду – рыбе-кит», где и принимаются за яства!

И вот над Летним садом, грохнув, взлетела ракета. Распахнулись главные ворота. Народ совсем не чинно, как было предуказано, а с дикими воплями хлынул в пролет, как бурный поток в прорву. Полиция и распорядители с белыми повязками мигом были опрокинуты. Любители выпить мчались, как степные кони, к бочкам с пойлом – кто по расчищенным дорожкам, а кто целиною, сугробами. Виночерпии принялись за дело. У ворот, забитых прущим народом, и вдоль всей длинной ограды – дикая костомятка. Люди, мешая одному другому, стаскивали друг друга за бороды, за ноги, вмах перелезали через ограду. Необычный гам, визг, крики «караул, задавили!» сотрясали воздух.

Виночерпии до хрипоты орали получившим свою порцию:

– Отходи! Жди второй ракеты.

Но нетерпеливые уже мчались к сытным столам с закуской. А глядя на них, не дожидаясь второй ракеты, хлынула и вся толпища.

Возле кита тотчас началась невообразимая свалка. Чудо-юдо – рыба-кит был мгновенно растерзан в клочья. Люди принялись чавкать, давиться вкусными кусками, рассовывать пищу по карманам.

Оба Барышникова, вместе с Митричем, стояли в разукрашенной флагами и хвоей беседке, среди сада. Иван Сидорыч ждал от толпы поклонения и скорой благодарности. Но, увидев вместо порядка и благочиния одно лишь буйство, он померк, потемнел, обидчиво закусил губы. Он уже готов был мчаться к генерал-полицмейстеру за усмирительным отря-

дом, чтобы штыками и нагайками привести в порядок неблагодарный люд. По выражению глаз своего папаша сын сразу понял его мысли и негромко сказал:

– Охота тебе была подобную глупость затевать. И убыточно, и гадко.

И не успел он закончить, как к беседке начала подваливать пьяная толпа. Впереди шагал землекоп из артели Лукича, рыжебородый Митька. Он недавно кончил тюремную высылку за «своевольщину» в Царском Селе, на нем, невзирая на крепкий мороз, поверх рубахи – лишь рваная бабья кацавейка, голова простоволосая. Засучив рукава и потрясая кулаками, он хрипло орал:

– Бей всех подрядчиков! Дави богачей! Из-за них, гадов, я тверезый зарок нарушил, в острог попал.

– Царь-то батюшка, слышно, по Яику гуляет с воинством своим... Могила богачам! – подхватили другие.

– И поделом! Богачи жилы из нас тянут, а тут, ишь ты, винишком улецают, рыбу-кит выставили...

– Бей не робей, скрозь, кто попадется!

– Круши рыбу-кит! Имай ее за зебры!

И толпа нахраписто полезла по ступенькам. Барышниковы заскочили внутрь беседки, захлопнули за собой дверь. А верзила Митрич, распахнув медвежью шубу и отведя в сторону свою бородищу, чтоб видны были на груди кресты и медали, завопил:

– Стой, оглашенные! Что вы...

Кто-то в толпе выкрикнул:

– Робята! Это главный енерал...

– Бей генералов! – взголосил рыжебородый Митька. Он прыгнул к Митричу и схватил его за бороду. Но широкоплечий Митрич, по-медвежьи рявкнув, сгреб Митьку за портки и кацавейку и швырнул в толпу. Толпа попятилась, зло захохотала.

Пересвистываясь, бежали к беседке полицейские и служащие Барышникова. Первым поймали Митьку.

– Лошадей! К черту праздник! – вращая осовелыми глазами, кричал Барышников. – Выпустить вино из бочек... В снег, в снег!

– Не можно, Иван Сидорыч, – задышливо ответил упарившийся от бега управляющий. – Чернь всем вином завладела.

Озлобленные отец и сын, в сопровождении служащих и Митрича, быстро шли к выходу. Ну и распустила ж матушка царица столичный народишко! Они не замечали ни крутящихся каруселей, окруженных ротозеями, ни ледяных гор с катающимися в долбленых челноках, ни веселых качелей. Звуки гармошек, балалаек и военного оркестра, нескладная запьянцовская песня, отчаянные вопли пришедших в буйство запивох не касались сознания Барышниковых. Они лишь видели шагавших справа и слева от себя возбужденных, ненавидящих их людей. Барышниковы косились на них со страхом, отвращением и злобой.

Привлеченные криками, сбегались со всего сада пьяные и трезвые. Иные из толпы знавали Ивана Сидорыча лично. Видя перед собою богача-хозяина, они считали нужным, хоть в пьяном положении, хоть раз в жизни, выместить на нем давно накопившуюся злобу.

– И не стыдно вам, рожам-то вашим, – отругивался Митрич, с опаской косясь на пьяниц. – Эх вы, народы... Благодарить должны!

– Благодарим, благодарим, – отвечали трезвые. – Спасибо за угощеньице, Иван Сидорыч.

– О-о-о, да это вон кто... Ванька Барышников, трактирщик! – выкрикнул подбежавший большеусый кузнец с бельмом.

– Ха-ха! Хватил нищего по затылку, – с ядовитым хохотом отвечали из толпы. – Он давно трактиры-то бросил, он на винных откупах разжился да на подрядах.

– Он, холера, пять бочонков апраксинского золота украл на войне! – подхватил кузнец. – Он вор казенный, вон он кто. Дай ему по шее!

– Врешь, мазурик! – дико захрипел на ходу Барышников и приостановился, грозя кузнецу вскинутым пальцем. – Быть тебе на каторге!

– Ха-ха! Бей его! – крикнул кузнец, с ловкостью скакнул к трясущемуся от ярости Барышникову и крепко ударил его в ухо. Бобровая шапка покатила в снег, а сам Барышников, покачнувшись, упал на руки Митрича.

Кузнеца схватили, но он вырвался, приказчики вступили в бой с гуляками, а Барышниковы, под свист и улюлюканье толпы, ходко побежали к тройке. Митрич вскарабкался на облучок, Барышниковы пали в сани. И только лишь кучер расправил вожжи, как бельмастый буян кузнец кинулся к саням и сгреб богатого откупщика за шиворот. Но тройка рванула, и кузнец, цепко схваченный за руки Барышниковым-сыном, очутился на дне саней.

– Погоняй!

Валил хлопьями снег, с Невы порывами набегал ветер, кругом было мутно, сумрачно. Залились бубенцы, тройка бежала резво, кучер пронзительно кричал фальцетом:

– Па-а-а-ди! Па-а-ди-и!

Барышниковы, подмяв под себя кузнеца, сидели на нем в просторных санях и с яростью били его в лицо, в голову кулаками и ногами. Затем, окровавленного, потерявшего сознание, выбросили его из саней. Тройка ходом укатила дальше.

Было четыре часа. Спускались сумерки. Публика из Летнего сада стала разбредаться, уводя под руки покалеченных и пьяных. Однако веселье было там еще в полном разгаре. Играли три оркестра, на расчищенных полянках шел веселый пляс, пьяные, обнявшись, шатались взад-вперед, горланили песни.

С моря налетел на столицу резкий, шквалистый ветер. Вода в Неве, вздымаясь с седыми гребнями, стала прибывать. Ветер знобил прохожих, валил с ног пьяных, взвизгивал буруны снега, раскачивал оголенные деревья, сердито трепал огромные полотнища трехцветных флагов, вывешенных по всему городу по случаю тезоименитства императрицы. Дворники и будочники никак не могли зажечь расставленные вдоль домов плошки с салом, только вдоль линии дворцов на Неве ярко пылали, раздуваемые ветром, смоляные бочки. В полночь ветер стих, ему на смену крепкий пал мороз.

Летний сад наконец опустел. Но по всему его простору, на аллеях и умятых сугробах валялись тела упившихся, уснувших или покалеченных в драке. Подбирать их было некому: перепившиеся полицейские либо разбрелись по квартирам, либо валялись тут же на снегу.

Наутро было обнаружено в Летнем саду множество окоченелых трупов. Замерз и рыжебородый землекоп Митька. А избитый до полусмерти кузнец был на дороге раздавлен проезжавшим в темноте пожарным обозом. Так знатный купец Барышников, при попустительстве столичного начальства, отпотчевал работающий народ.

Екатерина, проведав о всем этом, возмутилась. 27 ноября она писала генерал-полицимейстеру:

«Дмитрий Васильич! Мне сказывают, что по случаю третьеводнишнего празднования у некоего подрядчика считается померших от пьянства до трехсот семидесяти человек. И хотя я думаю, что число сие увеличено, желаю, однако ж, чтобы вы наиточнейшим образом о том изведали и мне, в самой подлинности, донести не умедлили».

Барышникову грозила неприятность. Он сильно перетрусил. Но все обошлось благополучно. Он где надо смазал, генерал-полицимейстеру Волкову подарил великолепные выездные сани с волчьей полстью, поклонился графу Алексею Орлову и вельможному И. П. Благину, прося у них совета и заступления.

– Пожертвуй несколько тысконок в пользу Московского сировоспитательного дома, – сказал ему Орлов. – Матушка это любит.

Барышников пожертвовал десять тысяч. И не успели у него зажить разбитые о голову кузнеца маклашки пальцев, как он получил медаль и высочайшую благодарность за щедрый дар.

Барышников ликовал, по крайней мере – на людях, а вот Митрич после безумного народного пиршества восскорбел душою. Митрич, или – полностью – Прохор Дмитриевич Шеремин, был когда-то крепостным графа Шереметева. При императрице Елизавете он состоял нижним чином в гвардии. На одной из царских охот, где он был вместе с другими солдатами в качестве егеря, он своим ростом, бравой выправкой и могучим голосом обратил на себя внимание фаворита императрицы, графа Алексея Разумовского, по ходатайству которого был зачислен в штат придворных егерей, затем приставлен дядькой к явившемуся из Голштинии мальчику – великому князю Петру Федоровичу, а по воцарении великого князя произведен в его лакеи.

В молодые и зрелые годы жизнь Митрича шла как по маслу: беспечное, сытое прозябанье при дворе. Время крутилось веселым колесом, и некогда было раздумываться, вникать в смысл мимотекущей жизни. Но когда приспела старость, когда с унижительным позором был он изгнан из дворца якобы за пьянство и поселился в маленьком домишке на Васильевском острове, а затем, овдовев, перешел в услужение Барышникову, он начал относиться к жизни по-серьезному, стал вглядываться в человеческие судьбы, стал вдумчиво проверять свой житейский путь.

Его многолетнее существование при дворе, в то время казавшееся ему столь высоким и блистательным, теперь представилось старому Митричу унижительным. Он был при дворе вещью, евнухом, бессловесным существом. Правда, от государя с государыней он видел «одно хорошее», зато всякая шушера придворная частенько кормила его то оскорбительным словом, то высидкой, то штрафом. А за что? Шибко винцом зашибать он стал... Да и как не зашибать, когда сам государь, царство ему небесное, почитай, всякий день пьяненький был.

Неприступная для простого человека твердыня дворца представлялась ему храмом Божиим, где почиет истинная благодать и святость. Когда же он попал туда да и присмотрелся – дворец оказался не храмом, а без малого веселым домом с гулящими «мамзельками».

Да, да... В прошлой своей жизни он ничего не мог припомнить хорошего, ничего полезного для души и для людей, такого, что хотелось бы воскресить в памяти с внутренним удовлетворением. Ну, а в настоящем? Теперь Митричу тихо и сладко.

– Состарился я... Старуха умерла. Один... Жалко мне всех, и себя, и людей жалко, – бормочет он сам с собой бессонной ночью в своей каморке у Барышникова, и большая крепкая рука его тянется к графину с водкой. – Деньги у него шальные, у хозяина-то! Что хочет, то и делает. Эвот сколько людей опоил, проклятый, сколько семей осиротинил... А ему и горя мало!

Как-то, выпивши, он сказал Барышникову:

– Вот ты, Иван Сидорыч, награду получил, медаль. А подумал ли о людях, кои по твоей милости в Летнем саду окочурились, помог ли ты родственникам их, пожалел ли?

– Всех жалеть, старик, жалелки не хватит. Эти обожрались от своей дури, и пес с ними – новые родятся.

– Твердокаменный ты человек, Иван Сидорыч. Жалости в тебе нет к простому люду. А ведь ты и сам из простолюдов. Хоть и миллионщик, а все ж таки человек роду простецкого...

– Молчи! Проспись поди...

– Ладно. Ежели совесть в тебе молчит, ну-к и я помалкивать буду. Ладно. Только, мотри, гроза-то идет, гроза-то в вашего брата-богача стрелы мечет. Чернь-то ждет не дождется сво-

его часа... Вот ты, Иван Сидорыч, помещик ныне стал. Мотри, Пугач-то и до тебя доберется, и к тебе в Смоленскую-то придет... Качаться тебе на березе...

– Тьфу тебе, тьфу, дурной!

– А ты не плюй, – подымал голос Митрич. – Плюнешь встречь ветру, плевков-то обратно в рыло прилетит.

– Пошел вон, пьяный мерин!

2

Утро в Петербурге было тусклое, туманное. По широким площадям, по прямым проспектам и улицам полз белый поземок. Седыми выюнками он облизывал ноги прохожих, фонтаном взмывал возле фонарных столбов. Вдоль Невской набережной высились стройные громады Зимнего и Мраморного дворцов. За Невой серым призраком маячила крепость. Туман то сгущался – и тогда все тонуло в его мутной пелене, то, под взмахами северного ветра, редел, открывая оживленную перспективу улиц, заречные дали.

Всюду сновал деловой народ, проносились сани с седоками, плелись хмурые водовозные клячи – на дровнях стояли прикрытые дерюгой обледенелые ушаты с невской водой. Благородная собачонка в теплой кофточке играла с белым поземком: лаяла, прыгала, хватала ртом оживший снег.

– Кадо, Кадо! – кричал бравый лакей с бакенбардами и вскидывал послушного песика на руки.

Четыре казака в опрятных темно-синих чекменях с голубыми воротниками, в сдвинутых на ухо трухменках поскрипывали начищенными до блеска сапогами, правились к дому графа Алексея Орлова. Казаки жили в Петербурге больше месяца. Опасаясь, что за ними следят, они принуждены были вести жизнь замкнутую, по людным местам не шлялись. Поэтому не знали и не могли знать они о том, что творится на их родном Яике. Один из казаков – уже известный нам есаул Афанасий Перфильев. После убийства генерала Траубенберга и занятия Яицкого городка генерал-майором Фрейманом есаул со многими замешанными в бунте казаками бежал, некоторое время скрывался, а затем во главе делегации был послан опальным казачеством в Петербург ходатайствовать перед императрицей о смягчении приговора осужденным.

Заготовленное на имя императрицы прошение делегаты передали Алексею Орлову, на покровительство которого полагались. Орлов сказал им:

– Ждите резолюции. Просьбу вашу не замедлю вручить государыне.

Через две недели они были призваны к графу. И вот, прошагав по туманным площадям и проспектам столицы, они входят в графский дом.

– Слушайте, друзья мои, – ласково встретив их, начал граф. – Только имейте в виду – вверяю вам государственную тайну. За разглашение будете схвачены и на веки вечные посажены в Петропавловскую крепость. Поняли? С тебя, есаул Перфильев, первый взыск. Ну так вот. Правительству стало ведомо, что на Яике несчастье учинилось: некий вор и мошенник, беглый донской казак Пугачев, присвоил себе имя покойного императора Петра Третьего, собрал себе шайку из ваших же яицких ухорезов, укрывающихся от кары за убийство Траубенберга, и вот оный разбойник пошел гулять по Яику и даже подступил, говорят, к Оренбургу. Поняли, ребята?

– Поняли, ваше сиятельство! – Перфильев стиснул зубы и, в приливе искреннего возмущения, схватился за саблю. – Ах он подлец!

– Ну вот, – с удовлетворением проговорил Орлов. Ему понравился искренний порыв есаула. – Так съездите-ка вы, молодцы, к себе на родину да постарайтесь обманутых казаков уговорить, пускай-ка они от этого ложного царя отстанут да схватят его. Вот, постарай-

тес-ка! Тогда по возвращении вашем в Петербург войсковое дело немедля будет решено в вашу пользу. А ты, Перфильев, сразу чин майора получишь.

– Рады постараться и послужить всемилостивой монархине! – вновь воскликнул Перфильев, и шадриное, в крупных оспинах, лицо его выразило полную преданность правительству. – Только предоставьте нам, ваше сиятельство, к вершению оного великого дела подходящие способы. А уж мы...

– Вы, молодцы, у графа Чернышева были? Ах, нет? Ну и само хорошо, отлично! И не заходите, не заходите к нему. Он вам все время кашу портит. Кабы не он да не Мартемьян Бородин ваш, не быть бы и заварухе в яйцком войске, не гулять бы и Пугачеву там...

В конце ноября Перфильев и Герасимов, снабженные от Тайной канцелярии документами и прогонными деньгами, выехали через Москву в Казань под видом «черкесов» – так значилось в их паспортах за подписью князя Вяземского. А два других казака были оставлены в Петербурге в качестве заложников. Всем этим ведала Тайная канцелярия, Военная же коллегия вместе с графом Чернышевым была от этой затеи устранена.

Таким образом, в сиятельную голову Алексея Орлова влетела та же мысль, что и губернатору Рейнсдорпу: один послал ловить Пугачева каторжника Хлопушу, другой – есаула Перфильева.

И не успел еще Перфильев доехать до Казани, как в Военную коллегию пришли реляции и письма Кара, повергшие графа Чернышева в злобную растерянность, а императрицу – в гнев.

Однако выдавший виды полководец Чернышев не решился обвинять Кара в военных неудачах; его взорвало отсутствие у того должной дисциплины и, главное, полного сознания ответственности перед правительством. И вот, после доклада Екатерине, Чернышев тотчас написал Кару ответ:

«Государь мой Василий Алексеевич!

...изъявленное в постскрипте помянутого письма намерение ваше, чтоб, оставя порученную вам команду, ехать сюда, учинили вы неосмотрительно, и буде оное исполните, то поступите точно противу военных регул. Рекомендую вам отнюдь команды своей не оставлять и сюда не отлучаться. А будете в пути сюда находиться, то, где бы вы сие письмо ни получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Копия этого письма была направлена и главнокомандующему в Москве, князю Волконскому. «На случай же, – писал Чернышев князю, – если курьер как-нибудь с Каром разъехался, прилагаю при сем с оного моего письма дубликат и покорнейше ваше сиятельство прошу, как скоро Кар в Москву приедет, оное ему вручить, приказав наблюсти на почтовом дворе и где следует, чтоб Кар, не бывши у вашего сиятельства, Москвы проехать не мог».

Такого же смысла бумага была отослана и казанскому губернатору. Курьерам офицерского чина была дана особая инструкция.

Итак, шла ловля не только злодея Емельки Пугачева, но и генерала, против него сражавшегося и надумавшего бежать с поля военных действий. А что Кар действительно бежал, в этом не было ни малейшего сомнения. Он самолично передал командование отрядом генерал-майору Фрейману, сел в уютный возок и двинулся в Казань.

Среди солдат возникли по сему поводу толки:

– Ага, барабаны-палки. Учухали, братцы, пошто генерал-то удрал?

– Неужто нет!.. Он больше и глаз сюда не покажет.

– Знать, братцы, уверовал он... в царя-то. Барабаны-палки...

– Вестимо, уверовал... Не хочет супротив взаврадашного-то самодержца воевать... Пушай, мол, солдатня отдувается, с солдатни и спрос таковский.

– Во, во! Да и нам, ребятушки, это дело обмозговать надобно... Чать, не бараны!

Перфильев с Герасимовым тоже правились в Казань, к губернатору Бранту; деньжат у них было довольно, в пути питались они хорошо и выпивали почасту. Зимняя дорога наезжена, обставлена верстовыми полосатыми столбами, а на взлобках, где гуляют ветродуи, утыкана частыми вешками. Темные, неуютные зимою деревеньки с покривившимися, крытыми соломой избами, села с деревянными храмами, помещичьи усадьбы в садах да в рощах. Встречались порой и зажиточные, хорошо обстроенные села; церковь, два кабака, базар с торговыми балаганами, крепкие хозяйственные избы, даже церковная школа для ребят.

По большой торговой дороге двигались взад-вперед скрипучие обозы с замороженной рыбой, мясом, свининой и птицей, с мешками муки, с возами сена. Или встречался собственный обоз какого-нибудь богатого купца-волжанина на пятидесяти сытых и рослых конях в доброй, кожаной, с медными бляхами сбруе. Под расписной дугой у каждого купеческого коня валдайский колокольчик, на шее шаркунцы с бубенцами, грива расчесана, хвосты подкручены. На объемистых возах, набитых в Москве красным товаром да сукном, укрытых от метелей кожами, перевитых пеньковыми веревками, сидят краснощекие, одетые в теплые тулупы купеческие извозчики; у каждого в ногах по самопалу, топору да по железному кистеню: в пути, случается, можно угодить и на разбойничков.

– Чей обоз-то? – перегоняя вереницу подвод, кричит со своих санок Перфильев.

– Кобелевых, именитых казанских купцов, Афанасья да Ивана, братья они.

– В Казань правитесь?

– Пошто в Казань? В Нижний! – И рыжебородый богатырь скатывается с воза, чтоб в ходьбе маленько поразмяться. – В Нижнем на склады сгрузим до весны, а весной-летом товары водой пойдут – кои до Макарья на ярмарку, а кои в Казань.

– А из Нижнего куда же вы?

– А мы опять в Москву. С Нижнего-то заберем железо демидовское, да медь с собственных кобелевских заводов, да хлеба хозяйского, да юфти. На войну все... Ведь война-то который год тянется, а у войны нуждишек немало. Так вот до весны и будем ездить меж Волгой – Москвой. А ваш путь куда принадлежит? – неожиданно спросил извозчик. – Ах, в Казань? Так-так. Чегой-то, бают, не вовсе спокойно там, будто царь-батюшка самоновейший объявился народу.

– Не царь, а самозванец, – возразил Перфильев и пустил свою лошадь шагом. – Да и не под Казанью, а под Оренбургом. А откудова слышал?

– Да пробалтываются! – шагая рядом с санками Перфильева, ответил рыжебородый. Он достал из-за пазухи житную лепешку, перекрестился и стал кусать белыми, как снег, зубами. – Ведь оттедова, из-под Казани-то, кой-какие из помещиков в Москву подаваться стали, ну-к слухи-то и катятся от их ямщиков да дворни. Царь-объявленец, мол, дворян-то не шибко милует, больше, мол, приклоняется он до простого народу, до черни, значит.

Перфильев переглянулся с Герасимовым, и оба пустили свои сани на полный ход.

Большая торговая дорога была оживленна и день и ночь. Много тысяч подвод ежедневно попадалось нашим путникам. И так по всей Руси, от черноморских степей до приполярной, почитай, тундры, от Балтийского моря до Уральских гор и дальше – по бескрайним просторам Сибири, особенно в зимнее время, кишели дороги обозами, проезжим и проходим людям.

Встречались нашим путникам и необычные, шумные подводы на плохих лошаденках, в веревочной да лыковой сбруе. Это какая-нибудь волость спешно доставляла в Москву очередную партию новобранцев. В широких санях-розвальнях, как сельди в бочках, сидели

пьяные парни: одни орали песни, другие – упившиеся – лежали поперек саней мертвыми телами, третьи били себя кулаками в грудь и, скоротившись, горько, неутешно плакали: «В Туретчину, братцы, к бусурманам!..»

Немало по дорогам моталось и пешеходов. То шли артелями плотники, то пильщики, то пимокаты. Вот крестьянин ведет тощую коровенку на базар, ее подгоняет хворостиной парнишка, укутанный мамкиной шалью; вот божьи старушки семенят неведомо куда и стрекочут между собою, как сороки, а вот два высоких крепких старика с посохами и заплечными берестяными кошельками. Они внушительного вида, лица их свежи, взоры светлы, белые волосы волнисты. Один, выставив на мороз лысину, идет без шапки, он всю зиму – дома и в дороге – спит на сеновалах. Им в пути подают, а на ночлегах сытно кормят. Оба второй год шагают по обещанию из-под Иркутска в Киев, на поклонение киево-печерским чудотворцам, а ежели война с неверными «пресечется», то старцы-трудники, пожалуй, примут путь на Иерусалим-град и ко святой горе Афонской.

– А как же дома-то у вас? – полюбопытствовал Герасимов.

– А дома у нас, в Сибири-матушке, все исправно. Мы с Лукой соседи будем, шабры. У него семейство в двадцать душ, у меня того более. У нас у двоих-то до двухсот коровушек да по косяку лошадушек.

– Ха! – удивленно крутнул головой Перфильев. – Видно, помещиков-то нету у вас, в Сибири-то?

– Бог миловал... Этого сраму, позорища, чтоб человек человека, аки собаку, продавал да по своему хотенью истязал даже до смерти, у нас, в Сибири, не водится. Ваши мужики-то к нам бегут. Бе-егут, бегут!

– А сколько же вам лет будет, старички? – спросил Герасимов. – По шестидесяти есть?

– Мне восемьдесят девять, – сказал дед без шапки, – а Лука-т на восемь годков старей меня, ему уж к веку подваливает, к ста годкам. Вон он, дуй его горою, крепыш какой. Репа репой. Ну, прощайте-кося... – Светлые старцы легкой ступью пошагали дальше.

3

На ночевках, где-нибудь на постоялом дворе или в ямской избе, путники наши все чаще, все охотнее возвращались к одному и тому же заветному разговору. В дороге, при ямщиках, скрытые речи вести опасно, а вот с глазу на глаз, потягивая в теплой хате винцо или горячий сбитень с пахучим свежим караваем вприкуску, раскинуть умом-разумом весьма не вредно.

– Да, брат, да, Перфильев, – начинал усатый казак Герасимов и ужимал глаза вприщур, – такие-то дела-делишки. Ведь я сказывал тебе, что видел покойного государя вживе не единожды, и буде сей, называющийся, и впрямь государь, узнаю его зараз.

– Каким, однако, побытом могло стать, чтобы простой человек взял да и объявил себя государем? – озадаченно вопрошал Перфильев. – Кажись, и стать сему не можно. А на мой смысл, называемый графом Орловым Емелька Пугачев и впрямь есть он – Петр Третий.

– Да ведь ходила молва, будто манифесты о смерти государя ложны, будто выкраден он из-под ареста...

– А ежели так, – озираясь, нашептывал Перфильев, – тогда воистину под Оренбургом это он и есть. Ведь должен же он, державец наш, где ни то объявиться...

– Знаешь что, Перфильев, – задышав в шадриное лицо товарища, таинственно говорил усатый Герасимов, – ежели я, повстречавшись, узнаю государя, тогда хоть убей меня, а злого умысла супротив него допускать не стану.

– А как иначе? Как можно руку поднять на государей! – восклицал Перфильев. – Их головы помазанные. Только вот ты што скажи, чью сторону держать нам: государя алибо государыни?

– Нам в их дела вступать нечего, они промеж собой как хотят, так пусть и делят. Наше дело маленькое... Наша хата с краю... как говорится.

– Что верно, то верно, – согласился Перфильев.

На том они и порешили. А как прибыли в Нижний Новгород, пошли в кремлевский Преображенский собор и в нем, над могилою приснопамятного сына России Кузьмы Минина, поклялись служить государю верой-правдой. То был зарок совести, отягченный раскаянием за данное графу Орлову слово – черное слово супротив государя.

Под Макарьевым произошла у них неожиданная встреча.

– Стой! Перфильев! Герасимов! Да никак это вы? Стой, ежова голова! – И к остановившимся саням подбежал бородатый косоглазый яицкий казак Федот Кожин. Простоватое лицо его выражало необычайное удивление и радость. – Ой, да и соскучился же я по своим людям-то, по казакам-то. Ведь я, дружки, с чумного московского бунта. Да отойдемте-ка подале куда. – И казак-гуляка кивнул в сторону курносого парня-ямщика.

Все три казака, взявшись под руки, стали неспешно прохаживаться вдоль дороги.

– Я после бунта московского по тюрьмам вшей кормил, под плетью, ежова голова, был, да вот Господь привел нам эвот с дружком-то этим вырваться. – И Федот Кожин указал рукой на сидевшего в санях человека. – Да уж я... Эй, Нил Иваныч, вылазь сюда на кумпанство!

Нил Хряпов в вывороченной вверх шерстью овчинной шубе, в мохнатой шапке походил на огромного стервятника-медведя. Жир с него спал, брюхо стало много меньше, бородатое лицо по-прежнему красное, запойное, под глазами отвисшие мешки. Он и Кожин были навеселе. Поздоровавшись с казаками, Хряпов, недолго думая, сказал:

– А нет ли у вас, господа проезжающие, винца глоточка с два? У нас было два штофа, да выпили, зато вареная курица есть да пироги-крупеники.

Через минуту возле саней бывшего мясника завязалась на морозце беседа с легкой выпивкой.

– Куда ж это ты пробираешься-то, Афанасий Петрович? – спросил Кожин есаула Перфильева и с жадностью опрокинул в рот стаканчик холодного вина.

– По секретному делу едем, – загадочно ответил тот.

– А-а-а, по секретному! Хм... Мы с дружком тоже вроде как по секретному, – сипло захохотал вовсе охмелевший Кожин и облизнулся. – Ну, так вот вместях и поедемте, ежова голова... по секрету!

– Нам не по пути. Мы до губернатора Бранта едем, в Казань.

– Эво куда, – и косоглазый Кожин с какой-то веселой безнадежностью присвистнул. – Ну а мы, брат, губернаторов да воевод как можно объезжаем... ха-ха-ха! Я напрямки скажу, Перфильев, – хошь саблей меня руби, хошь из пистолета, – едем мы, без утайки тебе молвлю, как казак казаку, – поспешаем мы, значит, ежова голова, к самому Петру Федоровичу, царю-батюшке, вот куда!

– Да нешто он объявился где, государь-то? – схитрил осторожный Перфильев.

– Хах ты, ежова голова! – закричал Федот Кожин, давясь пирогом-крупеником. – Неужели не слыхал? Да нам в кабаках все уши прожужжали: под Ренбургом, мол, сам царь стоит с великим воинством.

– Пьянчужки брешут, а ты, косоглазый заяц, слушаешь, – подзадорил Кожина Перфильев.

– Нет, не брешут, господа казаки, – убежденно и строго возразил Нил Иваныч Хряпов. Он широко распахнул шубу и стал набивать трубку табаком. – Мне доподлинно ведомо, что

главнокомандующий Москвы князь Волконский военную силу из-под Москвы в Оренбург направил. Уж мне ли не знать. Ведь я первейшим купцом был, а по природе мужик я, крепостной барина Ракитина, в люди же вышел грешной головой своей. – И бородатый Хряпов, допив остаток водки, не торопясь рассказал казакам про свою жизнь: как он был богат и знатен, как разорился, как с горя стал пить и по дурости, ошалеv от пьянства, ввязался в Москве в драку.

– Ведь я поставщик двора был, ведь я самого государя не токмо что видывал, а и в могилу провожал, царство ему небесное!

– Как так... в могилу? – исподлобья посмотрев на купца, воскликнул Перфильев, а Герасимов крутнул головой и прыснул смехом. – Да к кому же вы тогда едете, раз царь земле предан? Ну и чудодеи вы, братцы мои! Мылом обьелись либо щелоком охлебались.

– А еду я, – отставив ногу и разгребая пальцами бороду, начал Хряпов, – еду я, честные господа, мужиков на бар подымать. Вот куда! А как сколочу шайку из крестьян, бар будем резать, барское жительство пеклу предавать, хе-хе... И есть мое усердие прибыть к батюшке по крайности вкупе с тысячью разнесчастных мужичков.

– Да к какому батюшке-то? – захохотал Перфильев, с большим любопытством при-сматриваясь к захмелевшему купцу.

– А вот как дойдем до него, тогда и угляжу, к какому: к воскресшему ли батюшке, али к умному разбойничку! Ежели есть он истинный царь, а замест него в Невском монастыре похожего на него человека погребению предали, я тут же оборочусь к царю спиной да и заявлю в народ: хоть ты и государь был, Петр Федорыч, а только не в своем уме царствовал, баба ты в повойнике, а не царь!.. – Хряпов чем дальше, тем больше волновался, он вспотел на морозе, голос его стал сиплым, крикливым, занозистым. – А ежели он, дай Бог, разбойничек умный, упаду ему в ноги да не раз, а сто раз ударюсь башкой в землю. Разбойничек, заору, пресветлый разбойничек мой! Давай оба вместе, оба враз царствовать! Покажем свету, что и чрез разбой правда открыться может! – По пухлым морщинистым щекам его, по бороде текли слезы. – Ой, братцы, мужик я, мясник я, так уж замест коров стану резать я помещиков и прочих душителей мужичьих!.. Эх, братцы!.. Еще бы винца мне, разбойничку, а! – Он бил себя опухшими кулаками в грудь и всячески спьяна юродствовал. Перфильев толкнул Герасимова в бок, и они исподволь покинули гуляк.

4

Полковник Чернышев, не получая никаких распоряжений от Кара, в ночь на 13 ноября выступил к Чернореченской крепости с целью пробраться в Оренбург. Он отправил губернатору Рейнсдорпу двух казаков с просьбой оказать его отряду содействие.

Гонцы еще не успели прибыть в Оренбург, как Рейнсдорп получил рапорт бригадира Корфа, что ночью 12 ноября он остановится в двадцати верстах от Оренбурга. Губернатор тотчас отправил как Корфу, так и Чернышеву приказание выступать от своих ночлегков одновременно, на рассвете, и направиться к Оренбургу со всеми военными предосторожностями.

Однако губернаторские гонцы были схвачены в дороге расторопными мятежниками, и это обстоятельство открыло карты Пугачеву.

Полковник Петр Матвеевич Чернышев⁶ в первом часу ночи на 14 ноября прибыл в Чернореченскую крепость, разместил свой отряд по квартирам и лишь расположился на ночлег в доме священника, как к нему постучались. Вошел с двумя казаками только что прибывший в Чернореченскую сакмарский атаман Углецкий.

⁶ Двоюродный брат А. Г. Чернышева, к которому Екатерина, будучи еще великой княгиней, была благосклонна. – В. III.

– Я вас должен предупредить, господин полковник, – сказал он, – что силы злодея весьма порядочные. И ваш отряд непременно будет атакован, ежели вам не удастся пройти как-нибудь скрадом. Мой совет – вам надлежит выступить сейчас: может, в темноте и проскочите.

– Да что-о вы, право... – опешил Чернышев.

– Да уж поверьте!

– Но я не имею точных указаний ни от Кара, ни от губернатора Рейнсдорпа, к которому отправлены мною два казака.

– Ваши казаки наверняка пойманы врагом. Что касемо Кара, то он разбит и отступил, а высланная в помощь ему гренадерская рота схвачена пугачевцами и угнана самозванцу в лагерь.

– Да что-о вы, – опять протянул крайне озадаченный Чернышев, прислушиваясь к какому-то гаму за окном.

Через двойные рамы долетало: «Не имеешь права, подлюга!» – «Какие мы пугачевцы... Сперва расчухай!..» – «Не хватай за глотку, а то нос отгрызу и выплуну!»

В опрятную комнату с накрахмаленными занавесками и чижином под потолком вбежал запыхавшийся адъютант:

– Господин полковник! «Языков» поймали...

Вскоре ввалилась к Чернышеву шумная толпа: чернышевские солдаты притащили пятерых пугачевцев.

– Вот, ваше высокоблагородие, – едва переводя дыхание, прохрипел старый капрал. – Пошли мы, уж не погневайтесь, в шинок, конечно, в корчму. А эти молодчики там водку хлещут. Ну, мы не знаем, кто такие, может, местного гарнизону, а шинкарь и шепчет мне: «Хватай, это изменники, от самозванца утекли...»

– Кто вы такие, молодцы? – перебил капрала Чернышев, потряхивая седеющей головой.

– Дозвольте! – выдвинулся из толпы бравый безбородый, в рыжих усах, казак. – Нас, казаков-бунтовщиков, четверо, а пятый – это солдат, он не наш...

– Я, ваше высокоблагородие, рядовой крепостного гарнизона Крылов. – И толстогу-бый, с водянистыми глазами, солдат шагнул вперед. – При сшибке я к злодеям в полон попал, а третьего дня от воров бежал, теперь здесь-ка скрываюсь...

– Дозвольте! – перебил его рыжеусый и заиграл глазами. – Каемся, мы, четверо казаков, у батюшки служили по глупости. А вот уж третий день, как тоже утекли... Батюшка-т не батюшка, а первый лиходей оказался, вор!.. Ему бы людей вешать... Вот, ваше высокоблагородие, хошь верь – хошь нет... Хошь жилы из нас тяните... Обидел меня батюшка, вот как обидел... Принародно по зубам дал... А я ли ему не служил по глупости... – Казак зафыркал носом и плаксиво скосоротился, прикрываясь широкой ладонью.

– А нас не мордовал батюшка, что ли? – подали голос остальные трое пугачевцев. – Он только своих яицких жалует, а мы, слава Богу, илецкие... Как добро делить, он все себе да себе, а нам фига с маслом...

– Не в том дело! – выкрикнул рыжеусый, тараща на Чернышева заплаканные глаза. – Дозвольте! А зорно стало нам в изменниках великой государыне ходить. Ведь мы не слепые щенята, ведь мы понимаем, васкородие, долго ли, коротко ли, самозванцу царю крышка... – И рыжеусый, а с ним и остальные повалились пред Чернышевым на колени. – Ваше высокоблагородие! Помилуйте нас, охлопочите нам прощение, примите к себе на службу хошь в самые последние обозные...

– Изменники! – поднялся широкоплечий Чернышев и сердито затопал на них. – Как вам, чертовы дети, могу верить, раз вы присяге изменили?! Повесить вас мало...

– Нас, ваше высокоблагородие, и Пугач грозил повесить... Уж схваченные были, да угодники святые пособили утечь от виселицы-то! Господи, батюшка! Так где же нам оправдаться-то? – стал в отчаянии заламывать руки рыжеусый казак. – Помилуйте, не дайте душе загинуть! Ведь мы молодые, вся жизнь впереди... А уж мы вам службу сослужим. Васкородие, миленькие...

– Какую вы, мерзавцы, можете сослужить мне службу?

– А вот какую. – И рыжеусый пугачевец поднялся с колен. – Ежели вы пробудете здесь в Чернореченской до утра, так несдобровать вам: Пугач непременно атакует вас, и вам, васкородие, со своей командой супротив злодея устоять будет не можно... У него силищи много, уж мы-то, васкородие, знаем доподлинно...

– Вот видите, господин полковник, – вмешался молчавший атаман Углецкий, – стало быть, я дело вам советовал... Надо немедля выступать вам.

– А выступать надо тихо-смирно, чтоб без барабанов, без огней, – говорил раскрасневшийся, возбужденный рыжеусый. – А уж мы возьмем на себя проводить вас скрытой дорогой, чтобы злодею не чутко было... Нам ведь самим опять попасться к нему – слаще дьяволу в лапы!

– Как бежал я вчерась из злодейского лагеря, там пьянка зачиналась, – сказал солдат Крылов, отстраняя рыжеусого. – Они всю ночь нынче будут гулеванить, винище лопать. А я дорогу в Оренбург знаю во как, зашура пройду, восемнадцать-то верст еще до свету промахнем, вашескородие...

Чернышев задумался и уже более милостиво поглядел на беглых пугачевцев.

Во время разговоров один по одному собрались к полковнику все тридцать два офицера. Им тоже казалось, что беглецы дают резонные советы. Тем более что советы эти полностью совпадали с предостережением атамана Углецкого. А уж Углецкий свой человек, ему вся вера.

– Как удобнее нам выступать? – обратился Чернышев к офицерам. – В каком порядке?

Те пожимали плечами, переглядывались друг с другом.

– А вот как удобнее, – опять заговорил рыжеусый беглец-пугачевец. – Дозвольте! Вперед, конечно, конницу пустить, следом артиллерию, а тут – пехота да обоз. А порох-то наготове держать, да ружья-то чтобы заряженные были, не как у гренадерской роты, коя и в плен-то попала из-за дурости своей... На них злодеи налетели, а у гренадеров-дураков ни пороху, ни ружей...

– Истинно так, – подтвердил атаман Углецкий.

Чернышеву понравилось поведение рыжеусого казака, он сказал:

– Ежели, ребята, благополучно дело сделаете, в Оренбурге награжу вас – по двадцать пять рублей каждого!

Казаки и солдат Крылов низко поклонились Чернышеву и сказали:

– Не в награждении дело, ваше высокоблагородие. Конечно – спасибо... деньги великие... А само главное – похлопочи за нас, бедных...

Чернышев приказал капитану Ружевскому:

– Возьмите, Осип Федорыч, человек пять-шесть казаков, да выбирайте самых смелых, и скачите к Рейнсдорпу, скажите ему, что я сейчас отправляюсь в марш и прошу от него сикурса. Будьте осторожны, враг зорек и хитер.

Было еще темно, выступили тихо. Редкий-редкий порошил снежок. Впереди без шума, без закура трубок двигалась конница: пятьсот ставропольских калмыков да сотня крепостных казаков. За конницей – пятнадцать орудий с полным снаряжением. Далее – семьсот гарнизонных солдат и огромный обоз. Вступили в темный лес. Дорога виляла среди зарос-

лей, была узка и неудобна: отряд растянулся на большое расстояние. В голове ехали беглые казаки-пугачевцы и солдат Крылов – указывали дорогу.

Рыжеусый пугачевец нет-нет и повернет коня назад и проедет вдоль отряда, зорко наблюдая, в порядке ли движется обоз. «Тихо, тихо», – грозит он нагайкой. А подъехав к сбившимся в кучу офицерам, он негромко говорит:

– Еще часок, и на Маячной горе будем. А как гору перевалим, тут тебе и Оренбург, версты с четыре останется.

Сам Чернышев, скрытно от всех нарядившись мужиком, в рваном, измызганном армяке, в овчинной с ушами старой шапке, сидит на обозной подвозе, правит лошадежкой, помахивает кнутом. В темноте его никто не замечает и никто не знает, где он, полковник Чернышев. Да его теперь сам сатана в очках не сыщет. Его лошадь идет то шагом, то ленивой рысью: тух-тух-тух, сани клонит вправо-влево, на Чернышева накатывается дрема, но он упорно борется с ней.

Впереди, за две подводы от него, завалился воз, набежали соседи, стали подымать. Тотчас появился рыжеусый пугачевец, спрыгнул с коня, тоже впрягся в дело, внатуг нажимает плечом, кричит, а сам вполголоса предупреждает возчиков: «Тихо, тихо, мужики, не шумите громко-то».

Воз поднят, все двинулись вперед. Мимо Чернышева проехал все тот же душа-парень, рыжеусый. Чернышеву хотелось крикнуть молодцу: спасибо, мол, за старанье! Не двадцать пять, а сто рублей награды примешь.

Он стал думать о том, что его ожидает впереди. Как будто все ясно и как будто все в густом тумане: для человека не только завтрашний день, но и предстоящий час, даже ближайшее мгновенье скрыто непроницаемой, как могильный мрак, завесой. Впрочем... вот он, полковник Чернышев, скоро вступит в Оренбург с огромным запасом продовольствия, изголодавшиеся жители осажденной крепости будут благословлять его имя, а губернатор Рейнсдорп, получив новую воинскую силу, придет в радость. А там – грозная, под командой Чернышева, вылазка из крепости, бродяга Пугачев схвачен и закован, его злодейская толпа разогнана, полковник Чернышев за боевой опыт и отвагу произведен в генералы. Генерал Чернышев!..

И может статься – государыня императрица, просматривая списки награжденных, споткнется на его фамилии своим светлым взором. «Чернышев, Петр Матвеевич... а-а-а, да ведь это кто!..» – мысленно воскликнет великая монархиня...

Тут думы Чернышева стремительно несутся в прошлое. Высокий, статный седеющий красавец, физические качества которого не замаскировать никакими рваными мужичьими тулупами, вспомнил о днях своей юности, о счастливой поре своей придворной жизни в звании камер-лакея великого князя Петра Федоровича. Да, поистине чудесная, неповторимая пора, похожая на волшебную сказку Шехерезады!

Их было при дворе три брата: рослые, красивые, услужливые; они были любимы великим князем, но особой благосклонностью юной супруги великого князя – Екатерины Алексеевны – пользовался их старший двоюродный брат – Андрей Чернышев. Однако привольная жизнь баловней судьбы продолжалась недолго: подозрительная императрица Елизавета положила быстрый и суровый предел альковным шашням Андрея Чернышева и Екатерины: все три брата были удалены из дворца и после двухлетнего ареста в Рыбачьей слободе под Петербургом направлены на военную службу в отдаленные местности.

Увязая мечтой в давно минувшем, Чернышев глубоко вздыхает, пристращивает кнутом ленивую лошадежку, озирается по сторонам: справа и слева мелкий лес, кругом таинственная сутемнь, но небо, стремительно вздымаясь ввысь, понемногу бледнеет, проясняется.

Все стало на виду: лес исчез, тянется лысая пологая гора, и сквозь рассвет откуда-то слышится резкий и бодрый, уже не таящийся голос рыжеусого:

– Маячная гора! Горой едем... Теперь, почитай, дома мы... Вот вздымемся на лысину – и Оренбург как на ладошке будет.

У Чернышева расплзлась по губам приятная улыбка, он снял шапку и со всем усердием перекрестился. Он по плану припоминал, что Бердская слобода, этот вертеп разбойников, осталась далеко правее.

5

Но вдруг, как с неба гром, раскатился где-то впереди пушечный выстрел, за ним другой, третий.

Все пришло в неопишное смятение.

Конный отряд, уже переваливший Маячную гору и внезапно осыпанный пушечной картечью, сразу остановился. Подлетевший к конным чернышевцам все тот же рыжеусый казак-пугачевец с появившейся на пике развевавшейся белой повязкой что есть силы заорал:

– Довольно вам, ребятушки, царице-немке служить!.. За мной!.. Айда к государю императору! – И все шесть сотен чернышевской конницы с гиканьем помчались за пятью лихими пугачевцами.

– Стреляй, стреляй изменников! – вопили всполошившиеся офицеры. Затрещали ружейные выстрелы, но пули летели безвредно.

Чернышев с ужасом видел, как из-за лысой Маячной горы темной тучей по белому снегу вымахнули пугачевские всадники. Стреляя из ружей и поигрывая пиками, они помчались на артиллерию и на растерявшихся пехотинцев. Чернышев смертельно оробел, не знал, на что ему решиться, хотел бежать к сбившимся в кучу офицерам, но душевные силы оставили его, он как бы впал в столбняк, весь обмер и затаился на возу.

К Пугачеву, державшемуся со свитой в некотором отдалении, подскакал с белой на пике повязкой рыжеусый казак Тимофей Чернов, тот самый сорви-голова, который недавно докладывал батюшке, как он, казак Чернов, чуть ли не один взял Сорочинскую крепость, и над которым батюшка весело подшучивал.

– Вот, ваше величество! – гаркнул он, молодежато вскидывая голову. – Приказ твоей милости исполнен, дело сделано, неприятельский отряд заманули мы не надо лучше.

– Спасибо, Тимоха, благодарствую, – кивнул ему Пугачев и обернулся к свите: – А ну, атаманы, вперед!

Но впереди почти все уже было кончено: пугачевцы сидели на лафетах чернышевских пушек, четверо сопротивлявшихся артиллеристов валялись порубленными, поколотыми. Канониры, бомбардиры и куча обозных мужиков, стоя на коленях, просили о пощаде.

Семьсот старых и молодых, пережыбших на морозе солдат, дрожа от волнения и не видя возле себя офицеров, впали под напором многочисленной вражеской конницы в робость.

– Кто за государя императора, бросай ружья! – скомандовал подскакавший к ним с илецкими казаками полковник Творогов.

Солдаты, недолго думая, будто по уговору, покорно сложили тесаки, ружья, патронные сумки, опустили на колени, завопили:

– Не чините нам смерти! Мы согласны служить вашему величеству...

Все покорились наскакавшим пугачевцам. Лишь офицеры, стоя плечо в плечо, яростно защищались.

– Падем в честном бою, но не сдадимся разбойникам! – в исступлении выкрикивали они, отстреливаясь из ружей, из пистолетов, с отчаяньем рубились шашками.

Казаки напирали со всех сторон.

– Бей их! Не нашего стада скотина... Бей! – визгливо орали казаки и падали, сраженные офицерскими пулями.

Но пули расстреляны, силы в плечах иссякли, еще момент – и все они, офицеры, будут растерзаны.

– Не трог их, детушки. Бери живьем, – приказал подъехавший ближе Пугачев.

Он был в простой казацкой одежде и ничем не отличался от рядового казака. Офицеры не обратили на него внимания, они ругали вязавших их казаков, плевали им в лицо, вгрызались в руки.

– Изменники подлые! Клятвопреступники! – выкрикивали охрипшими голосами наиболее мужественные из них. – Вот уже будет вам... дураки!.. Царя себе выдумали... Беглый казакишка Емелька вас за нос водит... Где он? Покажите-ка нам хоть рожу-то его богомерзкую...

– А вот в Берду придешь, там увидишь! – прокричал с коня засверкавший гневными глазами Пугачев. – А эти ваши бабьи сказки-то слышали мы, про Емельку-то... Своими ложными манифестами царица Екатерина только простой народ с толку сбивает. Да только простой-то народ поумней вас, дураков.

Двухтысячная пугачевская конница и весь захваченный отряд с крупным обозом провианта, которым Чернышев собирался порадовать осажденных оренбуржцев, на виду у проснувшейся крепости неспешно двигались по сыртам в Бердскую слободу.

На крепостном валу, как всегда в тревожные часы, стояли жители. Был тут со своими знакомцами именитый Рычков, духовенство, многие начальствующие лица, была и любопытная Золотариха с курским купчиком Полуехтовым.

На белом, покрытом снегом, высоком валу пестрели серенькой грязью солдаты, казаки, толпы простолюдинов. Все, решительно все с неимоверной тоской в глазах провожали взглядами огромный обоз с продовольствием, ползущий вдаль в сытую, пьяную Берду.

– Прощай, хлебец-батюшка, прощай, мяско... Э-эхма-а-а!.. – вздыхали голодные люди, и по их иссохшим щекам невольно катились слезы.

Губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп, окруженный свитой, укутанный в теплую шубу – воротник кибиткой, – тоже присутствовал здесь, на валу, чуть-чуть в сторонке от народа. Время от времени он прикладывал подзорную трубу к глазу, постанывал и морщился, как от зубной боли.

В центре города башенные часы над зданием гауптвахты пробили восемь утра.

Рядом с губернатором стоит гонец Чернышева, капитан Ружевский. Каким-то чудом ему удалось благополучно и вовремя добраться до Оренбурга. С пятью казаками он подъехал к воротам крепости четыре часа тому назад, когда было еще совсем темно.

Ружевский мчался к Рейнсдорпу, чтоб доложить убедительную просьбу полковника Чернышева выслать ему навстречу скорую помощь. Когда Ружевский, разбудив губернатора, сообщил ему о разгроме пугачевцами генерала Кара, озадаченный губернатор изумленно воскликнул:

– Какого генерала Кара? Где он, откуда?

– Неужели вам, ваше высокопревосходительство, ничего не известно про Кара?

– Голюбчик!.. Откуда ж мне знать? Весь крепость окружен... Люди этого каторжника Пугашов день и ночь кругом крепости чинят разъезды. Кар... Кар! О мой Бог!.. Но надо действовать, действовать... Эй, одеваться! – Он бросил колпак, сбросил стеганный шлафрок с кистями, сказал: – Пардон, – и остался в одном исподнем.

Было уже шесть часов утра, когда они вышли на улицу. И в этот миг, раз за разом, ударили вдалеке три пушечных выстрела. Губернатор затаенным шепотом выдохнул: «О! Ви слышаете?»

Сели в сани, поехали в крепость, чутко прислушиваясь к морозной тишине. Но выстрелов больше не повторялось. Рейнсдорп обреченно произнес:

– Ясно... Все ясно! Чернышев либо сыграл ретираду, либо попался в плен.

– А третьей возможности вы, ваше высокопревосходительство, не допускаете?

– Шо? Штоб победа была на стороне полковник Чернышев? Нико-гда! Я не могу победить эта шволочь, даже я!

Тем временем в Бердскую слободу уныло шагали тридцать два арестованных офицера.

– А где же Чернышев? Где полковник Чернышев? – озираясь, спрашивали они друг друга.

– Я видел Петра Матвеевича в Чернореченской, пред самым маршем, – густым басом сказал тучный майор Семенов. – Он отдавал какие-то приказания капитану Ружевскому и неизвестно куда исчез...

– Но ведь не мог же он отправить в марш нас одних... Не сидит же он в Чернореченской, – сказал такой же тучный, задыхающийся на ходу капитан Калмыков.

– А вдруг да он не дай Бог убит, – предположил молодой подпоручик Аверкиев. – Шальная пуля либо картечь...

В Берде пугачевцы тоже всполошились, опрашивали офицеров, опрашивали солдат:

– Где ваш начальник? Где полковник Чернышев?

Офицеры как в рот воды набрали, отворачивались, глядели в землю. Спрошенные солдаты только руками разводили:

– Знать не знаем. Мы люди мелкие...

Рыжеусый Тимоха Чернов, так ловко одурачивший полковника Чернышева, из себя выходил от злости, он внимательно всматривался в лицо каждого солдата, выкрикивал:

– Ну и хитер, ну и хитер ваш змей полковник! Как сквозь землю... Да уж не черт ли его с кашей съел?..

Дежурный Давилин пытливо осматривал всех обозных мужиков, коим велено смирно сидеть на козлах. Осмотрены тридцать семь извозчиков, еще осталось больше половины. Подошел к тридцать восьмому, сидевшему в рваном армяке, в овчинной с ушами шапчонке. Ой, что-то лицо не мужичье, барское, бритое лицо, тонкий нос горбинкой... Э-ге-ге!

– А ну, дядя, сними рукавицу, покажь руку.

У полковника Чернышева задергались концы губ, в помутившихся глазах стал меркнуть свет.

– Что за человек?

– Из-извозчик...

Подбежавший на разговор Тимоха Чернов, захлебываясь мстительной радостью, громко закричал:

– Он, он! Вот те Христос, он... – И, сооротив плаксивую рожу, Тимоха повалился перед Чернышевым на колени: – Ваше высокоблагородие! Помилуйте... Пожалейте мою молодую жизнь!

– Братцы, – обратился Давилин к подбежавшим солдатам. – Скажите по правде-совести, что за человек?

– Наш полковник это, Петр Матвеич Чернышев, – не сморгнув глазом откликнулись в кучке солдат.

Бледное, помертвевшее лицо Чернышева вдруг налилось кровью, глаза ожесточились, он соскочил с облучка и крикнул:

– Да, это я... Вешайте, негодяи! – Затем сорвал с себя армяк и с силою бросил в лицо Давилина.

Глава VI

Гипохондрия. Страшный суд.

Павел Носов. Блестящая победа

1

Секунд-майор Наумов зашел проведать капитаншу Крылову, сообщить ей свежие вести о несчастье с полковником Чернышевым, да кстати и позавтракать: капитанша была изрядная мастерица стряпать. Но оказалось, что Крылова о судьбе Чернышева уже знала и встретила Наумова с заплаканными глазами. Четырехлетний карапуз Ваня, с измазанной вареньем мордочкой, сшибал клюкой расставленные на полу бабки.

– Ну что, от благоверного никаких вестей? – приласкав мальчика, спросил Наумов капитаншу.

– А откуда же могут быть вести, батюшка? Разве что сорока на хвосте... Вот все ждали, надеялись получить весточку с полковником Чернышевым, да видишь, какая беда стряслась... Пропasti-то на него нет, на этого Пугача треклятого!

– Дядя Наум, – ввязался Ваня, – а он царь взаправду или нарочно, Пугач-то?

– Царь, царь... Только с другого боку.

– Х-х, с другого... А с какого? Вот с этого али вот с этого? – подбочениваясь то правой, то левой рукой, спросил озадаченный Ваня.

– Он вор, – сказал Наумов.

– А кого он украдывал? – оживился мальчонка и пристукнул клюкой по бабкам.

Нянька, вырвав у Вани клюку, увела его.

Вошел с вязанкой дров старый, хромой слуга Крыловых, сбросил дрова к печке.

– Ну, каково живешь, Семеныч? – приветливо улыбаясь старику, спросил Наумов. – Не слышал ли чего новенького?

– Новое хуже старого, ваше благородие, – виновато откликнулся старик, припадая на хромую ногу. – День ото дня гаже! Известно, простой народ не в довольстве находится, вот и шумит.

– Чего ради он шумит-то? – полубопытствовал Наумов и принялся раскуривать трубку.

– Харч дорог, ваше благородие. День ото дня дороже. Эвот до осады самая лучшая крупчатка была тридцать копеек пуд, а таперь к шести рублям пудик подходит. Во как! А в злодейском лагере дороже четвертака за пуд крупчатку продавать не повелено... Сам Пугач быдто запретил.

– А ты, Семеныч, всерьез скажи, чего народ-то гуторит, особливо солдаты да казаки?

– Всяко, ваше благородие, брякают. Иным часом и прикрикнешь на другого обормота: ах ты, мол, такой-сякой – видно, присягу позабыл? Ну, он язык-то и прикусит. Эвот недавно купчик Полуехтов в разгул ударился и всех вином потчевать стал в кабаке. Ну, солдатня и дорвалась до дармовщинки-то! Кричат пьяные: надо-де в царев лагерь идти, там вольготней, там вином хоть залейся и харч добрый, кажинный Божий день убоинку едят, а у нас-де что?

– Ах, мерзавцы! – нахмурился Наумов и, не докурив, стал выколачивать трубку.

Старик постоял, помялся, пробурчал: «Эхе-хе, жизня!» – и покултыхал вон.

– Да и то правду молвить, уж больно распустили солдатишек-то, – проговорила капитанша, накладывая в глубокую тарелку моченых слив с яблоками.

– Нимало не распустили, – возразил Наумов, и у него при виде вкусностей стала набегать слюна. – Да и не в одних солдатах дело. Промеж штрафных офицеров надо сыскивать смутьянов-то, вот где. Штрафных-то много сюда ссылают из столицы. Взять, к примеру, того

же Андрея Горбатого, прапорщика, – ой-ой, цаца какая!.. Его из капитанов разжаловали да турнули сюда. Генерал Валленштерн досматривать за ним приказал мне.

– А вот эти самые, как их... полячки пленные...

– Конфедераты? Я бы их всех в мешок – да в воду. Я бы их... И напрасно господин губернатор компанию с ними водит.

Отведав моченых слив и настоящей на рябине водки, секунд-майор Наумов, ради служебного соглядатайства, направился к прапорщику Горбатову.

Андрей Ильич Горбатов со своим знакомцем конфедератом Плохоцким снимал две небольшие горницы в доме столяра-краснодеревца, выплачивая хозяину по семьдесят пять копеек в месяц. Восемь месяцев тому назад по приговору дисциплинарного военного суда он был выслан из Петербурга на службу в Оренбург. Держал он себя здесь независимо, обособленно, с офицерами не водился, перед начальством не заискивал. С солдатами всегда был хорош, у начальников же на плохом счету. «Спесив, надменен, к тому же леностен», – говорили про него.

На приветствие вошедшего Наумова ответил Горбатов сухим кивком и не предложил сесть.

– Что вам угодно? – спросил он незваного гостя.

– Напрямки вас спрошу, по-военному, как офицер офицера, – неприязненным тоном произнес Наумов, хмуря густые брови, – пришел я провести, чем вы занимаетесь, и вообще...

– А какое вам дело, чем я занимаюсь? И кто вам дал право задавать мне подобные вопросы?

– Я сие вершу по праву начальника, вы мой подчиненный.

– В первый раз слышу. Считал себя в подчинении у оберкоменданта Валленштерна.

– Вот бумага, приказ. – И Наумов бросил официальное предписание на стол, поверх которого лежала географическая карта. – Извольте прочесть и твердо помнить, что вы уже месяц назад прикомандированы к моему отряду.

– От подобной чести буду отказываться до тех пор, пока не получу о сем ордер из канцелярии. – И Горбатов, прочтя бумажку, небрежно положил ее вновь на стол.

– Извольте в канцелярию пожаловать за орденем сами.

– И не подумая.

– Прошу пререкания со мной в сторону отложить – они опасны.

– Прошу принять в мысль, что грубый ваш тон по отношению ко мне тоже для вас может стать опасным! – Темные, в упор устремленные на секунд-майора глаза Горбатова засверкали.

Наумов смутился и, сдерживая голос, спросил, прихлопнув рукой географическую карту:

– Это что за карта и откуда взялась она?

– Вам до этого нет дела! Впрочем, это карта Польши... Речи Посполитой.

– Ах, Польши? Очень хорошо! Эта карта ваша?

– Она принадлежит Плохоцкому...

– Ах, Плохоцкому? Чудесно!

– Смею спросить, вы ко мне явились как офицер или как полицейский чин?

Наумов, не вдруг поборов невольное внутреннее беспокойство, ответил:

– И то и другое...

– Ах так! Приятно слышать, – воскликнул Горбатов и, усмехнувшись, подал гостю стул. – В таком разе прошу присесть.

«Давно бы так, сукин сын», – не поняв злой насмешки столичного офицера, подумал простяга Наумов и сказал:

– Не утруждайте себя! Я скоро откланяюсь.

Ему очень хотелось как-нибудь уколоть задиру, загнать его в тупик, и он официальным тоном спросил его:

– Скажите, господин прапорщик, чего ради вы отсутствовали при вылазках из крепости третьего числа, девятого числа и сегодня утром?

– По причине уважительной, – подумав, ответил Горбатов. – Я страдаю желтой гипохондрией, это болезнь души, а телесный недуг мой – это подагрическая немочь.

– Имейте в виду, ваши дальнейшие уклонения в делах против самозванца будут истолкованы высшим командованием вам во вред.

– Имейте в виду и вы, господин секунд-майор, что больной воин – помеха делу, а не помощь. – Горбатов схватился за виски, застонал и стал вышагивать по комнате.

– Что с вами? – жестко спросил Наумов.

– Начинается гипохондриа...

– Да что это за гипохондриа такая? Не доводилось слышать.

– Это сильный душевный припадок. В состоянии гипохондрии я готов схватить пистолет и застрелить кого угодно... И в ответе не буду.

Наумов вытаращил глаза. У него на языке вертелся последний, но главный вопрос: «А правда ли, что, по имеющимся у нас сведениям, вы сеете противозаконную смуту промеж солдат?» Однако, поймав глазом лежащие на ломберном столике два заряженных пистолета и в точности не представляя себе, что есть гипохондриа, Наумов от приготовленного вопроса воздержался и через минуту ушел, сказав примиряюще:

– Ну, не взыщите. Уж как умел. Может быть, что и не так... Уж не взыщите.

Как только за ним затворилась дверь, к Горбатову вышел из своей горницы пан Плохоцкий – лысеющий, с жирным усатым лицом, подбородок бритый, круглый, с ямочкой, глаза большие, водянистые.

– Хе-хе-хе... Гипохондрии испугался?

– Гипохондрии, – сказал, смеясь, Горбатов. – А человек, видать, хороший и отличный боевой офицер, каких здесь не то что мало, а вовсе нет...

– О-о! А я что вам, пане добродию, молвил? Все офицеры русской армии – дрянь!

– Ах, оставьте пане Плохоцкий! – с раздражением бросил Горбатов. – Младший и средний командный состав офицерства, особливо же солдатство, у нас золото.

– Может быть, и золото, только фальшивое.

– А кто вашего брата бил под Баром, кто бил Фридриха, кто бил турок? А вы забыли, как Стефан Баторий, ваш наймит круль Батур, на Пскове зубы обломал при Иване Грозном? Забыли?

– Цо то, цо такое? – подбоченясь и наступая на Горбатова, повысил голос пане Плохоцкий. – Наш польский народ... О-о, велика мосць!

– Да вы, пане, знаете ли свой народ?

– Я не знаю свой народ, я? Да я за польский народ саблюкой бился! – с наигранным пафосом ударил Плохоцкий себя в грудь ладонью. – Я ранен, я кровь за него пролил!

– Вы не за народ, а за шляхту бились. А свой народ вы зовете «быдло» и презираете его. Кто за народ стоит? Правду в народе ищет? Ну-ка, скажите.

– Может быть, вы Емельяна Пугачева сюда причислите, а? – осклабился Плохоцкий.

– И причислю! – подхватил, волнуясь, Горбатов. – Хоть он и Пугач, а воистину за народ и с народом! А до него Степан Разин был, Болотников был, Некрас и другие прочие. Вот доподлинные вожди народа, а не ваши разные Пулавские.

– От-то чертяка! Бардзо мувит...

Плохоцкий, смущенно улыбаясь, подошел к этажерке, стал вытаскивать и машинально перелистывать книги офицера Горбатова. Вдруг круто повернулся к нему, снова ударил себя в грудь и, раздувая густые усы, крикнул:

– Пан Плохоцкий всегда за народ! Бежим к Пугачеву! Цо?

Горбатов с изумлением отступил на шаг, смерил насмешливым взглядом петушившегося Плохоцкого и, не сдерживаясь, рассмеялся.

– Что? К Пугачеву? Ха-ха! Не знаю, как вы, пане Плохоцкий, а вот я действительно, кажется, сбегу... – серьезно ответил он. – Я признаю в Емельяне Пугачеве зело одаренного человека. Возьмите его легкие войска, его каждодневные шермиции. А как они нашего Валленштерна оттузили, а как Кара расколошматили или сегодня поутру зеваку Чернышева? У него, у Чернышева, войско немалое было да пятнадцать пушек. Ведь я, нарядившись в хозяйский архалук да шапчонку, с утра на валу толочся. А недавнишний приступ самого Пугачева с конницей?.. Ведь едва-едва крепость не взяли. А его артиллерия? Палят хлестко, дай Бог всякому! Весь город под обстрелом... помните? Нет, что-то, а голова у Пугачева – золото!..

– Жебы его вшистци дьябли взяли!.. Цо? – возразил по-польски пан Плохоцкий.

Их оживленную, с пикировкой, беседу прервал гул пушечных выстрелов. Прибежавший с улицы столяр, хозяин, приотворил дверь и крикнул:

– Эй, постояльцы! Бригадир Кофт вступил в город!

Бригадир Корф на соединение с Чернышевым не пошел, а, оставя Верхнеозерскую крепость, переправился на реку Яик и принял путь к Оренбургу противоположным берегом. Вскоре соединился с казаками, высланными Рейнсдорпом. Невдалеке от крепости примчался к Яику сильный отряд пугачевцев. Но было уже поздно: их отделяла от Корфа река, да и крепость с дальнобойными пушками была под носом.

Корф привел с собою полторы тысячи солдат, тысячу казаков и двадцать два орудия. Но этот большой отряд мало что мог дать оренбуржцам: солдаты Корфа были худоконны и к боевым действиям почти что не пригодны. Словом, две с половиной тысячи малополезных едоков не были находкой для полуголодного, впавшего в беду Оренбурга. Но все же в честь их была произведена пальба с верхов крепости.

2

Пугачев сидел в золоченом кресле. В некотором отдалении от него – четыре угрожающие виселицы с четырьмя угрюмыми палачами. Страховидный Иван Бурнов ладил из аркана петли, деловито перекатывал чурбаны, на которые, с петлей на шее, будут ступать осужденные.

Все тридцать два офицера стояли вблизи Пугачева нескладной кучей, как почуявшая волка отара овец без пастуха. Выстроиться в шеренгу они наотрез отказались. Хмурые, озлобленные, с окаменелыми лицами, они стояли в небрежных позах, с руками, засунутыми в карманы, как бы стараясь этим подчеркнуть полное презрение к сидевшему в золоченом кресле бородачу.

Пугачев, едва сдерживаясь, хранил суровое молчание, затем он перевел свой взор на пленных солдат, чинно стоявших поодаль в строевом порядке, и подумал: «Эти бесхитростные».

– Как вы осмелились, – вдруг разразился он резким окриком на офицеров, – как вы осмелились вооружиться супротив меня? Как в вас совести-то хватило?! Нешто вы не знали, что я ваш государь? На солдат моего гнева нет, они люди простые. Да и то вон ружья-то побросали первые. А ведь вас силою взяли, сколько народу моего поизранили вы. А еще

офицеры! Как же вы регулы военные не знаете?.. – Он помолчал. – Какой-то средь вас обор-мот кричал там, требовал царя показать. Вот я – царь ваш!..

Кто-то в кучке офицеров всохотал, кто-то голосисто выкрикнул:

– Не тебе бы, вору, рацей нам читать!

Пугачев эти дерзкие слова слышал, но сделал вид, что пропустил мимо ушей.

– Вам бы в ноги мне, государю своему, валиться да прощенья просить, а вы и в ус не дуете, кой-как, избоченясь, стоите пред императором и ручки в кармашки... – смягчив голос, проговорил Пугачев, стремясь внушить им надежду на свою милость. Но офицеры нисколько не меняли своих вызывающих поз.

Пугачев, потеряв терпение, вскочил, сжал кулаки, его глаза дико вспыхнули, он с силой крикнул:

– Смирно! Руки по швам, злодеи!

Офицеры, как бы пронизанные огненным током, вздрогнули и, не отдавая себе в том отчета, враз опустили по швам руки. Пугачев, едва переводя дыхание, сел. Он ждал, с явным нетерпением ждал, что офицеры всенародно раскаются, как сделали это Шванвич, Волжинский, прапорщик Николаев, и что он, Пугачев, кой-кому из них окажет милость: ведь добрые офицеры из служилой бедноты до крайности ему нужны. «Ну пусть бы хоть для виду признали меня, а уж что у них на душе было бы, леший с ними», – думал Емельян Иванович.

Однако тридцать два офицера стояли как окаменелые. Их бледные лица как бы говорили: «Умрем, а присяге не изменим!»

Тогда Пугачев, выждав время, обратился к Чернышеву:

– И ты еще смеешь называть себя полковником! Какой же ты есть, к чертовой бабушке, полковник, когда свой отряд бросил да мужиком вырядился? Ежели б шел в порядке, так, может статься, и в Оренбург попал бы... Вот вы стоите передо мной, пред государем, – продолжал он более серьезно. – И волен я вас смертию казнить, волен и помиловать...

Осужденные безмолвствовали. Лицо Пугачева внезапно исказилось, меж глаз врубилась складка, он взмахнул платком и закричал:

– Вздернуть! – Он задохнулся и хриплым голосом закричал: – Всех до одного!

Осужденные стали прощаться друг с другом, некоторые обнимались. В рядах солдатства послышались соболезнующие вздохи, крихтенье. По знаку Давилина с казнимых начали срывать одежду, стаскивать сапоги и каждого по очереди подводить к виселице.

Еще утром мечтавший о славе полковник Чернышев, ощутив на шее петлю, со смертной тоской подумал: «Вот как припало умереть».

Пугачев велел позвать попа, чтобы учинить солдатам присягу. Поп Иван был сильно выпивши. Его, облаченного в ризу, вел под руку Ермилка, внушал ему:

– Держись за меня крепче... Шагай чередом лаптями-то! Правой, левой, правой, левой!

Вдруг, и совершенно неожиданно, когда Ермилка уже раздул кадило, а поп Иван, торопясь освежиться, натирал лицо снегом, из солдатского отряда выдвинулись тринадцать стариков и, дрожа, громогласно заявили:

– Старую присягу всемилостивой государыне мы рушить не в согласии! Хошь вешай, хошь жги нас!

На минуту стало так тихо, что было слышно, как, врываясь из степи, присвистывает у виселиц тугой ветер. Но вот, пораженная небывалым случаем, толпа, окружавшая площадь, загалдела что-то непонятное.

У Пугачева сжалось сердце. Привстав с кресла, он в крайней запальчивости крикнул:

– В петлю! Всех! Офицеров и солдат... – Затем, взглянув в сторону раскоряки-попа, добавил: – А как поп присягу кончит, вздернуть и попа, чтобы без время не пил.

Поп Иван, услышав звонкий голос государя, со страху сел в снег, потом, под сдержанное улюлюканье толпы, пополз на карачках к золотому креслу.

Утомленный Пугачев сидел, низко нагнувшись. Он упер левый локоть в подогнутую ногу, подшибил ладонью щеку, будто у него зуб болел, и глядел себе под ноги, как бы рассматривая узор персидского ковра, на котором стояло кресло. По ковру бежал, поводя усами, рыжий таракан. Пугачев приподнял ногу, раздавил его.

Ударил барабан, царь вскинул голову и выпрямил корпус. Мимо него вели на казнь тринадцать старых солдат. Связанные по рукам, с седыми из-под шляп косичками, согбенные, они шли расхлябанной старческой походкой, тяжело отдирая от земли согнутые в коленях ноги. В глазах у них сознание своей правоты и примирение со смертью. Один из стариков, проходя мимо Пугачева, зорко взглянул в лицо его и, шагая к виселице, низко опустил голову. Вдруг Пугачев прищурился, схватился за поручни кресла, подался вперед.

– Давилин, беги узнай, как зовут старика... вон-вон того, что обертывается, с красным носом.

Через минуту Давилин доложил:

– Оный солдат, ваше величество, Носов... Павел Носов.

Борода Пугачева дрогнула: как бы пробудившись от сна, он провел сверху вниз по лицу ладонью и приказал Давилину:

– Немедля развязать его, отвести в канцелярию. Пускай там ждет.

Затем рывком поднялся с кресла, махнул платком, барабан смолк, солдаты-смертники остановились у самых виселиц. Громко, чтобы слышали не только солдаты, но и все скопище народа, Пугачев проговорил:

– Всем старикам-непослушникам дарую жизни царским своим именем. Их, сырых, в обман ввели офицеры. Они люди старые и на многих сражениях в чужестранных землях не единожды бились... За мать-Россию кровь лили, за дедовщину нашу. Будьте же вы, старики, вольны!

Народ, бросая вверх шапки, закричал «ура». Не ожидая, когда покончат с офицерами, царь ушел к себе. Трупы казненных были брошены в овраг, и потом долго по ночам, подывая, бродили вокруг волки.

3

Старый солдат Павел Носов в полном душевном изнеможении сидел в углу избы, безучастно глядя перед собой и ни о чем не думая. В избу входили военные люди, о чем-то говорили между собой. За двумя, топорной работы, столами писались бумаги, приклепывались к ним сургучные печати. Горела под шапкой копоты вставленная в бутылку сальная свеча. В углах – потрепанные разноцветные знамена с белыми крестами по полотнищам. Под лавками и на лавках – бумаги, писцовые книги, сапоги – старые и новые, со шпорами и без шпор, офицерские шпаги и шляпы, седла, уздечки, всякая рухлядишка. На полу – плевки, клочья рваной бумаги, пепел, растоптанные угли.

В окно постучал с улицы какой-то бородач и крикнул:

– К ужине, к ужине! Снедать! Эй, канцелярия!

Трое писарей и четверо сидевших на лавках пожилых казаков быстро встали. Молодой писарек дунул на свечку, сказал Носову:

– Ты, дедушка, сиди до особого приказа государева. Я тебя запроу здесь-ка. Вот тебе хлебца, пожуй. Зубы-то есть, еще не все на службе выпали? Да вот два яичка тебе, а тут соль.

Носов ничего не сказал, даже не поблагодарил, он как будто и не слышал слов молодого, в суконном кафтане, человека.

Прошел час, а может – два. Стемнело. Загремел замок. В избу, широко распахнув дверь и заперев ее изнутри на крюк, вошел с большим зажженным фонарем широкоплечий Пугачев. Он был в простом темно-синем казацком чекмене, через плечо у него – широкая голубая

лента с генеральской звездой, при бедре богатая сабля. Он во все стороны поводил фонарем, отыскал сидевшего в самом темном углу старика, подошел ближе и, направив свет фонаря в его лицо, просто, задушевно спросил:

– Павел Носов, узнал ли ты меня?

Лицо Пугачева было в тени, а старые глаза солдата видели плохо.

– А чего мне узнавать, – недружелюбно ответил он, ошаривая сердитым взглядом голубую ленту со звездой. – Все толкуют, что ты царь, а я этому глупству веры не даю. И ни в жизнь не дам... Государь Петр Федорыч представился давным-давно. А ты кто? Ты набеглый царь, самозванец!

– Неужто невмочь тебе узнать меня? – еще мягче промолвил Емельян Пугачев, колуная ногтем наплывшее на фонаре сало. – Я Пугачев, казак Емельян Пугачев. Припомни-ка!

– Ась? – Носов вздрогнул, наставив к уху согнутую козырьком ладонь. Имя «Емельян Пугачев» хотя и прозвучало в его сердце чем-то близким, но незнакомый голос и чуждый вид стоявшего над ним матерого человека не вызвали в памяти старика вполне отчетливых представлений. – Ась, ась? А подь-ка сюда! – Закряхтев, он взял из руки Пугачева фонарь и направил свет в его лицо. – Ну-тка, ну-тка...

– Да ведь мы с тобой, дядя Павел, вместиах Фридриха били! Как прощались с тобою, ты говорил: а доведется ли, мол, встретиться нам, Омелька?

Павел Носов часто задышал, голова его тряслась. Пугачев сказал, густо улыбаясь:

– Ну так как, дядя Павел? Подлого мы с тобой званьа? Не люди мы? Помнишь слова свои тогдашние?

Носов вспомнил наконец. Вот оно что! Пред ним тот самый казак Омелька, с которым много лет назад он коротал время при Гросс-Эггерсдорфской битве⁷.

– Аа-а, вот ты кто! – выдохнул он сурово и, сунув фонарь на лавку, стал приподыматься, расправляя уставшую спину.

Пугачев было бросился к нему, чтобы поддержать, но растерялся, попятился: встряхивая головой, с сжатыми кулаками, старик наседавал на него.

– Злодей, злодей!.. – кричал он удушливо, брызгая слюною. – Клятвопреступник! Душегуб! Пошто ты людей-то в обман вводишь, разбойник? Пошто кровь-то льешь неповинную?.. Эвот господ офицеров на виселице вздернул! А за что?.. За то, что присяги не нарушили, тебе, неумытой харе, не присягнули... Да как это, сукин ты сын, царем-то умыслил нарекчи себя?.. Ну, вот что: не поклонюсь я тебе, Ирод! Ты вот дверь-то запер, так я в окошко выпрыгну да и загайкаю на весь народ: «Хватай Омельку, я давно знаю его, подлеца!» Так на ж тебе, царская твоя морда самозваная!.. – Павел Носов плюнул в горсть и замахнулся на Пугачева.

– Стой, старый петух, прочухайся! – И Пугачев схватил его за руку.

Павел Носов был свиреп и непокладист, как все старые, повидавшие горя солдаты того времени. Вырвавшись из рук Пугачева, он был вне себя. Он чувствовал близость конца своего и безбоязненно ждал его, как избавления от всех долголетних мук своих.

И вдруг зазвучал тихий, убеждающий голос Емельяна Иваныча:

– Эх, дедка, дедка! Поверь, не ради себя, ради всех вас, обиженных, иду, за правду постоять иду. Я ведь только супротивников народных изничтожаю, а того и народ хочет, того и народ ищет. Ты только покрепче подумай, старик, взмысли хорошенько: ведь мне-то, Емельяну-то, ничего не надобно! Нешто легко мне? Эх, не гораздо легко мне, дедушка Павел. Чую я, долго ли, коротко ли, сказнят голову мою... Ну да ведь я не боюсь. Я, дед, за сирый народ жизнь кладу. За тебя и за твоих внуков такожде, чтоб все вы вольными человеками

⁷ Во время Семилетней войны с прусским королем Фридрихом II. – В. III.

стали. Сам же, старый, там у костра, на прусском-то походе, молвил мне: подлого-де званья мы с тобою, Омелька, не люди мы. Помнишь ли слова свои, Носов?

– Помню, ой помню! – откликнулся старик, приметно оседая духом.

– Вот я и взмыслил, Носов, чтобы в нашем царстве-государстве подлого званья и в помине не было.

Пугачев длинные речи не умел высказывать, стоя на одном месте. Он заложил руки за спину, стал шагать по скрипучим половицам. Неровный желтоватый свет фонаря скупо освещал жилище, пламя моталось во все стороны, и чудилось, что знамена в углах колебались, пошевеливалась беленая печь, подпрыгивали вверх бревенчатые стены, словно бурые выцветшие шали под слабым ветром.

Подергивая плечами, сидел в углу екатерининский солдат с седыми, распушенными по плечам, как у монаха, волосами. Он овладел собою и уже внимательно вслушивался в слова Пугачева, которые становились все сердечней, выразительней:

– Эй, дядя Павел, дядя Павел!.. Много ль заслужил ты солдатством своим? Ноженьки твои едва несут тебя, стар ты стал, всю силу свою порешил на царской службе. А кто приют тебе даст на старость-то бездомную? Под забором где-нибудь смерть примешь, как пес. А ведь всю жизнь ты отечество защищал, Россию защищал, в бомбардирах ходил. Вот и теперь, Павел Носов, и теперь супротив меня как супротив разбойника шел, за царицу на виселице возжелал самолично умереть, за бар да за начальство стоять хотел. Ну-тка ответь по чистой по совести, супротив кого на дыбки поднялся? – Пугачев, круто повернувшись, остановился вблизи солдата. – Супротив народа шел ты, Павел. А народ проснулся, проснулся-таки на один глазок, народ воли захотел да земли барской, да с великим тиранством помещичьим расчесться порешил народ... С тем и в цари над собой меня поставил... меня, в цари!.. Чтоб я землю учинил от бар всю пусту! А что я, простой казак, в цари залез, так ведь и от черной коровы молоко-то белое... Правду ли говорю, Носов, ась?

Старый солдат взмотнул головой, лицо его задергалось, губы задрожали, казалось, он вот-вот всхлипнет, расплачется. Некий внутренний свет озарил всю жизнь его, и стало ему жалко себя. Да не только себя. «Господи, прости ему измену его противу присяги... Господи, пособи ему, окаянному, авось что и выйдет путное», – думал он, вслушиваясь в речь Пугачева. Опираясь руками о лавку, он с трудом поднялся и, заскулив, припал головою к плечу своего бывшего любимца.

– Эх, Омелянушка, Омелянушка!.. Растревожил ты сердце мне.

И они оба умолкли.

– Вот что, старик, – начал снова Пугачев, отстраняясь от Носова. – Пусть для тебя Емельяном буду, а для прочих всех – царь я. Понял?

– Тебя ли мне не понять!..

– Хочешь, служи у меня, не хочешь – иди на все четыре. Отныне не подлого званья человек ты есть, а вольный казак государев. А чтобы было тебе чем старость свою согреть да время до смертного часа скоротать, вот тебе, дедушка, прими от меня. – И Пугачев подал солдату холщовую увязку с золотыми червонцами.

– Что ты, что ты, батюшка!.. – всхлипывая и шамкая, забормотал Носов. – Дозволь уж мне, древнему, верой-правдой вместе с тобой послужить.

– Служи, Павел Носов, – сказал Пугачев, взял фонарь и быстро вышел.

4

Губернатор Рейнсдорп предпринял новую против пугачевцев вылазку.

Сильный отряд в две с половиной тысячи человек при двадцати шести пушках, под командованием Валленштерна, выступил около полудня чрез Бердские ворота и беспрепятственно добрался до занятой пугачевцами высоты, что в пяти верстах от Оренбурга.

Вскоре и Пугачев двинулся против Валленштерна со всеми своими силами. В его действующей армии было сейчас до десяти тысяч человек при сорока орудиях. Чернышевские солдаты, а также тысячи невооруженных крестьян были выгнаны из Берды и расставлены по сыртам, чтобы многолюдством своим внушить неприятелю страх.

Отдельными отрядами командовали Шигаев, Падуров, Творогов и возвратившиеся из походов Овчинников с Зарубиным-Чикой. Чумаков, как всегда, распоряжался артиллерией. Общее же командование принадлежало Пугачеву.

Выходил со своими, посаженными на коней, гренадерами и есаул Шванвич. Гренадеры в деле слились с оренбургскими казаками Падурова.

Переодетая казак Фатма впервые увидела Шванвича, перемолвилась с ним несколькими словами и осталась весьма довольна этой встречей. Наоборот, Падуров был немало встревожен тем, что атаман Овчинников назначил в его роту есаула Шванвича.

После пушечных гулов передовые конные отряды той и другой стороны вошли в соприкосновение и ружейную перестрелку. Конники, сшибаясь, начали пошупывать друг друга пиками, башкирцы, хватившие вина, с азартом пускали стрелы, работали копьями, ножами, волкобаями. Обе стороны бились храбро. Пугачев вел сражение. А Чумаков, передвигая с места на место пушки, имел расчет подальше заманить Валленштерна, отрезать его от крепости и раздавить. Крепость оставалась позади верст на пять, Берда же, куда, заманивая противника, помаленьку отступали пугачевцы, стояла от них всего верстах в двух-трех. А уже был в исходе пятый час, скоро лягут сумерки. Валленштерн устранился многочисленного, на прекрасных лошадях, врага, которому он никак не мог противопоставить свои легкие полевые части, сидевшие на замороченных клячах. По ходу боя он ясно видел грозившую ему опасность попасться в лапы врага и приказал своему отряду строиться в боевое каре для обратной ретирады в крепость.

Он злился, он негодовал на пугачевцев – уж который раз ему приходится с позором отступать, – но и на сей день для него иного исхода не было.

Отступление Валленштерна походило на бегство. Пугачевцы с таким проворством со всех сторон насакивали на врага и, сделав свое дело, снова уносились в степь, что отряду Валленштерна было бы несдобровать, если б на выручку не подошел со своими казаками Мартемьян Бородин.

Сильно потрепанный отряд Валленштерна, пробиваясь сквозь назойливую конницу неприятеля, вскоре ушел под защиту крепостных пушек, и пугачевцы свое преследование прекратили. Валленштерн без всякой пользы для дела потерял тридцать два человека убитыми, девяносто три ранеными и четыре пушки.

Эта новая, уже третья за короткое время, блестящая победа радовала Пугачева.

Он передал взмыленного коня Ермилке, забрался на бугор и сел на большую удобную корягу. У него побаливала голова, он с утра почти ничего не ел, возбужденные продолжительным боем силы его просили отдыха. Он расстегнул нагольный полшубок, нахлобучил на глаза лохматую шапчонку, достал из кармана кусок баранины да круто посоленный ломоть хлеба и принялся с аппетитом есть.

Мороз был слабый. Спустились сумерки. Через серую муть видно было, как вдали, на крепостном валу, один за другим зажигались костры. А по снежному полю, то здесь то там, темнели небольшие разъезды пугачевцев. Они подъезжали к какому-нибудь труп, раздевали его догола, ехали к другому мертвецу. Иные трупы они подвязывали к хвостам лошадей и волокли в Берду. Пугачев видел, как во многих местах, пособляя лошадям, люди перли на себе через увалы пушки.

Вот всадник скачет от орудия к орудью, что-то кричит, размахивая руками. Это, должно быть, Чумаков. Вот впереди кирпичных сараев другой всадник, на белом коне, а по бокам его – двое. Это Овчинников со своими ординарцами.

И третий, необычный... Зоркий Пугачев подметил его еще издали, почти от самой крепости. Он скакал во весь опор, нашпаривая рослого коня нагайкой. Время от времени он на минуту приостанавливался возле пугачевцев, о чем-то спрашивал их и снова мчался вмах. Вот он ближе, ближе и – прямо к Пугачеву.

– Эй, казак! – хриплым, взволнованным голосом бросил он сидевшему на коряге оборванцу. – Где государь?

– Я государь, – прожевывая баранину, равнодушно ответил Пугачев.

– Подь к черту! – буркнул всадник. – Его всурьез спрашивают, а он... – И обиженный всадник понесся прочь от Пугачева.

Готовясь проглотить разжеванный кусок, Емельян Иваныч уставился вслед складному детине. А тот, подскакав к ближайшим пугачевцам, крикнул:

– Где государь?

– А эвот, эвот, на пригорке, на коряжине-то.

– Который? Вот тот?

– Ну да... Он самый и есть государь-ампиратор.

Измученный всадник растерялся, опять подъехал к Пугачеву и снова, уже с колебанием и некоторой робостью, спросил его:

– Вы... государь?

– Экой ты дурень, братец! – ответил Пугачев. – Я ж сказывал давеча, что я и есть – кого ищешь. Что надо?

Всадник соскочил со взмыленного коня и, ведя его за собою в поводу, твердым шагом подступил к Пугачеву.

– Ваше величество, – сказал он, сдерживая взволнованный голос. – Я офицер Андрей Горбатов... из Оренбургской крепости...

– Ага... от Рейнсдорпа, что ли? – спокойно откликнулся Пугачев, кладя на всякий случай руку на рукоятку сабли. – Сдаваться, что ли, надумали там? Ась? Бумага имеется?

– Ваше величество! Могу ответ держать за себя лишь. Так что решил я послужить вам верой и правдой.

– А-а-а... Ништо, ништо, господин офицер! – ничем не выдавая своего смущения по поводу иного оборота дела, вымолвил Пугачев. – Ежели без коварства слово держишь, изволь – служи.

– Можете испытать меня, ваше величество.

– Ништо, ништо, – повторил Пугачев, цепко приглядываясь к рослому, белокурому, с темными глазами молодому человеку. «Вот это офицер!.. Не то что мошенники чернышевские», – подумал он и спросил: – А чего ж на тебе не офицерский мундир, а чекмень казацкий?

– Казацкую экипировку приобрел в Оренбурге я, на базаре, государь... Чтоб сподручней было бежать.

– И то верно. Какой чин на тебе?

– В Петербурге имел чин капитана, но по суду разжалован в прапорщики и выслан в Оренбург на службу.

– О! – повеселел Пугачев. – Видно, одна у нас с тобой судьба: и меня, братец, двенадцать годков тому назад в Питере-то такожде разжаловали... из царей. Да вот, как видишь, Господь опять призвал меня сесть на вышнее место, а добрые люди помогли тому. За что же тебя пообидели, друг?

– Накрыл я, ваше величество, с поличным нашего казнокрада-полковника. А у того большие связи, я же человек мелкого калибра. Виноватый оправдался, а мне от нашего правосудия довелось пострадать, государь.

– Ах, негодяи! – произнес, улыбаясь, Пугачев. – А во всем повинна насильственно восшедшая на престол супруга моя. Зело много она развела всяких корыстолюбцев да мздоимцев... А ты, видать, человек бесхитростный, честный. Таких уважаю... Ну, ладно, Горбатов, ладно, брат!

Пугачев поднялся, дал выстрел из пистолета. К нему подскакали ближайшие казаки.

– Проводите-ка, детушки, господина капитана в штаб, – на слове «капитан» он сделал ударение, – да велите моим именем Почиталину, чтоб немедля ему квартиру сыскал.

Горбатов с казаками уехал в Берду.

Ермилка подвел Пугачеву коня. Застоявшийся жеребец покосился умными глазами на широкоплечего грузного хозяина, легко и грациозно подбросил себя вверх, сделав «свечу», принялся по-озорному ходить на дыбах. Ермилка, внатуг державший его в поводу, проелозил по снегу сажени три на подошвах, слегка ударил жеребца нагайкой, весело заорал:

– Ты! Балуй, тварь!

Жеребец поджал уши, всхрапнул и словно вкопанный замер. Пугачев вскочил в седло.

В слободе уже светились огоньки. У ворот своей квартиры стояла, в темной шубе с белым воротником и в пуховой шали, Стеша Творогова. Узнав проезжающего государя, она низко поклонилась ему.

– Будь здорова, Стеша, – крикнул он. – Чего в гости не заходишь?

– Спасибо, сокол ясный... Зайду, улучу часок...

По случаю победы слобода всю ночь предавалась бражному веселью.

Гуляка поп Иван, за пьянство приговоренный Пугачевым к виселице, с радости, что получил помилование, пил без просыпу еще несколько дней.

Последняя военная удача так взбодрила Пугачева, что он решил послать генерал-поручику Рейнсдорпу указ, в котором требовал покорности и сдачи города. После довольно веле-речивого вступления в указе говорилось:

«...Только вы, ослепясь неведением или помрачившись злобою, не приходите в чувство, власти наша безмерно чините с большим кровопролитием и тщитесь пред святящееся имя наше, как и прежде, паки угасить, и наших верноподданных рабов, аки младенцев, осиротить. Однако мы, по природному нашему к верноподданному отечеству великодушию, буде хотя и ныне, возникнув от мрака неведения и пришед в чувство власти нашей, усердно покоритесь, всемилостивейше прощаем и сверх того всякого вольностью отечески вас жалую». Далее за послушание государевой воле указ угрожал «праведным нашим гневом».

Губернатор Рейнсдорп, читая указ в обществе начальствующих лиц, то впадал в бес- сильное негодование, то раздражался скрипучим желчным смехом. Глаза его с крайним под- зрением виляли от лица к лицу. Он чувствовал, что все его поступки предаются резкой кри- тике, что чиновники, от мала до велика, считают его плохим военачальником и чуть не в глаза тычут ему, что есть он простофиля. О мой Бог! Какие настали времена, как изменились люди!..

– Да, господа, – сказал он, – к великому несчастью, наш гарнизон, как это усматрива- ется чрез многочисленный неудачный опыт, ничего с этот плут Пугашов поделат не может. И мы, господа, стоим в оччень затруднительном положении, чтоб не сказать более...

– Мне сдается, – насмешливо поглядывая на губернатора, начал тучный, задышливый директор таможни Обухов, – мне сдается, что о гробе с музыкой, который вы собирались устроить самозванцу, нам надлежит забыть и усердно молить Бога, как бы Пугачев не устроил оногo гроба нам, но без музыки...

– О нет, нет! Ви оччень ошибайтесь, господин Обухов. Мы этому негодяю еще устроим гроб и музыку. Два гроба с двумя музыками! – выкрикнул губернатор, во все стороны повертываясь на кресле и грозя пальцем. Присутствующие невольно улыбнулись, а Обухов, таясь, выругался в шляпу. – Только не тотчас, не тотчас. Вот подоспеет сильный подкреплений извне, тогда разбойничкам – капут!

– Но ведь вы сами же изволили еще в начале октября писать генералу Деколонгу, предлагавшему помощь, чтобы он стоял на месте, ибо вы в его помощи нимало не нуждаетесь, – не унимался дерзкий на язык Обухов.

– То был один время, теперь настал другой время, – обиженно проворчал губернатор. – Ви еще оччень неопытна в военном деле, господа. Ви еще не знайт, что такое наш общий враг... этот... этот... Вильгельмьян Пугашов. О, сей каторжный душа весьма опытный воячка! Да он, шорт возьми, настоящий Вобан, самый лючий французский инженер и стратег. Вот кто Пугашов! Этот самая маршал Вобан тактика оччень легко брал крепости. Сто лет тому назад, сто лет! Впрочем, ви и понятий о нем не имейт, чтоб не сказать более...

Плотный пучеглазый Валленштерн, качнув головой, стал с жаром Рейнсдорпу возражать:

– Ставить на одну доску Пугачева и Вобана несколько удивительно, особливо для такого опытного полководца, каким вы себя считаете. Кроме сего, к вашему сведению, генерал, ежели этого не знаете: ваш Вобан не только мастер был брать крепости, но умел и замечательно строить их. А наша Оренбургская крепость, невзирая на большие ассигнования, до сих пор руина. Куда деваются деньги, Аллах ведает.

Рейнсдорп нервно понюхал табак, нестрашно посверкал глазами и, чтоб замять неприятный разговор, вскинул вверх руку с зажатым в ней платком.

– Господа! У меня созрел в голове оччень лючий прожект. – Он оживился, и все зашевелились, незаметно подталкивая друг друга и готовясь услышать от губернатора очередную забавную несуразность. – Генерал-майор Валленштерн и вы все, господа, помогайт мне. С завтрашня ночь сгоняйте наряды солдат, каторжников, разные воришки, а в равной мере – обыватель, штоб... штоб рыли за стенами крепости по полю много волчья яма. Чем больше, тем лючше.

– Земля промерзла, будет затруднительно...

– Отогревайте пожаром, взрывайт порохом... А сверху надо прикрывать сучочками...

– Хворостом?

– Да, да, хворост, хворост! А еще сверху подсыпать снежок... Неприятельский самый пьяный касак поедет, ату-ату и – в яма... Еще ставить по всему степь волчий капкан. Да, да, волчий капкан! Прошу спрятать ваши улыбки. Приказать кузнецам делать много-много капкан...

– Хорошо, – иронически пожав плечами, дал вынужденное согласие обер-комендант Валленштерн. – Но, опасаясь, как бы и наши казаки не поломали себе шеи в этих ямах да капканах.

– Глюпости! – вскричал губернатор и, обратясь к верткому, похожему на обезьяну делопроизводителю: – Вот что, голубчик, заготовь-ка мне бумагу генерал-майору Кару такого содержания... (Губернатор и не подозревал, что злосчастный Кар, бросив свою боевую часть, подъезжал в это время к городу Казани.) Первое... Место расположения Кара, сколько у него войска, пусть как можно скорей поспешил наступлений. Когда намерен он прибыть к крепости, чтоб я мог высылать ему навстречу отряд. Ви составьте, а я наведу окончательная

штиль. Ну-с... Да, господа... наше дело швах! Продовольствия у нас на одна месяц, фуража для лошадей того менее... Швах, швах, господа!..

Глава VII

Генерал Кар пойман. «Персональный оскорбитель». Песенка о сарафане. Екатерина вела заседание нервно

1

Состояние Казани и той части Казанской губернии, которая граничила с губернией Оренбургской, во многих отношениях было самое плачевное.

Губернатор Брант все еще находился в Кичуевском фельдшанце. Отсюда он распоряжался расстановкой ничтожных воинских частей вдоль рубежей своей губернии, организовывал отряды из закамских дворян и их дворовых людей, их экономических, дворцовых и ясашных крестьян, чувашей и черемисов. Но эти ополчения были плохо вооружены, скверно обучены и не могли представлять собою сколько-нибудь внушительной силы. Иных же войск в Казани не имелось. К тому же Казань была обременена большим числом возвращавшихся из Сибири польских конфедератов, да, кроме того, в городских тюрьмах находилось до четырех тысяч колодников.

Отсутствие воинской силы необычайно тревожило жителей Казани. А тут пошли слухи о неудачах Кара, о том, что пугачевцы уже появились на Самарской линии и подступают у Бузулукской крепости⁸.

Наконец губернатор фон Брант возвратился из поездки.

Многочисленные шпионы, разосланные Брантом по дорогам, доносили ему о том, что крестьянское население про его поездку в один голос говорит:

– Губернатор к батюшке-царю на поклон ездил, там присягу принимал и поклялся, что, коль скоро государь прибудет брать Казань, губернатор с владыкой Вениамином встречь ему выйдут с хлебом-солью.

– Глупый народ, глупые мужики, глупые и подлые! – возмущался Брант. – Значит, они считают меня изменником и тайным слугой плута Емельки?.. О Боже мой! Этого только не доставало.

Следом за Брантом явился в Казань, как снег на голову, и расхворавшийся генерал Кар.

Когда в городе об этом узналось, купечество, зажиточная часть горожан и многочисленные, страха ради съехавшиеся сюда помещики пришли в немалое смятение: значит, плохо дело, значит, самозванец Пугачев силен, раз петербургский вояка-генерал не смог устоять противу него. Среди же бедноты шли скрытые и довольно своеобразные суждения, точь-в-точь повторявшие слова покинутых Каром солдат:

– Видали, мирянушки, куда дело-то повертывается? Стало быть, Кар-генерал уверовал в батюшку, что он доподлинный, а не подставленный, и не похотел воевать с ним, больным прикинулся.

И уже стали шляться по кабакам, по базарам разные пройдохи, стали разглашать всякую небылицу, охотно принимаемую народом за сущую правду.

Здоровецкий отставной солдат с деревянной ногой и беспальными, помороженными в пьяном состоянии руками, сидя с нищими у соборной паперти, таинственным шепотом бубнил:

⁸ Невдалеке от Бугульмы.

– Вот государь-то ампирактор и вопрошает нашего губернатора: «Ну, Яков Ларивоныч Брант, ответствуй, кому желаешь служить: мне ли, царю законному, алибо Катерине?» А наш губернатор на коленях стоит, в грудь себя колотит, отвечает: «Ах, ваше величество, я хоша и сам немецких кровей, только нет у меня хотенья Катке служить. Раз вы объявиться соизволили, я вам верой-правдой служить постараюсь». А царь-то и говорит ему: «Вот и молодец, – говорит, – ты, Яков Ларивоныч Брант! Служи, служи!... Я знаю, как Катерина приплывала к вам Волгой, ей встреча была богатимая, так уж ты, Яков Ларивоныч, когда я в Казань стану входить, уж и меня ты встреть поприглядней». – «Встречу, батюшка Петр Федорыч, встречу... Только дозвоьте вашего ампиракторского совета, как мне голову свою сберечь от царствующей Катерины?» – «А вот как, – отвечает государь. – Ты манифесты-то обо мне Каткины вычитывай, что я, мол, беглый казачишка Пугачев, а сам народу-то тихонько нашептывай, что я, мол, царь истинный Петр Третий, ампирактор...»

– Откудов, кисла шерсть, знаешь все это? – забросали нищие старого вряля вопросами.

Таких врялей хватили, били плетьюми, сажали в тюрьмы, но чем усердней хватили, тем больше и больше их появлялось. Ими кишели дороги, деревни, города, они были неистребимы, как запечные тараканы.

Даже можно сказать так: в смутное, легковверное это время почти каждый был сам себе вряль, потому что всякий бедняк, бесправный и поруганный, превращался в мечта-теля-соблазнителя, каждый мыслил, что вот-вот придет наконец пора-времечко, когда будет земля, воля и всяческие послабления.

Вскоре прибыли в Казань и посланные из Петербурга «черкесы» – Перфильев с Герасимовым.

– Ну, что ж... Дело ваше для отечества отменное, – сказал, выслушав их, губернатор. – Отдохните да поезжайте с Богом к своему коменданту Симонову.

2

При свидании Кар сообщил Бранту о неудачных стычках с пугачевцами, о причинах этих неудач, затем стал жаловаться на свою застарелую болезнь: во всех костях снова появился нестерпимый «лом», а в теле лихорадка и трясение. И когда он, Кар, стал терять последние силы, то решил спасти как свою жизнь, так и безнадежное положение на фронте.

Губернатор Брант, раздраженный речами неудачника, с болью в сердце рассматривал вспухшие склеротические вены на своих старческих руках (следствие понесенных им за последнее время забот и неприятностей) и, укоризненно поглядывая на взволнованного Кара, то и дело повторял:

– А мы-то надеялись... А мы-то уповали на вас. И вот что вышло... Конфуз, неизгладимый конфуз!

– Но вы понимаете, дражайший Яков Илларионович, – оправдывал себя Кар, – без больших кавалерийских сил и без хороших пушек там и делать нечего: враг искусен, силен и весь на конях. Я-то боевой генерал, я-то смотрю на вещи трезво. А Захар Григорьевич Чернышев...

– Граф Чернышев тоже самый боевой генерал, – возразил мягкий по своей натуре старый Брант и, притворяясь строгим, сердито пожевал губами. – Первостепенный генерал. Герой!

– Да, да... Но Чернышев, да и все там в Питере самого превратного мнения о мятеже. Вот я и собрался в Петербург, я все приведу в ясность. И ежели моим словам не будет оказано достодожного доверия, ласкаю себя смелостью дерзнуть обратиться к самой императрице. Надо спасти Россию, Яков Илларионович!

– Надо спасать Россию, надо спасать дворян! – подхватил Брант и, нащупав пульс, стал незаметно считать удары сердца. – Вся моя губерния встревожена, – продолжал он чуть погодя, – я уже не говорю об Оренбургском крае – помещики бросают свои поместья и бегут кто куда, крестьяне, оставшись без надежного обуздания, бесчинствуют, жгут поместья, режут скот, что творится... Бог мой! Но у меня нет воинских команд, чтоб приводить чернь к повиновению, чтоб карать мятежников, чтоб охранять священную собственность дворянства... И вы верно изволили молвить: Россию спасать надо!

– Надо, надо, Яков Илларионович!.. И аттестуйте мне какого-либо искусного лекаря.

Пульс у Бранта сто пять в минуту. Брант сразу упал духом, извинился, разболтал в рюмке воды успокоительные капли, выпил и сказал, обращаясь к Кару:

– Навряд ли вы найдете в Казани доброго эскулапа... Плохие здесь лекаря. Вот и я – пью, пью всякую аптеку, а облегченья нет.

Пробыв в Казани двое суток, болящий Кар двинулся в Москву, предварительно послав графу Чернышеву частное письмо, в котором между прочим сообщал: «Несчастье мое со всех сторон меня преследует, и вместо того, что я намерен был для переговору с вашим сиятельством осмелиться выехать в С.-Петербург, подхватил меня во всех костях нестерпимый лом, и, будучи в чрезвычайной слабости, принужден был поручить корпус генералу Фрейману, отъехать на излечение в Казань, где по осмотре лекарском открылась, к несчастью моему, еще фистула, которую без операции никак излечить не можно. По неимению же здесь нужных лекарств и искусных медиков решился для произведения сей операции ехать в Москву, уповая на милость вашего сиятельства...»

Еще в начале ноября Екатерина повелела архиепископу казанскому Вениамину составить увещание к верующим по поводу «богомерзкой смуты». Вениамин поручил это сделать архимандриту Спасского монастыря Платону Любарскому. Увещание было своевременно оглашено по всей Казанской епархии. После же отъезда Кара в Москву, когда по Казани стали ходить неблагоприятные по отношению правительства пересуды, Вениамин приказал снова огласить пастве свое послание.

«Твердитесь разумом, – писал он, – бодрствуйте в вере, стойте непоколебимо в присяге, яко и смертию запечатлети вам любовь и покорение к высочайшей власти».

Он между прочим в своем послании говорил, что Петр Третий, чьим именем назвал себя Пугачев, действительно умер и погребен в Александро-Невском монастыре, что тело его стояло в тех самых покоях, где жил Вениамин, и что на его глазах приходили вельможи и простолюдины, дабы поклониться праху почившего. Вениамин свидетельствует, что тело Петра Третьего перенесено при стечении народа из его архиерейских покоев в церковь, там отпето и самим Вениамином «запечатлено земною перстью», то есть предано земле.

Но простой народ уже не верил ни царицыным манифестам, ни непреложному свидетельству своего архипастыря, народ брал под подозрение все слова, все действия правительства и церкви. Униженные люди, раз почувствовав в себе некую, хотя бы призрачную, душевную дерзость и свободу, слепо верили только манифестам живого царя-батюшки, невесть как залетающим в их родную Казань.

Дорога была гладко укатана, под полозьями скрипело. Кар с адъютантом и лекарем ехали в Москву на четверне.

В тридцати верстах от древней столицы болящий Кар был задержан. Курьер в офицерском чине вручил ему предписание графа Захара Чернышева.

Ну, разве не досада, не пощечина, не кровная обида: перед самой Москвой, в преддверии того, к чему так настойчиво стремился Кар, читать подобные оскорбительные строки:

«А буде уже в пути сюда находитесь, то где бы вы сие письмо не получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Кар лежал больной в избе зажиточного торговца-крестьянина. Он молча перечел бумагу дважды. Веки его подрагивали, волосы на запавших висках топорщились. Приподняв голову, он оправил слабой рукой подушку и сказал гонцу-офицеру:

– Передайте графу Чернышеву, что его приказания вернуться к корпусу, в силу своей болезни, я исполнить не могу. Коль скоро я поправлю в Москве свое здоровье, то буду ласкать себя надеждой видеть его сиятельство лично.

И, отдохнув, Кар к вечеру был уже в Москве.

Хотя по распоряжению главнокомандующего Москвы, князя Волконского, пребывание Кара в первопрестольной от всех скрывалось, однако, как это нередко случается, чем тщательнее правительство охраняет от народа какую-то тайну, тем скорее народ эту тайну узнает, – и весть о возвращении Кара из-под Оренбурга быстро облетела всю Москву.

Если появление Кара в Казани имело там нелестную для правительства «эху», то в Москве разные досужие кривотолки, а наравне с ними самая жестокая критика поведения Кара и нераспорядительности Петербурга приняли столь недозволенные масштабы, что Екатерина, проведав о них, рекомендовала Волконскому вновь опубликовать старые сенатские указы о болтунах. Дворяне и зажиточные круги говорили о Каре:

– Это не генерал, а баба – не мог с бездельниками совладать, сбежал. Под суд его!

Подливали масла в огонь и приехавшие из Казани беглецы помещики, разнося повсюду самые тревожные известия.

Москва в своих низах далеко не была спокойна: отголоски недавнего чумного бунта⁹ все еще ходили по городу. О любопытных делах под Оренбургом, о грозном Пугачеве, о волнениях в Башкирии знал всякий. Изустные вести о мятеже долетели до Москвы скорее, чем писанные бумажки губернаторов.

Московские простые люди, проведав о приезде Кара, в трактирах, в банях, по базарам, а раскольники – в моленных с осторожностью передавали друг другу:

– Пугачев всыпал генералу-то... во как! Говори, где чешется... Только сумнительство берет, чтобы простой казак мог генерала с войсками покорить... Ой, не Пугачев это, не бродяга... Врут манифесты, истину от народушка сокрыть хотят... Сам Петр Федорыч это – не Пугачев...

Обер-полицмейстер Архаров хотя имел всюду свои глаза и уши, но сыщики либо не там, где надо, выслеживали болтунов, либо эти болтуны, за версту чуя врагов своих, прикидывались патриотами. Обер-полицмейстер, получавший от сыщиков утешительные сведения, вводил князя Волконского в заблуждение, докладывая ему, что на Москве «все обстоит благополучно». А князь Волконский, немало постаравшийся в деле возведения Екатерины на престол, в свою очередь обманывал свою обожаемую благодетельницу, письменно сообщая ей: «Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо и смирно и врак гораздо меньше стало. Только один большой, вашему величеству известный, болтун вздор болтает, не разбирая при ком, но при всех. А другие перебалтывают».

3

Большой болтун этот был не кто иной, как граф Петр Иванович Панин, давнишний «персональный оскорбитель» Екатерины. Крепкий духом и неподкупной честности вельможа, он стоял, как на поляне дуб, в стороне от придворных всяческих интриг. Упиваясь своим, может быть, призрачным величием и в то же время считая себя обойденным в заслуженных им наградах и милостях, он в озлоблении своем давал полную волю языку, отравляя желчью своих слов покой многих царедворцев и в первую голову покой самой императрицы.

⁹ В 1771 году. – В. III.

После геройского взятия грозной крепости Бендер (где им был награжден за храбрость казак Емельян Пугачев званием «значкового товарища», или хорунжего) Панин никакого особого отличия не получил и, обиженный невниманием к нему императрицы, подал в отставку. Подозрительная и лицеприязненная Екатерина сочла поступок Панина демонстративным, разгневалась на него, и генерал Петр Панин попал, таким образом, в опалу.

В своем подмосковном имении Михайловке Панин задумал соорудить миниатюрную копию Бендер с гранитными стенами, воротами, бойницами и башней.

В нем, очевидно, теплились стремления к славе, неистребимая тоска по бессмертию. Показывая близким приятелям игрушечную крепость, он с солдатской грубостью и обычной дозой перца говорил:

– Мне памятника за мои государственные заслуги Катюша не поставит, я, как говорится, рылом не вышел и профиля античного лишен природой, так вот я сам себе поставил памятник. Вот он! – И Панин, встав в картинную позу, воинственно простирал руку к копии покоренных им Бендер.

Льстя его слабости повеличаться, гости делали ласкательные лица и наперебой говорили ему:

– Ну, конечно, Петр Иванович, ты достоин и не этакого памятника. Тебя вся Россия чтит за геройство твое.

– Эка хватили! Никто меня не чтит. Разве что солдаты, со мной бывшие. А Катерина... Ох уж эта Катерина!.. Она, кроме себя да своих друзей, никого не чтит. А впрочем сказать, и эфтого нет. Она друзей сердца поглощает и выплевывает в меру аппетита, как разбогатевший, обожравшийся откупщик из мужиков. Ему подавай то истинно русскую, то польскую, то французскую стряпню. Точка в точку и ее, нашу всемилостивую матушку, бросает от тертой редьки к шампанскому, от шампанского к гречневой каше с коровьим маслом, от каши к малороссийской колбасе. Синяя борода или Гарун аль-Рашид в сарафане. Ха!

Обескураженные гости, пугливо посматривая то в суровое с перекосившимся ртом лицо Панина, то друг на друга, смущенно покашливали и предавались короткому таящемуся смеху.

– Она покровительствует только тем, кто ей угождает да шлейфы ее пыльные целует, – желчно продолжал Панин, вышагивая с гостями по аллеям английского парка. – Эвота самое доверенное лицо нашего московского сатрапа по чрезвычайному секрету передало мне, быдто бы этот самый сатрап Мишка Волконский в своих цыдулях к всемилостивой матушке льстивые немецкие стишонки преподносит ей. Смысл оных таков: «Если хорошо нашей государыне, то все идет как по маслу, а ежели все идет как по маслу, то всем нам хорошо!» Ха! Как бы да не так... Ох и хитрец эфтой князюшка, друг-приятель Орловых!.. Петр Дмитрич! – обратился он к генерал-поручику Еропкину, положившему много труда в борьбе с чумой в Москве. – Ты помнишь, как наше просвещенное, ха-ха, правительство дедушку Салтыкова, прославленного русского фельдмаршала, хоронило?

– Ну как же, Петр Иванович, помню. Подобную пощечину памяти героя забыть не можно, – с готовностью ответил Еропкин.

И Панин снова и снова пересказывал приятелям скандальный эпизод похорон в прошлом году престарелого фельдмаршала Салтыкова, жившего в своем подмосковном Марфине. Покойный считался при дворе в опале, поэтому московские власти с князем Волконским во главе, желая подольститься к императрице, решили не устраивать почившему фельдмаршалу торжественных похорон. Уязвленный Петр Панин, воспользовавшись этим, не устрасился сделать резкий вызов императрице, царедворцам и правительству. Он тотчас направился с собственным из крепостных крестьян эскадроном гусар в Марфино, с обнаженной шпагой стал у гроба и громко объявил: «Я, генерал Петр Панин, буду стоять, как

солдат на часах, при гробе фельдмаршала до тех пор, пока не пришлют почетный караул мне на смену».

Так этот опальный вельможа, обитавший совершенно обособленно в своей вотчине, как маленький царек, продолжал наживать себе опасных врагов и вызывать в Екатерине приступы желчи.

От своих выходов он и сам немало пострадал, и у него тоже подчас вспухала печень. Появление же в Москве незадачливого Кара снова бросило его в желчную веселость. Панин лично знал Кара, считал его хорошим дипломатом, когда-то состоявшим в Польше при князе Радзивилле, неплохим военным генералом и человеком твердого характера. Может быть, только потому, что высокое общественное мнение всей Москвы было против Кара, граф Панин принял его под свою защиту.

– Я знаю, с какими силами был отправлен Кар против Пугачева, – слегка подвыпив за приятельской трапезой, крикливо высказывался Панин. – Две роты, две пушки да тысяча старых колченогих солдат в лаптях... Ха! Пускай-ка с эфтаким корпусом попробует Захарка Чернышев супротив самозванца выступить! Нет, братцы, Военная коллегия... Раз дали самозванцу большую силу забрать, так уж он таперича задешево жизнь свою не продаст... Не-ет-с, дудки! Это тебе, всемилостивейшая государыня, не твой супруг Петр Федорыч, которого ты с таким проворством... упразднила. Ха! Я солдат, я правду говорю!

Возражать Панину было рискованно. Гости смущались, до боли прикусывали губы, чтобы не рассмеяться над острословием хозяина. Однако все же раздался чей-то голос в порицание Кара: генерал виноват, мол, в том, что самовольно бросил свой корпус на произвол судьбы.

– Не на произвол судьбы. Кар передал командование Фрейману, настоящему боевому генералу, – с горячностью возразил Панин. – А что же, по-вашему, Кар в репортничках своих должен был доказывать, что Захарка Чернышев дурак? Вот он и приехал лично доложить ему об этом. Прав Кар, сто раз прав! А Чернышев, может, и не такой уж дурак, только сдается мне, что он ныне не тем местом думает, тамошних условий не знает, силы противника недооценивает. Он не понимает, что у Пугачева отчаянные казаки, поставившие башки свои на карту, да вдобавок превосходная башкирская конница. А у Кара что? Да туды надо полки двинуть, целую армию!..

А приехавшему к нему погостить брату, Никите Ивановичу Панину, он с глазу на глаз сетовал:

– Ну вот, ну вот... Если бы не Катя, а Павел Петрович на царстве-то сидел, тогда и самозванцы не посмели бы появляться. У нас царь в юбке, баба! А вот теперь царь в казацких шароварах пришел, Петр Федорыч, Емелька... И еще неизвестно, куды его кривая вывезет. Провороним, так народ и завопит, чего доброго: довольно нам баб, давай нам царя с бородой!

И, как бы спохватившись и вспомнив, что он граф, богач и вельможа, сверкая глазами, добавил:

– Впрочем, говорю тебе, Никита, как брату старшему. Хотя матушку и не люблю, но, ежели государству учнёт угрожать опасность, сам на защиту порядка и дворянских родов готов буду встать. И встану!

Многое из того, что говорил в самом тесном кружке Петр Панин, какими-то неведомыми путями – будто стены подслушивали – долетело до сведения царицы. Обозленная выходками своего «персонального оскорбителя», Екатерина вновь и вновь писала князю Волконскому: «Петр Панин, живучи в деревне, весьма дерзко врет, и для того пошлите туда кого-нибудь надежного выслушать его речей... и дайте мне наискорей узнать, чтоб я могла унять мне непокорных людей... Я здесь кое-кому внушала, чтобы до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его усмирить наконец».

Но бывают обстоятельства, когда сегодня сказанное слово назавтра уже звучит абсурдом: Петр Панин, которого императрица грозила усмирять, вскоре будет ею же призван на усмирение Емельяна Пугачева. Это случится в то время, когда затрясутся основы империи, когда «казанская помещица», как впоследствии кокетливо нарекла себя Екатерина, и «московский барин», почувствовав опасность для трона, а стало быть, и для сословных интересов правящего класса, – два непримиримых врага – миролюбиво протянут друг другу руки. И тогда-то, в самом финале событий, осуществится заветная мечта Петра Панина: он обесмертит для потомков свое имя, он впишет его на страницы истории кровью побежденного народа.

4

Екатерина только что вернулась из Царского Села, куда выезжала с Григорием Орловым на тетеревиную охоту. Поездка, длившаяся двенадцать дней, была не особенно удачна. Во-первых, князь Орлов, навсегда потерявший в ее лице любимую женщину, был, так сказать, не в своей тарелке: он позволял себе дерзить Екатерине или, наоборот, падал к ее ногам и умолял восстановить невозвратно утраченное между ними счастье. Во-вторых, в покоях Екатерины было не особенно тепло и дымили печи. В-третьих, и сама охота, кроме чрезмерно льстивых услуг егерей и свиты, не могла принести ей радости. Так, на охоте в Баболовском парке Екатерина дала всего пять выстрелов, из коих три, по ее предположению, она наверняка промазала, а между тем как доказательство ее удачной стрельбы ей преподнесли шесть убитых тетеревей.

– Но я ведь всего пять раз выстрелила...

– Это ничего не означает, ваше величество. С одного выстрела вы, государыня, срезали сразу двух сидевших на березе тетеревей. Это-то удивительно! – с жаром тряс головой и жирными щеками Лев Нарышкин. – С вашим величеством могла бы соперничать лишь одна богиня Диана.

Екатерина, изумленная таким лганьем, взглянула на льстеца с укором, на ее глаза даже навернулись слезы.

Вызванный из деревни Бибикив сидел в кабинете Екатерины как на иголках. За его смелые суждения Екатерина стала относиться к нему с некоторой холодностью, и вот – он вызван ко двору. К чему бы это?

– И чтоб на глаза ко мне не дерзнул показываться! – крикливо говорила Екатерина расстроенному графу Чернышеву, собиравшему со стола подписанные государыней бумаги. Когда Екатерина давала важные распоряжения или кого-либо распекала, голос ее был властный, отрывистый. – Он, этот горе-генерал Кар, черт его возьми, не поправил дело, а напортил! Что скажут иностранные при нашем дворе послы? Какую эху будет иметь за границей его мерзкий поступок? Это ты мне подсунул его, Захар Григорьевич, вот теперь и выкручивайся.

– Государыня, вы же сами изволили знать, – оправдывался Чернышев, – что все опытные генералы на войне.

– А вот опытный генерал! – воскликнула Екатерина, показав глазами на Бибикова, у которого сразу вытянулось лицо и стало замирать сердце. «Ой, пошлют меня кашу расхлебывать!» – с горечью подумал он. – Болен? Но у тебя есть лекарь, лечись на месте, – продолжала нервно выкрикивать императрица, пристукивая табакеркой о стол. – Мало войска у тебя? Но дождись, пришем... А чтоб с позором сбежать... И в такое время... Он забыл долг перед отечеством, забыл присягу и, замест подвига, замест усердия и мужества, позорно, без разрешения, ретировался. Нет, это свыше моих сил! Трусы мне не нужны! Больные, ослабленные – тоже! Подобные мизерабли получать жалованье не имеют права. А посему,

любезный граф, изволь заготовить мой указ Военной коллегии, чтоб Кара немедля уволить и дать апшид. Ну, а какие полки ты намерен послать против этой зловредной толпы каналовей?

– Сей вопрос еще не решался, – пожал плечами Чернышев.

– Пошли-ка князю Волконскому полк из Ладogi, а то Москва сидит без военных людей вовсе. А Бранту пошли немедля особую цедулу, дабы он взял все предосторожности к охранению нашей Казанской губернии от заразы. Ну, прощай! И я тобой тоже не есть довольна, Захар Григорыич. Ты с небрежением и вяло действуешь.

Чернышев выслушивал речь императрицы потупившись и стоя. Затем поцеловал протянутую ею руку и ушел.

– Александр Ильич, голубчик, – обратилась она к Бибикову. – Ну вот, если бы ты был на месте Кара да, Боже упаси, захворал?..

– Я всему прочему предпочел бы смерть на посту, государыня! (Впоследствии, в далекой Бугульме, Бибилов с содроганием сердца вспоминал эту фразу.)

– Да, да, – прорекла Екатерина. – Тако думают и так ответственуют своим государям истинные, со светлой головой, государственные мужи. – И, помолчав, как бы давая время подготовиться к ответу, она сказала: – Голубчик, Александр Ильич, я на вас имею виды. (Сидевший против Екатерины Бибилов опустил сложенные на груди руки и нервно шевельнулся в кресле.) Вы пока поезжайте исправить свои семейные дела, а после я вас покличу. (Бибилов встал, и выразительные глаза его округлились.) Не инако, как тебе доведется туда скакать и маленько перевидаваться с маркизом Пугачевым. Как ты полагаешь? – снова перейдя на интимное «ты», закончила Екатерина и с выжидательной улыбкой заглянула ему в лицо.

– Ваше желание для меня закон, его же не преидеши... Смею ли я возражать, государыня.

– Очень смеешь, очень смеешь... Я тебя люблю, Александр Ильич, и пожалуйста, возражай!

– Нет, государыня... Хотя и горько мне, что я иным часом уподобляюсь сарафану...

– Что сие значит? – продолжая улыбаться, с нетерпеливым, чисто женским любопытством воскликнула Екатерина. – Я не понимаю твой иносказательный намек... Будь друг, поясни.

– Ваше величество, – поднял брови Бибилов, – да нешто вы забыли песенку?

Шесть лет тому назад, когда императрица путешествовала в Казань, Бибилов был в ее свите на галере «Волга». Екатерина держала себя со всеми, в особенности с Бибиловым, необычайно просто, поэтому он сейчас и позволил себе по отношению к императрице некоторую фривольность.

– Так вот, не казните меня, а выслушайте, песенка старинная... – Он подшибился рукой и негромко, но с ужимками запел фальцетом, подражая певуньям-бабам:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригождаешься;
А не надо, сарафан, – ты под лавкой валяешься.

В широкой улыбке Екатерина обнажила белые ровные зубы и, милостиво взглянув на Бибилова, сказала со снисходительной благосклонностью:

– Шутник... Ах, какой шутник вы, ваше высокопревосходительство! И понапрасну вы объявляете себя за сарафан. Вы не есть сарафан, вы – господин генерал-аншеф, кавалер высокого ордена святого Александра Невского. Очень сожалею, мой друг, что я чересчур

плохая Габриельша¹⁰, а то я не преминула бы составить с тобою дуэт. Ты хорошо поешь. Ну, подойди сюда, Александр Ильич, голубчик.

Бибиков, склонив голову, уже целовал Екатерине руку, она слегка обняла его за шею и поцеловала в гладкий выпуклый лоб.

Проезжая в санях по снежным улицам столицы, Бибиков окидывал мысленным взором служебные этапы своей жизни. Ему только сорок четыре года, а он уже генерал-аншеф. Екатерина высоко ценила в нем просвещенного человека и талантливого политического деятеля.

«Но почему же, почему жребий борьбы с мятежником пал на меня? Ну право же, не по душе мне это дело... А как откажешься? Я человек, прямо сказать, бедный, у меня семья, долги, в опалу попасть резону нет. Ну конечно же, я – сарафан: валялся под лавкой, а нынче в надобность пришел... А ничего не попишешь... И с кем воевать? С каким-то чумазым казаком, да с башкирцами, да со своим народом... Со своим собственным!»

Об осаде Уфы толпами мятежников стало известно не только простому люду, но в этот раз даже и правительству.

Заместитель Кара, генерал Фрейман, донес об этом в Военную коллегию. Подробностей в рапорте не было, да их никто и не знал, кроме Емельяна Пугачева.

События под Уфой разворачивались так. Толпа башкирцев около пятисот человек под начальством самозванного полковника из башкир Кашкина-Самарова и уфимского казака Губанова 24 ноября заняла селение Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, а также и другие ближайшие к городу селения. Уфа была совершенно отрезана. В толпу ежедневно прибывали с разных сторон татары, помещичьи, государственные и экономические крестьяне. Через неделю в толпе было уже более тысячи человек.

Вскоре к городу подъехала группа башкирцев, они кричали с утра до полудня:

– Э-ге-гей!.. Давай языка сюда, давай начальства, мало-мало балакать будем... Э-ге-гей!

Из города выехал майор Пекарский и два чиновника.

– Сдавай нам город! – говорили им башкирцы. – Выдавай коменданта Мясоедова да воеводу Борисова.

– Отправляйтесь, изменники, по домам, – говорил им Пекарский. – Иначе мы всех вас побьем из пушек. Государыня сюда целую армию выслала, солдаты с генералами уже подходят к Волге.

– Врешь, собак кудой! У нас нет государыни, у нас есть бачка-царр...

Комендант, полковник Мясоедов, стал приводить Уфу в боевое положение. Вокруг города были установлены ночные разъезды, в которые назначались и служащие учреждений, сформированы боевые дружины, жителям розданы ружья и порох.

Большая толпа вооруженных луками и копьями башкирцев, сделавшая приступ со стороны села Богородского, была отогнана уфимскими казаками и посаженными на коней жителями. Башкирцы понесли большой урон. Их главари принуждены были обратиться к Пугачеву за помощью.

5

28 ноября состоялось большое собрание Государственного совета для обсуждения военных дел в присутствии императрицы.

– Какие полки вы намерены, граф, двинуть на место мятежа? – обратилась Екатерина к президенту Военной коллегии Захару Чернышеву. За креслом императрицы стоял навывтяжку дежурный при ее особе граф Строганов, чуть дальше – два розовощеких пажа.

¹⁰ Итальянская певица Габриэль, служившая в придворном театре в Петербурге. – В. III.

– Вчерась в ночь, – начал, подымаясь из-за стола, Чернышев, – мною отправлены, ваше величество, курьеры с приказами как можно скорей выступать в поход: Изюмскому гусарскому из Ораниенбаума, второму гренадерскому – из Нарвы и пехотному Владимирскому – из Шлиссельбурга. Всем полкам следовать в Казань трактом через Москву. Опричь того, выслано из Петербурга в Казань шесть пушек с прислугой и снарядами.

– Я держу описание, что войска наши будут поспешать слишком нескоро, а несчастный Оренбург долго упорствовать этим канальям не сможет, там недостача хлеба, жителям угрожает бедствие. Надо сию экспедицию как можно форсировать.

– Ваше величество! – воскликнул Чернышев. – Полки, посаженные на почтовые и обывательские подводы, придут на место не позже как через два месяца. Также могу поручиться за то, что Рейнсдорп будет держаться в крепости до последней капли крайности. В том головой ручаюсь!

– Вы, ваше сиятельство, поостерегитесь столь часто закладывать вашу голову, – выразительно прищурилась на него императрица. И ему сделалось неловко, он стал краснеть, кусать губы.

Екатерина вела заседание очень нервно, смута на востоке угнетала ее.

– Вы, помнится, еще так недавно клялись головой, что Пугачева можно прихлопнуть, как комара, с теми силами, кои у Чичерина, Деколонга и Рейнсдорпа. И что войск новых туда не след высылать... Да так и не выслали!

Чернышев хотел было возразить: он-де выслал туда несколько рот и четыре пушки, но, зная, что вступать в пререканья с императрицей в минуты ее раздражения опасно, в обиду прикусил язык.

– Впрочем, ты отослал туда две роты... Но... Но от твоей столь щедрой посылки только курам смешно... или, как это говорится? – продолжала, заметно волнуясь, Екатерина. – Попробуй-ка сам повоюй с двумя ротами, не желаешь ли, граф, туда прогуляться? – Она бросала на сановников косые взгляды, ее оголенные матово-белые плечи нервно передергивались.

Весь генералитет сидел как в рот воды набрал, уткнув носы в бумаги. Только князь Вяземский¹¹ преданными глазами, со лстивым бессмыслием взирал на императрицу.

– Я позволю себе спросить вас, господа сановники, – снова зазвучал голос Екатерины; она вынула из бисерной сумочки раздушенный носовой платок, зал наполнился благоуханием. Юный черноволосый паж сладострастно потянул ноздрями воздух, ему вдруг захотелось чихнуть, со страху он обомлел, крепко-накрепко закусил губу и весь содрогнулся. Его товарищ скосил на него озорные глаза. Граф Строганов повел в их сторону прихмуренной бровью. – Я спрашиваю вас, господа, как быть? – вскинула императрица голову. – Поскольку Оренбург заперт, вся губерния остается без управления. Не направить ли туда второго гражданского губернатора?

– Я полагал бы, матушка, – заметил негромко князь Григорий Орлов, – все управление краем поручить Бибикову.

– Я склонен поддержать эту идею, – откликнулся Олсуфьев, – ибо все тамошние места заражены ныне возмущением и не могут без воинской помощи управляемыми быть.

– Против сказать ничего не нахожу, – проговорила Екатерина. – Прошу пригласить генерал-аншефа Бибикова.

Внешне бодрый, жизнерадостный, но очень бледный, с александровской через плечо лентой, вошел Бибиков, поклонился, занял указанное ему императрицей кресло.

За окнами дворца бушевала вьюга. Снежные космы, как беглый пламень, плескались по зеркальным стеклам. В зале сумеречно, хотя был полдень. Ливрейные слуги запалили

¹¹ Генерал-прокурор Сената. – В. III.

горючие нити, которые вились от светильни к светильне всех ста пятидесяти свечей, и обе люстры вспыхнули, как рождественские елки. На длинном столе заседания зажгли кенкеты – фарфоровые масляные лампы. Четыре лакея в белейших перчатках подали государыне и всем присутствующим горячий чай в расписных гарднеровских чашках. Екатерине прислуживал сам граф Строганов.

В огромном зале было довольно свежо. Императрица поеживалась, зябко передергивая плечами, дважды кашлянула в раздушенный платочек. Григорий Орлов сорвался с места и ловко накинул на ее плечи пелерину из пышных якутских соболей.

Екатерина посмотрела по-холодному на князя Вяземского, что не распорядился как следует протопить печи, сказала Орлову: «Мерси» – и потянулась к горячему чаю. Вяземский понял недовольство императрицы. Перестав преданно улыбаться, он пальцем подманил мордастого лакея, что-то сердито шепнул ему и, поджав сухие губы, незаметно лягнул его каблуком в ногу. Тотчас запылали два огромных камина.

– Разрешите, ваше величество, – сказал Вяземский, приподнявшись и щелкнув каблучками.

Екатерина, у которой рот был занят вкусным печеньем, кивнула головой.

Один из секретарей с благородным лицом и осанкой, стоя возле своего пюпитра, звучным баритоном стал читать проект манифеста по поводу разгоревшегося мятежа. Екатерина послала через стол Бибикову записку: «Прошу слушать внимательно».

Когда чтец дошел до места, где Пугачев уподоблялся Гришке Отрепьеву, граф Чернышев попросил, с разрешения Екатерины, еще раз повторить этот текст.

«Содрогает дух наш от воспоминаний времен Годуновых и Отрепьевых, посетивших Россию бедствиями гражданского междоусобия... когда от явления самозванца Гришки-расстриги и других ему последовавших обманщиков города и сёла и огнем, и мечом истребляемы, кровь россиян от россиян же потоками проливаема...» и т. д.

– Разрешите, великая государыня, – поднялся Чернышев, знаком остановив чтение. – Нам с князем Григорием кажется, что никак не можно уподоблять сии два события – возмущение древнее и бунт современный Пугачева.

– Ведь в те поры, матушка, – подхватил с места князь Орлов, – все государство в смятение пришло, вкуче с боярством, а ныне одна только чернь, да и то в одном месте. Да такое сравнение разбойника Пугачева с ложным Димитрием хоть кому в глаза бросится, оно и самих мятежников возгордит.

– Мне пришло в идею сделать подобное сравнение, – сказала Екатерина, – только с тем намерением, чтобы вызвать в народе самое большое омерзение к Пугачеву. Я еще раз готова над сим местом призадуматься и, ежели сочту нужным, допущу перифраз.

За сим была оглашена инструкция Бибикову, по смыслу которой он посылался в непокойный край полновластным диктатором. Бибикову давался открытый указ, по которому ему подчинялись все краевые власти: военные, гражданские, духовные.

Бибиков слушал весь этот словесный шум, низко опустив голову.

Повестка заседания исчерпана. Екатерина уже стала собирать в бисерный мешочек свои вещи: табакерку, лорнет, носовой платок, бонбоньерку с шоколадными конфетами, а также неуместно подsunутую ей печальным Орловым записочку: «О богиня!» Но в это время поднялся генерал-прокурор князь Вяземский и обратился к государыне:

– Дозвольте, ваше величество... Последний вопрос, который, по внешним знатным опасностям, я считаю зело важным и отлагательства не терпящим. Осмелюсь, ваше величество, свою мысль сказать: не было бы бесполезно, если бы назначить знаменитую сумму денег в награду и прощение сообщникам, кои бы его, Пугачева, выдали живого, или б, по

крайности, мертвого. Казалось бы, что из тех плутов могли таковые найтись. А мог бы и таковой к злодею предаться, чтобы, войдя к нему в услугу, его убил или, подговоря других, выдал. И оному удачнику надлежало бы от казны коликую выдать награду.

– Но ведь туда для сей цели уже направлены два казака – Порфиоров и Грачев, кажется, – сказала Екатерина, перенеся взор свой на Вяземского.

– Перфильев и Герасимов, матушка, – поправил ее князь Орлов.

– Это сделано без моего ведома, – поднявшись, бросил с обидой в голосе граф Чернышев и сел.

– Это сделано при моем ближайшем участии, – встал Вяземский и снова сел.

– Сих шельмецов мой брат Алексей послал, – проговорил Орлов, – только, чаю я, из этого ни синь-пороха не приключится.

– А может, приключится... – холодно возразила ему Екатерина. – Однако же, Александр Алексеевич, голубчик, – обратилась она к Вяземскому, – тебе в пору знать, что государю невместно заниматься поощрением убийства. А посему я согласна назначить награду только за живого...

«Чтоб потом живому оттяпать голову», – мелькнуло у князя Орлова, сумрачно брови насупившего.

Екатерина поднялась, и все вскочили, кроме старика Олсуфьева, одержимого подагрой. Опираясь на две палки, кряхтя и выгорбив сутулую спину, он еще долго бы корячился, если б его не подхватили под мышки два лакея, похожих на заморских послов.

Екатерину окружила свита. Одарив всех рассеянной улыбкой, она быстро направилась к выходу.

Глава VIII

Митька Лысов «окаянствует». Перфильев двинулся в Берду. Гавриил Романович Державин. Депутаты

1

В Петербурге и на том конце света – в Берде с одинаковой силой свирепствовала вьюга.

В столице заседание Государственного военного совета кончилось, а в Берде в это самое время открыла свои занятия Войсковая канцелярия. Прищуривая то правый, то левый глаз и прищелкивая языком, Пугачев с особым вниманием слушал прибывших из Уфы гонцов.

Гонцы – башкирец, русский и татарин, – не торопясь, рассказывали, как было под Уфой и почему склонившиеся на верную службу великому государю терпят неудачу.

– Для того мы и просим вашего царского милосердия: в нашу сторону прислать войско и мало-мальски пушек. А то ваших супротивников нам без оных сократить не с чем.

– Мне вестно стало, что в Башкирии немало коней, – заметил Пугачев, прямо не откликаясь на просьбу посланцев.

– Эге! Коней, как черной грязи, бачка! – живо подхватил башкирец. – Мы тебе целыми косяками пригонять будем. У справных хозяев отбирать будем. Эге!..

– Ахти, добро! – проговорил довольный Пугачев. – Как у меня много будет коней, я большую часть армии моей на конь посажу.

Одарив гонцов, Пугачев сказал им:

– Ну, езжайте, детушки! Будут вам пушки, будут люди, будет и главный над вами командир от меня.

Вошел, весь в снегу, офицер Андрей Горбатов, поклонился Пугачеву, сказал:

– Государь, вот казак прибыл к вам с вестями.

– Давай его, ваше благородие!

Вошел широкоплечий казак с плетью у пояса, с винтовкой за плечами и пикой в руке. Поставив пику в угол, он усердно покрестился на иконы и упал Пугачеву в ноги.

– Иван Жилкин да атаман Илья Арапов приказали тебе, батюшка, челом бить. А сам я – есаул Плешаков...

– Встань, – сказал Пугачев. – Илью Арапова знаю. Я его с полусотней казаков сам спосылал под Бузулук.

– Истина твоя, батюшка! А мы шестьдесят две четверти сухарей забрали, да сто шестьдесят кулей муки, да пороху, да на две тысячи рублей медяков.

– Стало, хорошие вести привез ты?

– Не надо лучше... Худые вести и гонцу не в радость, ваше величество.

– Ну, рассказывай, друг!

Чернобородый, еще не старый, с умными глазами казак не торопясь рассказал о том, что город Бузулук с крепостью и почти все крепости с форпостами Самарской линии взяты ополченцами отставного солдата Ивана Жилкина, а еще беглого солдата Варсонофия Перешиби-Носа¹², да полсотней казаков вышереченного Илья Арапова.

– Перешиби-Нос, Варсонофий? – неприятно удивился Пугачев и даже откинулся на кресле. – Вот те клюква!.. Как бы он, забулдыга, не тово, не этого... – Откудова взялись Жилкин да Перешиби-Нос какой-то? – ввязался в разговор Максим Шигаев; он в красной рубаше сидел на табурете, закинув ногу за ногу, засунув руки в карманы суконных штанов. – Илью Арапова с казаками, верно, мы спосылали, а эти двое – самочинцы. Их, ваше величество, надо бы вызвать да пристрастить.

– А чего же их пристращивать, – возразил Пугачев, – ежели они моим именем крепости берут? Пуцай стараются.

– Для порядку ба... – сказал Шигаев и, вынув из карманов руки, сел прямо.

– Как порядок учнут рушить, так и не токмо что вызвать, а и повесить можно. – Пугачев обратился к чернобородому гонцу: – Толкуй, казак, дале.

– А комендант Бузулукской крепости-то, фамиль Вульф¹³, еще раньше того сбежал. Как узнал он, что полковник Чернышев в плен угодил, убег со всем семейством. А тут вскорости ваш Илья Федорович Арапов с казаками прикатил в Бузулук, склады провиантские опечатал все, отобрал самолучших лошадей – и был таков. А в конце ноября и мы на двадцати санях понаехали. Жилкин с Перешиби-Носом велели вина из складов выкатить. Тут все мы, грешным делом, в гульбу пошли! Уж не брани нас, батюшка. Два попа тоже гулеванили с нами. Некий солдат-старик опился в смерть. Во! Через день опять Арапов наскочил со своими. Тогда мы, все совокупясь, побежали на конях помещичьи именья зорить. Мужиков подбивали к тебе, батюшка, иттить, а двух бурмистров – вздернули. – Казак вынул из-за пазухи бумагу, протянул Пугачеву, сказал: – Это вот от атамана Арапова списочек, чего да чего шлет он тебе. Вели, батюшка, примать. Обоз подходит сюды.

Максим Горшков шершавым басом огласил бумагу.

«Его императорскому величеству и всея России государю Петру Федоровичу от атамана Илья Арапова покорнейший рапорт. При всей случившейся радостной вашего величества оказии, от изверженных и недостойных рабов, которые бесчувственно, осмелясь, сами себя отrekliсь,

¹² Пугачев случайно встретился с Перешиби-Носом шесть лет тому назад, во время крестьянского бунта, в поездку свою с Дона в Котловку, что на Каме. – В. III.

¹³ Зять губернатора Бранта. – В. III.

захвачено разных сортов кусу¹⁴ и прочих вещей, при сем с нарочным, в покорности моей, посылаются: сахару три головы, винограду сушеного бочонков два, рыбы свежей – осетр один, севрюга одна, белорыбица одна, севрюг провесных две, урюку небольшое число, завернутое в бумажке, сорочинской пшеницы, водки сладкой, сургуча два пучка, бумаги писчей одна стопа, сотов три гнезда, гусей да уток по четыре гнезда, масла коровьего кадка, маку фунтов десять».

Пугачев был необычайно доволен столь задачливым днем. Уфа заперта, Бузулук взят, форпосты и мелкие крепостишки Самарской линии передавались ему, подвозят добро с казной. А перед этим – Кар разбит. Чернышев в полон попал, Валленштерн не единожды трепку получал. После таких событий не грешно и передохнуть, разгуляться. И вот царь-батюшка с атаманом поехали под вечерок верхами в Каргалу, к знакомым татарам. Увязался с ними и Митька Лысов. В Берде начальником остался Максим Шигаев, который и велел объявить по казачьим полкам, чтоб завтра с утра приходили в канцелярию получать денежное жалованье.

2

Гости бражничали в Каргале до третьих петухов. Хозяина, сметливого татарина Мусу Улеева, Пугачев поставил каргалинским атаманом, а татарина Абрешита произвел в сотники. Ночью пугачевские атаманы разгуливали по улице в обнимку с татарами, пели песни, играли на дудках, целовались. Пугачев был крепче всех, да и пил в меру, он шел твердо, его по обе стороны поддерживали две красивые татарки в бархатных, вышитых золотом невысоких шапочках-тюбетейках и в накинутах на плечи меховых шелково-узорчатых охабнях. Одна из них жена Мусы Улеева, другая – жена Абрешита. Молодые женщины украдкой целовали государя в щеки, он на ходу немножко с ними заигрывал. Они весело смеялись, наперебой что-то лопотали ему по-татарски. Он ничего не понимал, только встряхивал бородой, широко улыбаясь, и, стараясь быть вежливым, то и дело говорил им:

– Ась, ась? Благодарствую... В гости, мол, приезжайте, в Берду... Саблея, вестивал. Шурум-бурум, шох-ворох...

Татары провожали их, как самых наипочетных гостей, дружными залпами из самострелов. Атаманы в ответ дали прощальный салют из своих пистолетов. Был предутренний час. Лобастая луна стояла высоко, окруженная яркими звездами, как новый среди гривенников рубль. Просторы голубели. Тишина. Только каргалинские собаки, разбуженные выстрелами, все еще побреживали вдали.

– Братцы-атаманы! – сказал Лысов. – А пошто мы все пьяные, а батюшка тверезый?

– Батюшка хош и не мене тебя пил, – сказал Пугачев, – а вот брось на дорогу шапку, я на всем скаку дно ей вырву.

– А ежели не того... не вырвешь?

– Тогда назови меня никудышным псом!

Лысов, пьяно раскачиваясь в седле, помчался вперед, швырнул в снег шапку – в лунном свете она ярко чернела на голубом сугробе. Пугачев вынул из-за пояса пистолет, гикнул и, вихрем проносясь мимо шапки, выстрелил в нее. Шапка подпрыгнула и, как черная курица, распустила крылья. Все захохотали. Митька Лысов подцепил пикой шапку – на снегу остались клочья мерлушки, – кой-как надел ее на лысую голову, по-злему сказал:

– Ну и черт ты, батюшка!.. Не иначе, как с анчуткой неумытым знаешься... Ведь шапка-то дорогая, новая... Пес ты и есть, а не царь!

¹⁴ Кус – провизия.

Отъехавший Пугачев этих дерзких слов не слышал. Безбородый, похожий на скопца, Максим Горшков, сверкнув прищуренными глазами, громыхнул Митьке басом:

– Ты дурнину-то эту брось!

– А то что? – задыхливо спросил Митька Лысов и с мстительной ухмылкой уставился в спину удалявшегося Пугачева.

– А вот что! – крикнул суровый Овчинников. – Ссадим тебя с коня да хороших лещей по шее надаем...

Не слушая его, стиснув зубы, Митька нагнулся, гикнул и – пику наперевес – полным карьером помчался на Пугачева. Тот, ничего не подозревая, ехал ровным шагом. Чужая недоброе, атаманы ринулись вслед Митьке, заполошно крича:

– Берегись, батюшка! Берегись, ваше величество!

Но было уже поздно. Налетевший Митька с силой ударил Пугачева в левую лопатку. Пугачев держался в седле крепко, как дуб в земле, он только клюнул носом и схватился за шапку, а Митька Лысов от сильного толчка кувырнулся прямо в снег, как сброшенный с воза куль.

Остро отточенная пика легко вспорола толстый меховой чекмень Пугачева и с маху уперлась в стальную, поверх рубахи, кольчугу. Все соскочили с коней: Почиталин, Творогов, Витошнов, Горшков, Яким Давилин, Овчинников. Все окружили Пугачева. Пегая кобылка Лысова, переступив всеми четырьмя ногами, повернулась к своему хозяину и с удивлением глядела на него, поверженного в снег, влажными, светящимися глазами, как бы силясь спросить, по какой причине его угораздило в сугроб?

– На сей раз прошибся ты, Лысов, – сказал Пугачев спокойным, застуженным голосом. – Не добыл кровушки-то моей.

– Здоров ли, батюшка? Цел ли? Не покарябал ли он тебя? – сыпались в его сторону вопросы близких.

– Нетути. Как видите, невредим!

– Вставай, чертяка! – грозно хором закричали на Митьку.

Тот повалился Пугачеву в ноги, сквозь шапку без дна блеснул под луной лысый череп.

– Спьяну, спьяну это я, – вопил он. – Прости, надежа-государь, прости, милостивец!.. Ведь мне попритчилось, что я под Оренбургом Матюшку Бородина пикой-то пырнул. – Лысов лил пьяные слезы, но волчьи глаза его были трезвы, жестки.

– Как повелишь поступить с ним, ваше величество? – спросил Яким Давилин.

– Встань, Лысов! – сказал Пугачев, взглянул на Митьку, брезгливо сплюнул. – Встань, на другой раз не окаянствуй. Не окаянствуй, говорю!

Лысов, кряхтя, поднялся, с нахальцем взглянул в лицо казаков: что, мол, много взяли? – и с быстротой росوماхи вскочил в седло. Его кобылка, видя, что все пришло в порядок, удовлетворенно встряхнула хвостом и с игривостью повела глазом на гнедого пугачевского жеребца.

Неспешной бежью все тронулись в путь.

– Воля твоя, батюшка! – хмурясь, проговорил Овчинников. – А Лысову надлежало бы насыпать для порядку.

– Нет мне охоты идти на комара с рогатиной, – ответил Пугачев раздраженно.

Лысов запыхтел, сравнялся с Пугачевым и, притворно всхлипнув, прогнусил:

– Ты всегда, ваше величество, кровно обижаешь меня. Вот опять... комаром обозвал!

– Какой там комар, ты вошь! – вскричал атаман Овчинников. – А ну, покажи руки, сними рукавицы! – Снова все остановились. – Давилин с Почиталиным, сдерните-ка с него рукавички-то козловые.

На пальцах Лысова заблестели крупные, в драгоценных камнях, перстни.

– Откуда взял? – сурово спросил Лысова Пугачев.

– А уж это мое дело... Не из твоих сундуков, что в подполье у себя держишь.

– То не мои сундуки, а государственные, – повысил Пугачев голос. – Я вчера из них три тысячи рублей Шигаеву выдал на жалованье казакам. Ты, супротивник, опять в щеть идешь?

– Не я, а ты, батюшка, в щеть-то идешь, – заикаясь и гнусава, стал выкрикивать Лысов. – Ты за всяко-просто обиду мне чинишь... Много на мне обид твоих, батюшка! Я-то все помню...

– Засохни, гнида! – заорал на него Овчинников и пригрозил нагайкой.

– Сам засохни, хромой черт, бараньи твои глаза! – огрызнулся Митька и, выпустив поводья, стал истерично бить себя кулаками в грудь. – Накипело во мне!.. Дайте мне обиду выкричать! Меня тоже погоди обижать-то!.. Я полковник! Я выборный полковник!.. За меня войско заступится...

– Вот в войсковой канцелярии мы тебя спросим, откуда кольца-то добыл, – поднял голос и молчавший до того Почिताлин, но, сразу сконфузясь, покраснел, как девушка.

– Плюю я на твою, щенячья лапа, канцелярию, – не унимался Лысов, в злости то пружинно подпрыгивая на стременах, то снова падая в седло.

– Не плюй в колодец, Митя, – спокойно сказал Овчинников. – А что ты вор, всем ведомо. Ты помещикам живьем пальцы рубишь, чтобы перстеньками поскорее завладеть. Ты всякую поживинку хапашешь да прячешь – в купцы, видно, метишь выйти? Нам-то, брат, все известно. Хоть за пятьсот верст смошенничай – знать будем... Эх ты, полковник!.. Когда простые людишки грабят, ты их унимать должен, а ты сам путь им указуешь... Полко-овник!

– Ладно, поехали! – нетерпеливо крикнул Пугачев.

Застоявшиеся лошади пошли крупной рысью. Луна заметно помутнела, звезды выцвели. Наступал рассвет. До самой Берды всадники ехали молча.

Всяк думал о своем. Мысли Лысова были хитры, занозисты и мрачны. «Ха, царь! Много таких царей по острогам вшей кормит. А эти каверзники: Овчинников – бараньи глаза, да Горшков Макся – скобленное рыло, да Витошнов – старая кила, быдто сговорились: царь да царь... Спасибо Чике-Зарубину, пьяный сболтнул мне про батюшку-т... Сволочь, шапку вдрызг расшиб, а шапка-т генеральская, шелковая подшивка с золотым гербом. А он, сволочь, – бах! Да нешто цари так стрелять могут? Вот сразу и видать, что не царь, чувырло бородатое. Ха! Где кольца взял... А тебе какая забота? Набил себе сундуки-то... хапаным... Ну, ладно, недолго вам царствовать. Дай срок – всех вас выведу на чистую водичку!»

Пугачева тоже одолевали думы. Станный, непонятный какой-то этот казак-гуляка Митька Лысов. То он покорен, рачительно служит, сотнями пригоняет в лагерь крестьян, татар, калмыков, то вдруг – вожжа под хвост – и зауросит, зауросит Митька, сладу нет! «Ну, ладно, погожу. Как будет невтерпеж, так я и сабле волю дам: лети голова с плеч!»

3

Напутствуя главнокомандующего Бибикова, Екатерина говорила ему:

– Я вас, Александр Ильич, за большого патриота почитаю, за весьма такожде усердного к особе нашей. Всюду, Александр Ильич, действуй моим именем, как тебе Бог и совесть укажут. Ты в Казань езжай попроворней, дабы заранее ознакомиться с положением дел в крае, чем возмутители дышат, какие у них с землей связи, каковы ресурсы пропитания, да есть ли у них внутреннее управление, разрозненная ли орда то, подобная стаду овец, или действительно вооружены они дисциплиной? Во всяком разе, я чаю, что мужество и просвещение, искусством руководствуемые, дадут тебе, Александр Ильич, несравненное преимущество над толпою черни, подвижной диким фанатизмом.

Беседа при участии Григория Орлова протекала довольно долго. Екатерина, прежде всех оценившая опасность оренбургского восстания, лично вникала теперь во все подробности дела, давала Бибикову всякие советы как в письмах, так и в изустных разговорах. Бибилов и без ее подсказа все это прекрасно понимал, но поневоле ей поддакивал, а сам думал: «Либо она считает меня глупым индюком, либо своим якобы знанием жизни поафишироваться хочет».

– Дворянство всегда было надежной опорой престолу, – говорила Екатерина, то принимая напыщенный вид, то облекая румяное лицо в приветливую улыбку, – и я верю, что оно, дворянство, и на сей раз явится на помощь нам по первому нашему призыву. Ты потрудись уж, Александр Ильич, разъяснить, что в их патриотическом усердии залог их личной безопасности, сохранности их имений и самой целостности дворянского их корпуса. Ты расскажи им, как Пугачев расправляется со дворянами и чиновниками, кои попадают ему в лапы.

– Матушка, не забудь насчет комиссии, – подсказал князь Орлов.

– Да! Решили мы тотчас послать в Казань секретную комиссию, коя будет, Александр Ильич, при твоей особе состоять. В ней три гвардейских офицера – Лунин, Савва Маврин и Василий Собакин, да секретарь тайной сенатской экспедиции Зряхов, человек в допросных делах зело сведущий. В Казани уже сидит сколько-то пугачевских молодчиков. Этих каналов надо опросить и, в страх черни, примерно наказать на публике. Ну, что еще? Как ты уже сам ведаешь, тебе в ближайшую помощь определяю генерал-майора Мансурова да князя Петра Голицына. Также возьмешь с собой, по своему выбору, некое число офицеров да двенадцать grenadier.

– Так ведь ты же бунтовщик был, ты же против генерала Траубенберга шел и принимал участие в его убийстве! – крикливым голосом говорил Перфильеву комендант Яицкой крепости полковник Симонов. – Как же могу я поверить тебе?

– Правда, был бунтовщик я, а вот теперича желаю искупить свою вину, – отвечал ему Перфильев, исподлобья посматривая на Симонова. – Ежели не верите мне, верьте бумагам. Я же передал вам письмо губернатора Бранта.

Умный Симонов только плечами пожимал, он прекрасно знал то, как губернатором Рейсндорпом был направлен ловить Пугачева каторжник Хлопуша и что из этого вышло. «Наивные в Петербурге люди, а уже про Бранта с дурнем Иваном Андреевичем и говорить не остается», – думал Симонов.

– Что ж, надеешься Пугачева изловить?

– Изловить мне одному невмочь. А вот казаков от него оторвать да мутню в шайке самозванца пустить – завсегда возможно.

– Ну, что ж, поезжай, – сказал Симонов и раздумчиво провел по стриженным в бобрник черным волосам своим ладонью. – Я бы не послал тебя в сию экспедицию, ибо она, на мой взгляд, бесполезна, даже вредна! Но раз эта идея относится до графа Орлова, то препятствия чинить не могу. Одно тебе посоветую: помни присягу! И еще возьми в память: у Пугачева шайка отпетых голов, у ее же величества – в триста тысяч армия. Кто будет в выигрыше-то?

Вскоре Петр Герасимов был направлен Симоновым на нижнеяицкие форпосты, а Перфильев, взяв с собою казаков Фофанова и Мирошихина, выехал в Берду.

4

В приемной Бибилова толпились офицеры. Среди них бравый лейб-гвардии конного полка подпоручик Гавриил Романович Державин. Когда дошла до него очередь, он явился в кабинет, щелкнул шпорами и вытянулся перед Бибиловым в струнку.

– Очень рад, очень рад! – сказал Бибиков, затягиваясь трубкой. – Слышно, изволите быть стихотворцем? Что ж, и то дело!

– Сие междуделье, ваше высокопревосходительство. Прежде всего есть я покорный раб ее величества и защитник отечества нашего. Кроме сего, имею в Казанской губернии личные интересы, как-то: небольшое именье, а наипаче того драгоценность – старушку мать... Сим руководясь, желал бы там, на месте, под вашим руководством проявить священные чувства, свойственные всем истинным сынам родины. Словом, великое у меня желание быть полезным вашему высокопревосходительству в походе похитителя императорского имени – казака Пугачева.

Бибиков слегка поморщился на излишнее красноречие офицера и сказал:

– Желание ваше почтенно, однако должен огорчить вас, что опоздали: все места нужного мне обер-офицерства заполнены.

Державин возвращался домой обескураженный. Лопнула его надежда повидаться со старухой матерью, да и деньжонок в командировке прикопить. Небогатому офицеру в гвардейском полку служить было трудно, там весело было лишь богачам да искусным картежникам. И если б не состоятельная дама, с которой молодой Державин был в близких отношениях, ему пришлось бы в жизни весьма туго.

Жил офицер Державин в маленьких «покойчиках» на Литейной, в доме Удалова. Войдя во двор, он еще раз осмотрел свою ветхую карету, которую недавно купил в долг. «Хоть бы какую клячку завести либо полкового, отслужившего свой век коня, а то просто срам, выехать в люди не на чем». Он вошел в покойчик, послал денщика за возницей, бегло пересмотрел рукописи, задержался глазами на сером листке с началом оды, полюбовался блестящими английскими сапогами с серебряными шпорами и, как подана была лошадь, поехал на Васильевский остров, где жила «дама сердца».

– Не выгорело, любезная Степанида Порфирьевна! Ау, не выгорело! У генерал-аншефа без меня ловкачи нашлись, – печально пробасил он, целуя руки еще не старой, с высокой прической и с томными глазами женщины.

– Ну вот и слава Богу! – чуть не всплакнула она от радости. – Это пречистая Богородица мою молитву услышала. В этакую страсть ехать! Вот поди-ка послушай, Гаврюшенька, что люди мои говорят в кухне. С Ладожского канала, из моего именья, только что прибыли, харч привезли.

Державин прошел в кухню, там обедали трое крестьян. Один из них, бородатый, пронырливого обличья приказчик, на вопрос Державина стал рассказывать:

– Да вот, ваше благородие, дела-то какие! Дела прямо пакостные! Володимирского полка гренадеры, коих в Казань гонят, в роптание пришли. Как проезжали мы через селенье Кибол, сделали ночевку на постоялом дворе, вот там и слышали... Гренадеры-то в ямские подводы укладывались в дорогу, да и говорят громко, никого не страшась. «Вот, – говорят, – вызвали нас из армии, чтоб при свадьбе Павла Петровича быть в Питере. И хошь бы за это беспокойство по чарке водки подали, губы помочить, а замест благодарности по окончании торжества заставили нас, солдат, на Неве сваи бить, как строилась набережная дворцовая. Ну да ладно!.. Только бы нам, – говорят гренадеры, – до места доехать да не замерзнуть, а мы от этакой худой жизни все свои ружья сложим пред царем, что появился в низовых местах... Царь он али не царь, – нам, да-кось, наплевать», – говорят.

– Ах, мерзавцы! – возмутился Державин. Полное лицо его стемнело. – И что же ты... ужели смолчал, слыша все сие?

– А чего мне гуторить? Нешто это мое дело? Мое дело сторона, – ответил бородатый приказчик, прожевывая кашу и рыгая.

Попивая чуть погодя ароматный кофе со своей приятельницей и с отменным аппетитом пожирая румяные, легкие, как вата, пышки, Державин говорил:

– Крамола, крамола, Степанида Порфирьевна! Всюду крамола, даже в армии. Вот времена пошли!... Я не сказывал вам, свидетелем какого ужасного случая года с два тому назад, в июле месяце, мне быть довелось?

– Ой, не стражай меня, Гаврюшенька! У тебя вечно случай. Да ты лей больше сливочек-то, пеночку-то... Ужо я тебе кружовничного варенья наложу, ты ведь сластена у меня!

– Этот случай отменный, Степанида Порфирьевна, уж дозвоьте... Вызван я был со своей ротой на плац-парад в три часа утра. Стоим, ждем. И через часа два со стороны Песков слышим – кандальные цепи лязгают. Видим, в самом истерзанном облике двенадцать лучших гренадер ведут закованных, тринадцатый – унтер-офицер. Прочли им указ императрицы и приговор. Они на ее жизнь будто бы умышляли. И тут взялись за них каты! Великое избиение учинено им было кнутьями, а после сего обрядили, до полусмерти избитых, в рогожное рубище, повалили в кибитки и – прямо в Сибирь! Настродался я, глядячи на все сие происшествие.

– Ой, ой! – всплеснула руками женщина.

– Да... Многие на жизнь матушки покушались, и все больше, представьте себе, – военные дворяне. Не угодна им государыня. Они бы не прочь Павла Петровича императором иметь... А теперь вот Пугачев. Беда! Не уявится – что будет!

Перед ним, просительно потягивая, крутилась на задних лапках ученая Мимишка в теплой кофточке. Державин стал швырять ей в рот маленькие кусочки сахара, она ловко ловила их на лету. Желтенький пушистый кенарь звонко распевал в клетке, топилась голландская печь, босая девчонка поливала герань и колючие кактусы; в переднем углу горела лампада, на шкафу стоял пыльный самовар.

– Ну, благодарю за угощение! Теперь позвольте мне счета и приходно-расходную книгу вашего приказчика, учиню учет ему.

– Ой, ненаглядочка моя!.. Спасибо на заботе. А я тебе четыре пары бельяца из ярославского полотна сготовила. Монашка вышивает гладью вензеля твои. И с короной. Ну и долговязый же ты, батюшка! Я как прикинула твои исподние штанцы, так они от самого полу мне до подбородка. Да ты прямо Петр Великий будешь!

– Нет, Степанида Порфирьевна, сей чести не удостоился. В моем росте до Петра Великого вершка не достает...

– Что ты, что ты, Гаврик! А мне, грешнице, думается, ты на вершок длиннее его.

Возвратясь домой, Державин с изумлением увидел в полковом приказе высочайшее повеление явиться ему к Бибикову. Через три дня он уже выезжал в Казань. И странно – отправляясь в путь, Гавриил Романович вовсе не испытывал радости по сему случаю. Напротив, с ним было такое, словно он взвалил себе на плечи груз – чужой и нелегкий. И даже мысль о возможности свидеться наконец с родной матерью мало успокаивала его.

5

Пугачев принимал в золоченом зальце главного судью – старика Витошнова, Максима Горшкова и думного дьяка Почиталина. Горшков зачитывал Пугачеву донесения, полученные из разных мест, а также изустно докладывал вместе с Витошновым разные сведения о победоносных действиях отдельных отрядов.

Пугачев узнал, что на протяжении прошлого ноября захвачены заводы: Катав-Ивановский, Симский, Усть-Катавский, Юрюзанский и другие. Он приказал немедленно направить в каждый завод своих управителей, поручив им лить, где можно, пушки, мортиры, брать порох, ядра, оружие, казну – и все это под верной охраной высылать в Берду. И чтобы в заводах и всюду читались вгул, где есть люди, его манифесты и указы.

– Можно ли к вам, государь? – приоткрыв дверь из прихожей, спросил Падуров.

– Входи, входи, полковник! Что скажешь?

– Я не один: привел двух выборных от преклонившихся вашему величеству жителей Бугуруслана.

Пугачев приосанился. В горницу вдвинулись маленький, лысый, в больших сапогах, Давыдов и высокий, пучеглазый Захлыстов. Оба повалились Пугачеву в ноги.

– Что за люди? – спросил Пугачев, приказав им подняться.

– Я депутат Большой комиссии, ваше величество, Гаврило Давыдов, ясашный крестьянин. Вот на мне и знак депутатский золотой, как у Падурова, Тимофей Иваныча, мы с ним вместе в Кремле-то, в Грановитой палате-то, сидели... – Он снял с шеи тоненькую золотую цепочку с депутатским знаком и показал его Пугачеву. Затем, мотнув головой на стоявшего истуканом своего соседа, продолжал: – А этот верзила-то Захлыстов прозывается, житель из Бугуруслана. Оба мы посланы от жителей града челом бить, и хлеб с пирогами вам жителям досланы... Да, грешным делом, наши лошаденки схрумкали в дороге хлеб-от с пирогами, и нам-то понюхать не доспелось. Ах, ах!.. Прости уж, батюшка! Ежели не гневаешься за пирог-от, я дале буду сказывать...

– Толкуй, толкуй. Пирог новый испечем! – сказал Пугачев, вслушиваясь в торопливую речь депутата.

– Я тебе по правде, я уж врать не стану – я ведь депутат, эвот и значок у меня золотой. А сам-то я грамотей. Шибкий грамотей я, у попа учился, – тараторил лысый, низенький мужичок в длиннополом заячем тулупчике. Он, видимо, знал себе цену, старался вести себя независимо – то подбоченивался, то выставлял вперед ногу в непомерно большом сапоге, то подхватывал спускавшиеся рукава. – Живу я, значит, в Бугуруслане, и пронеслась там молва, что на Яике император объявился. А я, прямо сказать, не верю. Знаю, что Петр-то Федорыч давно умер, доподлинно мне это ведомо. А вскорости и от государыни указы воспоследовали, что якобы появившийся – не кто прочий, как Емельян Пугачев, беглый с Дону казак.

Пугачева покорило, он повел плечами, испытующе прищурил глаза на говорившего. И все присутствующие зашевелились, закашляли.

– Я и этому веры не дал, – наморщив прыщеватый лоб, продолжал как ни в чем не бывало мужичонка. – Все манифесты врут! Катерина и о Петре Федорыче публикацию давала, что скоростижно помер, мол. Врет! Убили!.. Орловы его убили... Я-то знаю, я депутат Большой комиссии...

– Стой, Давыдов! – прервал его Пугачев. – Царица врала, и ты заврался, мелешь, как мельница. Как же меня убили, когда вот он – я?.. Пред тобой сижу.

– Батюшка, ваше величество! – запрокинув бородатую лысую голову и ударяя себя в грудь, закричал Давыдов. – Да теперичь-то, как своими очами-то тебя узрел, так и я в разум пришел, теперичь-то и я вижу, что ты царь Петр Федорыч! А ведь издаля-то не видно. А башки-то наши темные, вырабатывают плохо. И вот, ваше величество, извольте слушать... Намеднись наехали на наш Бугуруслан сто калмыков со своим старшиной, Фомою Алексеевым, разграбили все обывательские дома, и мой домишка претерпел, выгнали весь народ на площадь, спрашивают: «Кому служите?» Тут мы, старики, отвечаем: «Прежде служили государыне, а ныне желаем служить государю Петру Федорычу». – «Ну, коли желаете послужить батюшке, – говорит тут калмыцкий старшина, – так выберите от себя сколько-то человек да пошлите к самому государю для поклона и объявите самолично верноподданническое свое усердие». Вот нас двоих, самолучших людей, и выбрал народ-от, и пирогов напекли тебе, батюшка... Да вишь, с пирогами-то чего стряслось: лошади почавкали! Ах, ах, ах!

– О чем же просите, бугурусланцы? – спросил Пугачев.

– Стой ужо! – встряхнул рукавами Давыдов. – А просим мы тако, ваше величество: воспрети наш Бугуруслан впредь зорить и жечь, да не можно ли, батюшка, каким способом награбленное возворотить?

Пугачев с просителями всегда был обходителен. Он сказал, обращаясь к бугурусланцам:

– Ну, спасибо вам, детушки! Я велю, Давыдов, дать тебе указ, чтобы никто никакой обиды не чинил вам. А что у кого пограблено, ты сам разыщи и отпиши в мою канцелярию – для резолюции. Стало, Бугуруслан к моей державе отошел?

– Так, ваше величество! – воскликнул Давыдов, выпучив глаза и запрокинув голову. – Со всеми селениями к тебе приклонился. Я уж в дороге столкнулся с мужиками: вот вернусь – бекеты везде выставим, солдатишек казенных ловить учнем, оружаться станем супротив катерининских отрядов.

– Благодарствую! Почиталин, заготовь указ Гавриле Давыдову, ставлю я его там своим атаманом, и под его команду нарядить отряд в тридцать казаков. Доволен ли, друг мой?

– Ваше величество! – Давыдов повалился на колени.

– В другой раз как поедешь ко мне с пирогами, так за лошадьми-то следи лучше. А то они у тебя сладкоежки.

– Да уж... Ах, ах, ах!.. Схрумкали, схрумкали, ваше величество! А пироги-то какие!.. С узюмом!

Давыдов и Захлыстов уходили обласканные. Пугачев сказал:

– Ну вот, господа атаманы! Как видите – начинаются великие дела. Что ни день, все к нам да к нам преклоняются народы. Это восчувствовать надо! – Глаза его блестели, грудь от прилива чувств вздымалась. – А посему давайте-ка сегодня вечером поснедаем вмести, саблею учиним. А то как бы подарки-то, что атаман Арапов прислал нам, – белорыбицы разные да севрюжины провесные, – как бы, говорю, их тоже лошадки не схрумкали... Ась?

Вес засмеялись, засмеялся и Пугачев. Обратясь к Падурову, он сказал:

– Слышь-ка, полковник! А ты, как-нито, принеси-ка сюды... как ее... карту эту самую с городами да морями, кою мы взяли в Татищевой. Мы с тобой проверку учиним, что да что отошло к нам, какие заводы да жительства разные.

– Слушаюсь, ваше величество!

– Как-то, помню, зашел я в спальню сына своего любимого, а его граф Панин грамоте учит, карта на стене висит. «А ну-ка, Павлуша, – спрашиваю наследника своего, – покажь-ка, где Москва?» Он тырк пальцем. Я ему: «Верно, – говорю, – молодец! А где Питенбурх?» Он опять тырк пальцем. «Верно, – говорю, – хорошо стараешься. А где Киев-град?» Он тырк пальцем... «Врешь, – говорю, – это Уфа... Учись лучше, а то штаны спущу и выдеру. Не погляжу, что наследник!»

Все опять засмеялись, а Падуров, выждав, сказал, обращаясь к Пугачеву:

– Заждался вас, государь, дражайший наследник-то ваш. Вот как мы возле Оренбурга-то застоялись! Мы-то стоим, а время бежит, не ждет...

– Что задумал, полковник? Не тяни.

– Да что, ваше величество... Сказать правду, замечтался я этой ночью о всякой всячине... Взять, скажем, Москву. Слухи ходят, что и там ждет не дождется царя честной народ. А ведь Москва не Яик, государь.

Пугачев молчал, отдувался, как если бы кто внезапно подкинул ему на плечи нелегкую поклажу.

– Ты это зря, полковник, насчет Яика, – ввязался в разговор старик Витошнов. – Оренбург нам почище всякой иной столицы... Опять же, какой дурак вперед лезет, ежели у него враг за спиной во всеоружьи?

– А я так мекаю, – гулко заговорил Максим Горшков, воззрясь на Пугачева. – Оренбург, конечно, супротив Москвы птичка-невеличка... Одначе издревле сказано: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. Слыхал, Тимофей Иваныч?

– Как не слышать, слышал, – заволновался Падуров. – Только треба и то помнить: хоть тресни синица, а не быть ей журавлем! Чего зря ума болтать.

Спор оборачивался в перебранку. Пристукнув о стол ладонью, Пугачев сказал:

– Всякому овощу, детушки, свое время. А наша судьбишка такова: где силой, а где и терпезом бери. Нам еще над войском своим потрудиться предлежит. В дальнюю путину собираешься, упряжь как след быть изготовать да коня выкорми... Так-то, Падуров! – закончил он и миролюбиво потрепал полковника по плечу.

Глава IX

Боевые мероприятия. Пугачевская военная коллегия. «Что же тебе надобно, обиженный?»

1

Емельян Иваныч еще загодя отправил повеление приказчику Воскресенского – купца Твердышева – завода, Петру Беспалову: «Исправить тебе великому государю пять гаубиц и тридцать бомбов, и которая из дела выйдет гаубица, представить бы тебе в скором поспешении к великому государю и не жалеть бы государевой казны, – сколько потребно, давай работникам, а я тебя за то, великий государь, буду жаловать». Но докатились до Берды слухи, что приказчик Беспалов не больно-то государю усердствует, а, по всем видимостям, хозяйские, купца Твердышева, интересы блюдет.

Пугачев приказал Чике-Зарубину, казаку Ульянову да пушечных дел мастеру Якову Антипову, тоже казацкого рода человеку, немедленно отправиться на Воскресенский завод и чинить там строгий надзор за исполнением государева приказа. «А в случае чего – приказчику Петьке Беспалову ожерельце на шею!»

Пугачев особую надежду возлагал на казака Якова Антипова, в пушечных делах особо дотошного.

– Я, батюшка, как поуправлюсь тамо-ка, стану новые пушки вам лить, – сказал горбоносый, рослый Антипов, степенно оглаживая рыжеватую круглую бороду. – Да у меня дружок на заводе проживает – Тимофей, а по прозвищу Коза, такожде по пушечным делам знатец изрядный. Ну-к мы с ним...

– Спасибо, Антипов, – поблагодарил Пугачев. – Сам, друг, ведаешь, сколь велика нуждица в пушках у нас. Уж поусердствуй. А на заводе пристрел-то пушками чините?

– А как же! На заводах-то у нас, батюшка, свои бомбардиры, свои наводчики.

– Ну, так и бомбардиров доразу отправляй к нам, в стан, при пушках.

– Всех не можно, государь, а которые лишние – отправлю.

С этим Антипов ушел. Прощаясь с Пугачевым, Чика хотел приложиться к его руке, но Пугачев не дозволил.

– Давай-ка почеломкаемся, брат, – сказал он. – Пуще всех, Чика, верю тебе. Простой ты, бесхитростный. Что лежит на душе, то и выкладываешь.

Вслед за Чикой были вызваны к царю Хлопуша и яицкий казак Андрей Бородин.

– Вот что, Афанасий Тимофеич, – приветливо обратился Пугачев к Хлопуше-Соколову. – Бери-ка ты три сотни из своего полка заводских людей, а ты, Бородин, – четыре сотни клецких казаков, да идите вы вместе в крепость Верхнеозерскую брать. Там, сказывают, всякого продовольствия довольно. А как Бог не подаст вам удачи, известите меня, тогда прибуду лично, подмогу сотворю.

Под строгим, самолично царским досмотром отряд был снаряжен в поход быстро. Полк работных людей представлял собою немалую силу: люди друг с другом сжились еще

на заводах. В Берде они гуртовались по артелям – свои к своим. Когда-то испытые, одетые в рубище, они за время пребывания в армии успели раздобыть и приодеться. Стойкость, сметливость, чувство товарищества присущи были им еще в заводской совместной работе. Поэтому боевые их качества, как впоследствии оказалось, были несравнимо выше, чем у скопищ простых хлеборобов. Пугачев это знал и преотменно ценил полк заводских людей. Одна беда – их было пока мало – сот семь-восемь, не боле.

– Знайте, детушки, – напутствовал их Емельян Иваныч, – у меня, под нашими царскими знаменами, всяк за себя воюет, за весь свой род-племя. А заводы уральские от купчишек до бар в наши, государевы, руки перейдут. И кто по воле своей станет на них работать, тому я, великий государь, доброе жалованье платить учну... И во всяком довольствии отказу вам не будет.

...Как-то на военном совещании полковник Шигаев сказал Пугачеву:

– Нам, батюшка Петр Федорыч, Яицкий-то городок, как-никак, к рукам надо бы прибрать. Ежели Оренбург вскорости не осилим, так зимовать туды подадимся: там и жительство обширное, и съестного для армии хватит... У коменданта Симонова всякого куса наготовлено вдоволь... Он не Рейнсдорпу-выжиге чета.

– И ты, ваше величество, правильно умыслил, – подхватил Овчинников, – что Хлопушу спосылал Верхнеозерную брать. Как завладеем денежками, да довольствием, да зарядами с ядрами, тогда уж и Яицкий городок штурмуем.

Старый есаул Витошнов, человек со скуластым лицом и втянутыми щеками, потерев ливая седую бороденку, сказал:

– Мое слово, молодцы, – надо нам на нижние яицкие форпосты Мишку Толкачева с манифестом спосылать: пушай он всех казаков забирает к себе... Вот чего надо.

– А к киргизскому Дусали-султану татарина Тангаича отрядить, – опасливо косясь на Пугачева (как бы не оборвал его), проговорил торопливо Лысов. – И тоже манифест вручить ему: пушай султан конных киргизов шлет нам поболе.

На следующий день Толкачев и Тангаич отправились с манифестом куда следовало, а штаб стал исподволь готовиться к походу на Яицкий городок.

Пугачев спросил главного атамана Овчинникова:

– Знаешь ли ты, Андрей Афанасьич, сколько у нас всего людства? И ведешь ли ты списки?

– А людей, ваше величество, невпроворот у нас, к десяти тыщам подходит. Списки же сначала я вел, но впоследствии времени бросил... На Кара ты услал тогда меня.

– Да, брат, всенародство простое ко мне валом валит, – с гордостью промолвил Пугачев. – Одна неустойка – командиров мало. Полагаю я, Андрей Афанасьич, офицеров к сему делу приспособить... Сколь их у нас?

– За десяток перевалило, батюшка. Горбатов-то, новый-то, уже впрягся, я ему казаков да народ на полки поручил разбить. Деляга человек и со старанием!

– Его отличить бы, Андрей Афанасьич. Он сам ведь к нам явился. Ты ему на жалованье не скупись, такому и три, и четыре, и все пять рублей в месяц не жалко. Пускай старается. Да и... как бишь его? Шванычу оклад положь. А казакам-то в аккуратности платишь, ась? Смотри, брат!..

– Плачу, плачу! С заминкой, а плачу... Ну, да они свое из горла вырвут. А у меня иным часом и недостача случается в деньгах-то.

– У нас в казне тысяч до десяти, как не боле, лежит. Ничего, не скудаемся.

Пугачев сидел в кресле, позвякивая связкой ключей от «казны», атаман Овчинников, прихрамывая на левую, чуть покороче, ногу, расхаживал вдоль золоченой горенки.

– При многолюдстве нашем полки-то можно покрупнее сбить, ваше величество, да на сотни построить.

– Гарно! Не ведаю вот, как мне с мужиками и прочим людом быть? Шибко просьбицами одолевают, – жаловался Пугачев. – Как выйду, на колени велятся... У каждого свое – то горе, то обида от соседа, то хлеба подай. Порешил я, о чем и допреждь мы с тобой толковали, утвердить свою Военную коллегию.

– Дело, дело... В Петербурге – своя, у нас – своя.

– Своя, казацкая, на казацкий лад! Чтобы там и судьи были, и повытчики, и чтобы все по армии дела вершились. И пуцай народ туда идет с нуждицей... Маленько годя скличь-ка ты Падурова да Горбатова со Шванычем, они люди бывалые, книжные, пусть мозгами раскинут. Да и сам приходи, Андрей Афанасьич.

Как стало смеркаться, пробралась в царскую кухню красавица Стеша. Она покрестилась на образа и, увидав толсторожего Ермилку, сбивавшего мутовкой сметану в кринке, вызвала Ненилу в сенцы.

– Ненилушка, – сказала она, зардевшись, – допусти меня до государя.

– И не подумаю, – крутнула головой Ненила, и глаза ее сразу обозлились.

– Да ведь он меня, батюшка, сам присуглашал – приходи да приходи.

– А наплевать, что присуглашал. Он рад всех баб присугласить... На што он тебе сдался? У тебя свой хозяин есть. Вот ужо скажу Творогову-то, Ивану Лександрычу-то, он те косы-то длинные поубавит...

– Он уехатчи! А ты меня, Ненилушка, пусти, пусти, желанная.

– Вот прилипла! Иди, ежели совесть потеряла, с чистого крыльца.

– С чистого-т не пустят, стража там. Да и огласка мне ни к чему. А мне бы только рубашечку ему передать, сама вышивала шелками, – и она шевельнула узелком под мышкой.

– Рубашечки-то и мы горазды шить. Эвот у меня две татарки гладких на печи спят, нажрались за обедом вдосыт.

Стеша сняла с руки бирюзовое колечко и молча сунула его Нениле. Та приняла, поблагодарила и, вздохнув, сказала:

– Ну, ин пойдем... Только, чур, ненадолго. К нему народ вскорости потянется. Ой, да и стыдобушка с тобой, Степанида!

Когда поднялись они по внутренней из кухни лестнице, Ненила крикнула в покой:

– Эй, ваше велиство! Кундюбка тут одна припожаловала к тебе! Примамай!..

А Ермилка, потряхнув чубом и облизнув мутовку широким, как у коня, языком, подумал: «Ну до чего приятно царем быть!»

2

Крепость Верхнеозерная была расположена в ста верстах от Оренбурга – вправо от него, на реке Яике. Афанасий Тимофеич Хлопуша со своим отрядом двигался по той самой дороге, по которой еще так недавно пробирался к Оренбургу бригадир Корф.

Поравнявшись с Верхнеозерной, Афанасий Тимофеевич сплюнул на далекое расстояние и сказал своим:

– Мы эту на закусочку оставим, а попервоначалу Ильинскую схрупаем, – и повел отряд еще на сорок две версты вперед, к Ильинской.

Крепость Ильинская была беззащитна. Хлопуша взял ее сразу, забрал деньги, пушки, заряды с ядрами, продовольствие и повернул назад, к более сильной Верхнеозерной крепости. Ее защитниками были две пришедшие из Сибири роты, около сотни гарнизонных солдат, отряд польских конфедератов, двести калмыков с башкирцами да десятка два казаков. Начальник крепости, полковник Демарин, сделал все приготовления к защите.

В ночь на 23 ноября Хлопуша двинул свое скопище на штурм, но захватить крепость врасплох не сумел. Перестрелка длилась все утро, целый день. Хотя калмыки, башкирцы и казаки сразу же передались Хлопуше, сибиряки и поляки сражались стойко, почему и второй штурм оказался безуспешным.

Хлопуша с Андреем Бородиным отступил в Кундуrowsкую слободу и послал царю известие о своей неудаче.

Между тем на вечернем совещании у Пугачева обсуждался важный вопрос об организации Военной коллегии.

– Мы должны какой ни на есть порядок завести, – сказал Пугачев, – чтобы нашему делу порухи не было.

Пугачев жаловался, что мало в войске дисциплины, что его войско не похоже на настоящую армию, что казаки, а глядя на них и прочие, сверх меры пьянствуют и под Оренбург выезжают частенько под хмельком, что по ночам войско орет песни и устраивает кулачные бои промежду себя, что иным часом, пользуясь особым своим положением, казаки обижают башкирцев и татар, а то и пришедших к нему, государю, крестьян.

– Коротко молвить, растатурица промеж моего народа идет, никакого настоящего уряду нет. Так впредь жить, други мои, не можно, – сетовал Пугачев, со строгостью посматривая на присутствующих.

Офицер Горбатов со вниманием и одобрительно прислушивался к речам Пугачева.

– Второе дело, – продолжал Пугачев, он поднялся из-за стола и стал расхаживать по горнице, – второе дело, как мы в народе суд чиним? Не суд то, а чистое бессудье. Иной час займется сердце, тут и велишь другого обидчика вздернуть, а опосля того всю ночь казнишься: а вдруг на обидчика-то облыжный поклеп взвели? Дела, други мои, теперь доведется вершить по совести, не как повелось в судных избах при воеводствах, да при губерниях, да при магистратах, а по чистой правде.

Третьим делом, – продолжал Пугачев, – учинили ли мы какую-нито управу в деревнях, да селах, да в местечках разных, кои нам преклонились?

– Вы административные дела имеете в виду? – подсказал офицер Горбатов.

– Да, да, министративные! Посажены ли там люди наши, а ежели посажены, как там правят они?

Совещание длилось всю ночь до рассвета, было высказано много нужных мыслей. Горбатов сообщил, что он с Падуровым, с двумя грамотными есаулами и при посредстве Овчинникова с Шигаевым составили новое распределение полков. Выделено несколько полков казачьих, остальные люди разбиты по племенным и, так сказать, сословным признакам.

Слушая Горбатова, Пугачев к нему присматривался и находил в нем стоящего офицера, а себе хорошего советчика.

– Сколько всего народу у нас? – спросил он.

– Полностью еще не подсчитано, – ответил офицер Горбатов, – только полагаю, не менее пятнадцати тысяч.

– А пушек да мортир?

– Восемьдесят шесть, – сказал Овчинников.

Составили списки полковников. Овчинников, оставаясь войсковым атаманом и общим руководителем армии, назначался командовать полком яицких казаков, Творогов – полком илецких казаков, Падуров – полком оренбургских и других казаков, взятых в крепостях, Билдин Семен – полком исецких казаков, Дербетов – полком ставропольских калмыков, Муса Алиев – полком каргалинских татар, мулла Кинзя Арсланов – башкирским полком и т.д. При артиллерии оставлен Чумаков, к нему в помощь назначен солдат Калмыков, умевший

исправлять пушки, и, по личному приказу царя, старый бомбардир Павел Носов, пожелавший остаться на царской службе.

Очень долго, в горячих спорах, составлялся общий регламент для государственной военной коллегии. На следующий день был позван к Пугачеву штаб армии в полном составе. Оба офицера, а из приближенных – Дмитрий Лысов отсутствовали.

– Вот что, атаманы-молодцы! – припоминая слова и выражения Горбатова, обратился Пугачев к приближенным. – Мы, Божьею милостью, положили утвердить при себе государственную военную коллегия, коя поведет все дела нашей армии, а также порядки государственные на казацкий лад, потому как государству нашему предлежит быть чином своим державой казацкой. Почитайлин! Сделай огласку правил.

Ваня Почитайлин (он за короткое пребывание у Пугачева возмужал, раздобрел, раздался в плечах, его перестали кликать «Ваня», величали Иваном Яковлевичем) четко и внятно стал читать регламент.

На Военную коллегия возлагались следующие повседневные заботы: давать указания поставленным от государя командирам, посылаемым в разные места для привлечения народа; ведать доставлением провианта и фуража, разграблением господских пожитков, отобранием в крепостях снаряжения и отправкой его в государев стан; следить строжайше, чтобы башкирские и мещеряцкие богатеи не чинили насилий над русскими крестьянами; в восставших селениях ставить новую выборную власть. О всех важных делах коллегия обязана чинить доклад государю и все важные дела купно с ним решать.

Иван Почитайлин огласил регламент и раз и два. Пугачев задал приближенным вопрос, удовлетворяют ли их оглашенные правила, и, получив согласные ответы, велел прочесть именные списки членов Военной коллегии. Почитайлин начал:

– Во главе Военной коллегии поставить четырех судей: Максима Шигаева, Андрея Витошнова, Ивана Творогова и Данилу Скобочкина...

Все назначенные судьи враз заговорили: они-де судьями быть не могут, им недосуг, к тому же – малограмотны... Пугачев с силою ударил о стол ладонью:

– Перечить моей воле кладу навсегда запрет! Слышали?!

Все присмирели, иным бросилась в голову кровь, лица стали красны. Старик Витошнов потупил взор, Шигаев, покашливая, запустил пальцы в надвое расчесанную бороду и замер в этой позе.

– При коллегии также состоят, – продолжал докладывать Почитайлин, – секретарь Максим Горшков, думный дьяк Иван Почитайлин, сиречь – я, и четыре повытчика: Иван Герасимов, Супонин, Пустаханов, четвертый – еще не назначенный, а всего будет в Военной коллегии десять человек.

– Тебя, Иван Александрыч, как доброго полковника, я назначаю главным судьей, – сказал Пугачев Творогову.

– Увольте, ваше величество! – встал и низко поклонился Творогов. – Главным пушай будет Витошнов, он много почтенней меня летами.

Пугачев согласился. И отныне на заседаниях Военной коллегии Витошнов всегда сидел выше Творогова, а Шигаев хотя и ниже их обоих сидел, но как был он человек замысловатый и государем самый любимый, то судьи больше следовали его советам. Наиболее грамотным из всех был секретарь – Максим Горшков.

Так возникла знаменитая Военная коллегия Емельяна Пугачева.

Пока длилось это совещание, в лагере казаков был созван круг, на котором утверждался список полковников, сотников и есаулов. При оглашении большинства имен круг кричал: «Годен! Годен!» А когда кто-либо был казакам шибко не по мысли, круг кричал: «Долой! Не годен!» – и выбирал своих людей.

3

По зову Хлопуши Пугачев немедленно выступил в поход со всеми яицкими казаками и с частью артиллерии. Заместителем своим в Берде он назначил Максима Шигаева. По дороге добровольно к Пугачеву присоединился небольшой отряд художонных казаков, высланных Рейнсдорпом за сеном.

Утром 26 ноября, соединясь с отрядом Хлопуши, Пугачев двинулся к Верхнеозерной и приказал обстреливать крепость из пушек, ружей и сайдаков. Наезжавшие на крепость кучки казаков голосили часовым:

– Пускай ваши солдаты не палят в нас, а выходят с покорностью, ведь под крепость подступил сам государь! Он наградит вас!

– У нас, в России, государыня Екатерина Алексеевна, – отвечали с валу, – окромя нее, нет у нас государя!

С полдня Пугачев с Овчинниковым повели свой полуторатысячный отряд на штурм. Однако крепость защищалась стойко, поражая противника метким огнем. Яицкие казаки и приведенные Хлопушей заводские крестьяне пришли в замешательство.

– Грудью, други, грудью! – кричал Пугачев, разъезжая между оробевшими казаками. – На штурм! На слом!

– Поди-ка сунься! – орали ему в ответ из толпы. – Супротивник-то вот каку пальбу ведет... Пули в самый лоб летят...

– Вперед, детушки, вперед! – не унимался Пугачев, стреляя из пистолета и бросаясь в самые опасные места. Вот конь царя, подбитый картечью, взвился на дыбы, опрокинулся, едва не подмял своего хозяина.

Во рву и возле ворот уже полегло немало штурмующих казаков и заводских крестьян.

– Кусается враг! – сердито сказал Пугачев.

К вечеру штурм был прекращен, войска отошли в Кундуровскую слободу. Урон в пугачевской силе был порядочный, особенно среди заводских людей: дружные, отважные в бою, они, к сожалению, были плохими наездниками, на лошадей залезали неуклюже, падая живыми, да и седла под ними не было – сидели кое-как на неоседланных башкирских лошадях, прикрытых лишь войлочным потником либо рогожей.

Взятая на днях Хлопушей крепость Ильинская снова была занята отрядом майора Заева, шедшего, по распоряжению генерала Станиславского, на помощь Верхнеозерной.

Пугачев всей силой двинулся к Ильинской крепости. Штурм был быстр и кровопролитен. Несмотря на упорное сопротивление гарнизона, крепость была взята, майор Заев изрублен, четверо офицеров, лекарь Егерсон и около двухсот нижних чинов убиты. Уцелевшая команда помилована. Два офицера – Камешков и Воронов – были Пугачевым опрошены:

– Пошто вы против меня, своего государя, идете?

– Ты не государь нам! – закричал старший офицер Воронов. – Ты самозванец! Ты бунтовщик! Народ обманываешь!

– Геть, изменник! – вспылil Пугачев. – Да я из твоего дедушки прикажу костылей наделать.

Он велел тотчас обоих офицеров повесить.

Ильинская крепость была сожжена, взяты пушки, пленным обрезаны косы. Захвачен проходивший возле крепости караван в двадцать пять верблюдов с двадцатью бухарцами. Пугачев приказал разделить товары между яицкими казаками. Обрадованные казаки кричали государю «ура».

Было получено угрожающее известие, что генерал Станиславский двигается сюда из Орской крепости, он уже подходит к Губерлинским горам, расположенным на полпути

между Ильинской и Орской крепостями. Пугачев, остерегаясь встречи с войсками генерала, спешно повернул в Берду. На верблюдов погрузили оружие, снаряжение, снятую с убитых одежду и выступили в дорогу толпой в две тысячи двести человек при двенадцати пушках.

Крутил-завихаривал буран. Во рву, возле догоравшей крепости, намело свежие сугробы. Сквозь белесую муть темнели торчавшие из снега конские, вверх копытами, ноги, окоченевшие трупы людей. Ветер мел-перекачивал по рыхлым сугробам две казацкие шапки, а там из снежной заструги торчала рука с зажатым в горсти, неопасным теперь, ножом.

Было морозно. Пугачев в дороге стал зябнуть, выпил вина, пересел в кибитку.

Пугачев оробел перед генералом Станиславским, а тот испугался Пугачева и, узнав про участь майора Заева, отступил в Орскую крепость.

Здесь Станиславского ждал приказ генерала Деколонга немедленно отступить на север, в Верхнеяицкую крепость.

Таким образом, Деколонг, находившийся в Троицкой крепости, не только не шел на выручку Оренбурга, но допустил совершенно обнажить от воинской силы обширную область. Он опасался за целостность Исетской провинции, горные заводы которой были охвачены волнением, его беспокоила также судьба Екатеринбурга – административного центра горной промышленности на Урале. Он вместе с тем знал, что в Башкирии пламя мятежа разгорается, что всякое сообщение с Оренбургом прервано, что отдельные отряды пугачевцев безнаказанно хозяйничают в разных местах Башкирии, что ими заняты многие уральские заводы¹⁵.

Видя столь угрожающую обстановку в крае и не имея воинских сил для предотвращения мятежа хотя бы в Исетской провинции, Деколонг обратился к сибирскому губернатору Чичерину за помощью.

Однако губернатор Денис Чичерин и сам не располагал достаточным количеством воинской силы, чтоб охранять обширнейший Сибирский край от «повсеместно распространявшейся, подобно моровому поветрию, пугачевской заразы». А между тем признаки этой «заразы» уже начали обнаруживаться и в Челябинске, и в Омске, и даже в Тобольске.

Уже ходили слухи, что башкирские полчища, разоряя и предавая огню попутные селения, подступают к Уфе и что этому крупному административному центру грозит участь Оренбурга.

Казанский губернатор Брант и военачальники точно так же пришли в замешательство, не зная, что им делать. Все их взоры были устремлены на Петербург: только Петербург спешной помощью мог придушить мятежные страсти в народе.

Но Петербург, во главе с Екатериной, еще не был осведомлен о масштабах восстания. Петербург сам был связан по рукам затянувшейся войной с Турцией, у Петербурга не было свободных войск. А сверх того – и это самое главное, – правящие круги столицы все еще недооценивали крупного значения событий, совершавшихся в Оренбургском крае, на Южном Урале и по ту сторону Уральского хребта.

Итак, несомненный перевес воинских сил и возможностей был пока что на стороне Пугачева. Население относилось к нему с большим сочувствием, тогда как ко всем правительственным карательным мероприятиям оно было настроено то холодно, то открыто враждебно. Поэтому военная удача почти всюду сопутствовала Пугачеву.

Но чем дольше длилась осада Оренбурга, тем трудней становилось народной армии удерживать за собою все свои преимущества. Чрезмерное сидение Пугачева под Оренбургом дало правительству возможность осмотреться и накопить воинскую силу. И недаром Екатерина, в связи с разгромом Чернышева, писала Волконскому: «В несчастии сем можно

¹⁵ Усть-Ивановский, Троицкий, Кухтурский и др. – В. III.

почесть за счастье, что сии каналы *привязались два месяца целые к Оренбургу*, а не далее куда пошли».

4

Пугачев приехал в Берду еще засветло. Следуя мимо квартиры Творогова, он на этот раз не увидел Стеши, обычно поджидавшей его приезд на крылечке. (Впоследствии Ненила сообщила ему, что Иван Александрыч Творогов, пока царь ходил воевать, жестоко оттрепал Стешу за косы и отправил ее под конвоем в свою сторону.)

По дороге стояли на коленях пришлые крестьяне с котомками за плечами, кланялись, простирали к Пугачеву руки, о чем-то молили.

Пугачев кивал народу головой и ласково, как только мог, говорил:

– Детушки! Со всякой нуждицей спешите в Военную коллегию, она все разберет, и хлеба вам выдаст, и жительство определит.

А вот и Военная коллегия – обширная, приземистая, в шесть окон на улицу, изба с вывеской, ярко намалеванной офицером Горбатовым на гладко оструганной доске.

Пугачев приостановился, хотел войти.

Через слегка приоткрытую дверь вылетал на улицу дружный хохот, громкий разговор. «Чего это там ржут?» – с неприязнью подумал Пугачев и поехал дальше, ко дворцу.

В Военной коллегии перед судьями стоял плечистый, коротконогий дядя. Он одет в заплатанный полушубок с чужого плеча – талия спустилась очень низко, полы волочились по земле; он лохматый, густобородый, нос у него картошкой, в глубоко посаженных глазах озлобленность, тоска и безнадежность. Он говорил звонким тенорком, по-смешному растягивая слова, взмахивая рукой, притоптывая лаптем.

Главный судья, старик Витошнов, посмеиваясь в седую бороденку над любопытным рассказом приземистого дяди, предложил:

– А пойдете-ка все к государю, благо прибыл он, поздравим с благополучным возвращением, да пушай-ка он, батюшка, на потешение себе, послушает этого самого Сидора Бородавкина...

Все с Витошновым согласились, толпой повалили к Пугачеву.

После общих приветствий, поздравлений и расспросов главный судья учинил доклад государю о делах и велел думному дяку Почиталину огласить отправленные Военной коллегией и полученные ею бумаги.

– Ладно! – сказал под конец Пугачев. – Приемлемо... А что это за человек?

Все сидели за столом, а стоявший возле двери мужичок, приударив себя в грудь, с азартом закричал:

– Надежа! Надежа! Надежа! – и повалился на колени. – Дозволь слово молвить, кормилец наш! – Уперев ладони в пол, он земно поклонился Пугачеву, из кармана разметававшегося по полу длинного полушубка выпало куриное яйцо и покатилося к ногам батюшки. Все заулыбались.

Пугачев, подметив, что у крестьянина нет на левой руке указательного пальца, проговорил:

– Встань, раб мой! С чем пришел и откуда?

– Не смею и стать-то я. Недостойн! – Лохматый мужичок подполз к яйцу, подобрал его, поднялся, выложил на стол целый десяток печеных яиц и, кланяясь, сказал: – Уж не прогневайся, прими. Как узнали, что я к тебе правлюсь, всего понадавали в дороге-то – вот и шубенку дали, а то в соломе обмотанный шел, как сноп. Ребятишки, бывало, как завидят, так и заблажат: «Сноп, сноп! Глянь – сноп идет!...» – Он задвигал густыми бровями и стал

рассказывать, почесывая бока: – Питан был и клещами жжен... И было мне пятьсот плетей и три стряски – все косточки во мне с мест сшевелены...

– Палец? – спросил Пугачев.

– Как топором вдарили – и палец отлетел... Хотели напрочь и рученьку рубить, да вот царица небесная спасла. А с чего зачалось? Бежал я от своего помещика-людоеда – от гвардии секунд-майора в отставке Лукьянова. Он, боров гладкий, и рученьку-то мою покалечил... Ну, я хвост в зубы, да и тягала!.. Вот пымали меня под городом Ставрополем. А сам-то я с-под Арзамасу. «Как прозвище?» – «Сидор Бородавкин», – молвлю. Вот ладно. И приходит к воеводе какой-то ставропольский барин и говорит ему: «Сто лет тому назад, – говорит, – у моего прадеда мужик Бородавкин сбежал. Ну так этот, – говорит, – от его кореню. Он мой», – говорит. «Как отца звать?» – спрашивает. «Иваном», – говорю. «А деда?» – «Деда – Петром». – «А прадеда?» – «Не упомяну». Тогда воевода с барином поглядели в книгу, говорят мне: «Прадеда твоего Пантелеем звать, ты от его рода и производишь. Верно ли?» – «Нет, – говорю, – не верно. Мой прадед и все сродственники на одном погосте лежат за много сотен верст отсель, под Арзамасом, а здесь-ка Ставрополь. Это не мой прадедущка, которого вы Пантелеем называете, а я не ваш». – «Ах, Пантелей не твой прадедущка, а ты не наш? Пороть!» Вот спустили мне штанцы, заголили рубаху, шибко выдрали. Опосля порки сказал я: «Точно... прадедущку моего, превечный покой его головушке, Пантелеем звали, я от него произошел».

Члены Военной коллегии густо заулыбались, Пугачев нахмурился.

– Тогда новый мой барин отвез меня в свое поместье. А тут узнал другой барин, евонный сосед, приехал и говорит: «Этот мужичок Бородавкин – мой! У моего прадеда, – говорит, – тоже крепостной Бородавкин был, да сто лет тому назад минуло, как в бегах скрылся... Стало быть, этот мужик мой». Опять меня в суд поволокли, и оба-два барина со мной. Опять сызнова зачал меня воевода выпытывать: «Как батьку твоего звать?» – «Иваном», – отвечаю. «Врешь, не Иваном, а Гарасимом». Я сказал тут: «Какой же он Гарасим, когда завсегда Иваном звался. Я не в согласии: он по сей день жив-здоров, мой батька-то, подите справьтесь». – «Нам, – говорят, – справляться не приходится, а только что отец твой – Гарасим. Снимай портки!» Тогда я сказал: «Ну, будь по-вашему, пушай родителя моего, Ивана, Гарасимом звать. Я в согласье». – «Ну, а деда как звать, а прадедущку?» – «Дедушку Петром звать, а прадедущку, кажись, Пантелеем». – «Врешь, вшивая твоя борода! – загайкал на меня, затопал ногами воевода, – он, должно, со второго барина взятку-то ухапал поболее, чем с первого. – Твой дед не Петр, а Гаврила, а прадед не Пантелей, а Никанор. От его кореню ты и производишь. И в списках так... Подать плетей сюда!» И принялись меня самошибко пороть. Тут, знамо дело, довелось мне признаться, что и от этого Бородавкина я вроде как второй раз произошел.

Максим Горшков уткнулся в шапку и заперхал сиплым хохотом, а глядя на него, дружно всхохотнули и прочие. Пугачев укорчиво сказал:

– До смеху ли тут! Сказывай, дядя...

– И только я, батюшка ты мой, вымолвил, что у меня-де прадедущка не Пантелей, а Никанор, а родной отец мой не Иван, а Гарасим, как судьи с воеводой затопали, завопили: «Ах ты, холопская твоя душа! Как ты посмел переменные речи молвить?! То Пантелей у тебя прадед, то Никанор. За переменные речи – пытка!» Я аж закачался. Ну, думаю, порешат мою жизнь на пытке-то. Слышу, оба барина руготню из-за меня подняли: «Мой он! Не отдам!» – «Нет, мой!» Да давай плевать в морды, а тут и в волосья друг другу вцепились. Судьи разнимать их кинулись и про меня забыли, а я чох за окно да на Волгу, да в челн, – так вот и утек. Да прямо к тебе, надежа-государь, хошь казни, хошь миловай!..

Пугачев почесал за ухом, посмотрел вопросительно на судей, сказал:

– Что же тебе надобно, обиженный?

От тихого, уветливо произнесенного самим батюшкой слова «обиженный» у мужика брызнули слезы, но, сделав над собою усилие, он сдержался. Глубоко запавшие глаза его вслед за слезами вдруг наполнились яростью, он закричал, ударяя себя в грудь кулаком:

– Дай мне, надежа-государь, человек с двадцать разбойничков, брошусь я помещиков резать... Перво-наперво свово барина, гвардии секунд-майора Лукьянова, жизни решу, а тут воеводу устукаю да двух бар тех, что за прадедушек чужеродных шкуру мне со спины спустили... Душа из них вон, дай!

– Утихомирься, друг мой, – махнул рукой Пугачев и, подумав, спросил Бородавкина: – Вот ты гораздо много места прошагал – ну, как крестьянство-то там? Приклонятся ли они ко мне, государю своему?

– И не спрашивай, надежа-государь! – опять закричал Бородавкин. – Только дай весточку, да подмогу какую ни то пришли, да свою грамоту орленую... А уж там... Чего тут... Ведь я к тебе тридцать шесть парней привел да четверых солдат беглых. Шесть самопалов у них, звероловы – мужички-то...

Военная коллегия, по совету Пугачева, постановила: организовать легкий полевой отряд, во главе поставить сотника Калинина и челобитчика – крестьянина Бородавкина, снабдить их манифестами для оглашения в людных местах и раздачи населению, направить отряд в сторону Волги, указав руководителям отряда их задачи: разорять помещичьи гнезда, провиант и фураж доставлять на барских и крестьянских подводах в Военную коллегию, подымать народ именем государя Петра Федоровича Третьего.

Подобных отрядов в двадцать пять, пятьдесят, а иногда и в сто человек создавалось Военной коллегией все больше и больше, благо находились охотники с горячими головами. Эти летучие отряды посылались во все стороны от Оренбурга. Помимо того, то здесь то там, в близких и весьма отдаленных от Оренбурга местах, самостоятельно возникали мятежные «толпы» со своими атаманами, со своими полковниками, а иногда и собственными Петрами Федоровичами Третьими. Особенно много таких «толп», как грибов после дождя, зарождалось в башкирских степях, а также на Южном и Среднем Урале.

Глава X

Веселая застольица. Митька Лысов пьет водичку. «Граф Чернышев». Два офицера

1

Ужин проходил шумно. Витошнов знал старинные проголосные песни, дрожащим тенорком он клал зачин, атаманы подхватывали. Пели складно, зычными голосами, запивали водкой и господскими винами. Пугачев пил с воздержанием, он выпил только четыре чары при общих тостах – в честь его здоровья, за Павла Петровича, за яицких казаков, за всю его армию.

Плешивый, брюхатенький, но упругий телом Митька Лысов тоже выпивал с воздержанием, стараясь перелить вино в стакан соседа или незаметно выплеснуть под стол. Однако он притворился пьяным и вел себя занозисто. Он старался всех уязвить, ужалить, за последнее время вообще стал ядовит и опасен, как гадюка. То начинал подсмеиваться над Иваном Твороговым, делать оскорбительные намеки насчет поведения его супруги. То встречал в дружный хор певцов и своим бараньим голоском нарочно путал песню, искажал ее мотив. То подмигивал Пугачеву хитрым глазом и, подергивая свою козлиную бороденку, слюняво, под шумок, гнусил:

– Ваше императорское величество! Хи-хи-хи!... Давайте опрокинем чупурышку за здоровье всемилостивейшей государыни Екатерины, ведь мы ей присягу чинили. Да, поди, и сам ты присягал ей... Хи-хи-хи...

Пугачев, разговаривавший с Падуровым, так сдвинул брови и таким взором ожег Митьку, что тот заерзал по лавке, забубнил: «Не буду, не буду, стрелять ты в пятку!»

Гостей было человек тридцать. Кроме главных военачальников и судей, за столом и вдоль стен сидели наиболее видные из простых яицких казаков: есаулы, сотники, старик Пустобаев, а также два каргалинских татарина и царский толмач Идорка, увешанный кривыми ножами.

Широкоплечий крепыш, с коротко подстриженными бородой и усами, Идорка сидел против Пугачева, неотрывно глядел на него восхищенными глазами, и когда Митька Лысов начинал батюшке докучать, он, скрипнув зубами, хватался за нож, ждал от бачки-осударя повеления.

У печки, возле маленького столика, торчал спиной ко всем поп Иван, в рясе, лаптях и архиерейской митре, похищенной казаками в Егорьевской оренбургской церкви. Поп к ужину приглашен не был, затесался сюда сам, без зова, однако Пугачев, увидя его, разрешил ему остаться. Лицо у попа широкое, простое, борода мочальная, в воспаленных глазах неумная тоска, под глазами мешки, а меж бровями резкая складка, изобличавшая, что носит отец Иван в душе какое-то незабываемое горе. Никто не знал его прошлой жизни, да он об ней никому и не заикался.

Хотя он был пьяница, расстрига, или, как его называли, «распоп», но богомольная Ненила все же видела в нем носителя божественной благодати, поэтому подавала ему пищу столь же усердно, как и самому государю. Возле попа у стенки стоял штоф водки, отец Иван прикладывался к нему с усердием. Ему уже, верно, стало казаться, что начинается землетрясение, он хватался за стол, за стены, дико кричал: «Спасайся, братия!» – и силился подняться, чтобы бежать, но сделать этого был не в состоянии. Гости, глядя на попа, впадали в веселый хохот.

Седоголовый Витошнов, раскрасневшийся, пьяненький, оперев локоть о стол, голосисто затянул:

Как на Яике, на родной реке,
Собирались в круг все казаченьки.

Его зачин разом дружно подхватили. Могучий старичина Пустобаев, широко разевая заросший густыми волосами рот, рывкал своим басом оглушающе. Не утерпел и губастый Ермилка, притащивший из кухни две большие чаши со студнем из телячьих ножек. Он сунул студень на стол, потрянул чубом и складно вплелся в песню таким высоким, почти женским голосом, что все посмотрели на него с приятностью. Пробовал под стать и поп Иван, но для него опять началось землетрясение, он снова заорал: «Спасайся!» – и едва усидел на стуле. А песня гремела:

Атаман-боец кругу речь держал,
Кругу речь держал, сам приказывал:
– Вы, казаченьки прирубешные,
Вы не кланяйтесь каменной Москве.
Каменна Москва Яик выпила,
Осетров в реке всех повывела,
К нашей волюшке подбирается,
Нас в дугу согнуть собирается...

Но вот все набросились на студень. Когда управились с этим вкусным блюдом, запели веселую – «Колечко ты мое, колечко». Давилин отворил дверь на лестницу в кухню, крикнул вниз:

– Эй, Ненила! Пироги-то готовы? Подавай!

В кухне засуетились. Пироги были горячие, румяные, с рыбой, с мясом.

– А где с узюмом пирог? – спросила своих помощников управная Ненила.

– А эвот, эвот!.. Я его Ермилкиными портками накрыла, чтоб отволгла корка, – ответила подслеповатая баба Лукерья.

Молодая татарка, Ненила и подоспевший Ермилка потащили пироги наверх.

– Ура! Пироги плывут! – закричал застенчивый Ваня Почиталин и тотчас же смутился.

– Ура, ура! – подхватили падкие на еду казаки.

– Караул! Спасайся! – во всю глотку заорал поп Иван и, не выдержав землетрясения, под общий хохот упал со стула.

От горячих пирогов валил вкусный дух.

– А вот с узюмом, самый сладкий! Ешьте, ешьте! – расхваливала сдобный пирог румяная Ненила.

– Гуляй, ребята, покамест Москва не проведала! – занозисто ввинтил свой голос в общий гомон Митька Лысов.

– А что нам Москва? Мы сами себе Москва! – вскозырились казаки.

– Хошь горько, да жидко! Давай еще! – басит Пустобаев и пудовой лапой тянется к вину. – С самим батюшкой гуляем, а не с кем-нибудь!

– ...на кораблике уплыл, – продолжает слегка захмелевший Пугачев рассказывать о своем прежнем житье-бытье. – Как взняли паруса, так ветрище и попер нас. Таким-то побытом я и стал ходить из царства в царство, из королевства в королевство.

Атаманы, особливо же чиновная казачья молодежь, попевали усердно управляться с пирогами и с любопытством внимать речам обожаемого батюшки.

– И наущает меня турецкий султан: что же, говорит, ты по чужим-то огородам шатаешься, у тебя, говорит, свой зеленый сад цветет. Толкнись-ка, говорит, к орлам своим бородастым, к казакам, да присугласи, говорит, их к себе. А уж через них – получишь ли, нет ли, что тебе по праву следует. А так, говорит, ты, ваше величество, ни за что ни про что десять лет мытаришься без места своего...

– Вот султан-то и верно угадал, – проговорил опрятно одетый, всегда трезвый Максим Шигаев. – Казаки-то бородатые первые вас, ваше величество, Петр Федорыч, поддержали.

– Ежели они первые подмогу дали мне, так первыми и в государстве моем будут, – важно и громко произнес Пугачев и покосился на Митьку Лысова, как бы ожидая от него новых дерзостей. – Яицкое казачество у самого сердца моего.

Митька Лысов прыснул в шапку, но Шигаев, сердито хлестнув его по спине рушником, как плетью, спросил казаков:

– Слышали, молодцы, что батюшка-то изволил сказать? Мы первые у него будем.

– Благодарим, благодарим! – закричали казаки и стали чокаются с Пугачевым. – Будь здоров, отец наш! Жить да быть тебе, долго здравствовать!

– Благодарствую, – ответил Пугачев и со всеми выпил. – Да, детушки, придет поравремечко, да ежели Бог благословит, я на Питенбурхе крест поставлю, а своей столицей ваш Яицкий городок объявлю. И сотворю по всей земле казацкое царство! И вечная будет всем воля!

– Ура! – закричала застолица, и все, кроме Лысова, снова чокнулись с Пугачевым.

– А с изменниками своими, что сгубить измыслили меня, – ну, не прогневайся, – как донесет меня Бог до Питера... жарко будет им. Я им не токмо что головы покусаю, а черева

из них повытаскиваю. Геть, злыдни! – И Пугачев, сверкнув углами глаз на Лысова, грохнул кулаком о столешницу. Все вздрогнули, стаканы подскочили, а Митька Лысов, схватившись за виски, прятнул прочь от Пугачева.

Чавканье, бряк посуды постепенно стихали, гости были сыты, холостые казаки, крадучись, рассовывали себе по карманам куски пирогов, все стали еще прилежней вслушиваться в речи Пугачева. Он говорил плавно, неторопливо, делая паузы и внимательно всматриваясь в лица гостей.

– А чем я не люб-то им был, великим вельможам, генералам да князьям? А вот послушайте. Еще когда тетушка моя была жива, Елизавета Петровна (Митька Лысов опять хихикнул, но тотчас зажал рот рукой), а потом и при моем царствовании многие бояре да и сeredовичи шли своей волей в отставку, уезжали на жительство в поместья свои и зорили своих бедных крестьян. Я зачал таковых нерадивцев к службе принуждать и намеренье имел отнять от них деревни, а их посадить на жалованье. А судей неправедных, кои с народа последнее потроха выматывают, хотел я смерти предавать. Как они увидали, что я крут, навроде дедушки моего Петра Великого (Митька Лысов, оскалив гнилые зубы, снова нацелился хихикнуть, но Шигаев крепко пнул его под столом ногой) ...как увидали они норы мои, сразу тут и умыслили всякие козни мне чинить, яму копать подо мной. Как-то поехал я по Неве в шлюпке – разгуляться, они меня и заарестовали и разные поклепы на меня стали возводить. И быть бы мне убитым, да Господь не допустил коснуться главы помазанника своего – добрые люди спасли меня. И стал я странствовать с того времечка по свету, и какой только нужды я не претерпел...

Пьяный Пустобаев, распустив веником бородищу и приоткрыв рот, сидел за столом копна копной, смотрел в глаза батюшки, в три ручья лил слезы умиления, утирался скатертью. А Митька Лысов крутил носом, подмигивал казакам, прикрывал.

– Да что уж об этом толковать-то, – продолжал Пугачев задумчивым, негромким голосом. – Вы сами ведаете, в каком несчастном виде обрели меня; вся одежонка-то моя гроша ломаного не стоила – бродяга и бродяга! А вот теперь, ежели его святая воля будет (Пугачев усердно перекрестился), утвержду царство праведное, чтобы гарный порядок был и чтобы народ не знал отягощения. А там от всех дел отрешусь, странствовать пойду!

Он замолк, и все молчали, сидели смирнехонько, не шевелясь, только Пустобаев все еще кривил рот от избытка чувства и посмаркивался в скатерть да поп Иван, лежа на полу, легонько во сне постанывал, охал.

– Ну, а как же, Петр Федорыч, держава-то российская? – спросил Максим Шигаев и прищелкнул пальцами по надвое расчесанной бороде. – Как же с державою, ежели вы странствовать уйдете? Кто же царствовать-то станет?

– А на царство пусть садится сын мой, Павел Петрович, – подумав, ответил Пугачев, и на лице его изобразилась скорбь, правое веко задергалось.

Жизнерадостный Творогов, взглянув быстрыми глазами в загрустившие глаза царя, ударил ладонь в ладонь, крикнул:

– Братцы казаки! А ну, песню! А ну, притопнем!

Вновь стало шумно. Грянула веселая хоровая. Сытые казаки быстро поднялись, сбросили чекмени, оттащили спящего попа к сторонке, встряхнули чубами и под пару балалаек да под пяток дудок пустились в пляс.

За столом остались Пугачев с Горшковым да Митька Лысов. Оперев локти о стол, обхватив ладонями голову, похожий на скопца, Горшков притворился спящим, даже чуть похрапывал: ему необходимо знать, как будет вести себя с государем полковник Лысов.

Дмитрий Лысов, ехидно улыбаясь, оттопырив зад и припав грудью к столу, воззрился в упор на батюшку. Шея у Митьки втянулась в плечи, сутулая спина еще больше сгорбилась, лысина тускло блестела, он походил на большую пучеглазую жабу, которая вот-вот прыг-

нет на Пугачева и вопьется ему в горло. И верно: он подьелозился по скамейке к батюшке, схватил его левую руку повыше кисти двумя руками и лукаво взглянул ему в глаза. Пугачев сверху вниз смотрел на него, настороженно и с гадливостью.

– Давай, давай, давай мириться, – забормотал Лысов пьяным голосом, облизывая запекшиеся губы. – Ведь я тебя в тот-то раз, ей-Богу, по ошибке... пикой-то пырнул! Хи-хи-хи!.. Ведь я люблю тебя, слышишь, шибко люблю! А ты не веришь? Хи-хи-хи!..

– Ты пообидел меня не пикой, а иным манером, – сказал Пугачев. – За пику, за окаянство твое мы как ни то еще сквитаемся, а вот как за Харлову я с тобой разочтусь, не ведаю... Пошто ты, бес, прикончил Харлову? Я ведь по сей день скучаю о ней. – Пугачев часто замигал, нижняя губа его задрожала, он тихо, почти шепотом, проговорил: – Жалко мне убиенную, вот как жалко!.. Может, такая одна на свете была, разъединственная!..

Лысов как-то слабоумно захихикал, заперхал, стал крутить руку Пугачева. Тот с сильным напряжением сказал:

– Брось, а нет – ударю!

– Ты, брат, не пугай, не пугай! Хоть ты и Пугач, а я не шибко-то пугаюсь тебя, Емельян Федорыч, то бишь как тебя... Петр Иваныч... Тьфу!.. Петр Федорыч... Хи-хи-хи!.. (Максим Горшков, все еще притворявшийся спящим, сквозь топот заливчатских плясунов, сквозь шум и песни с трудом ловил речь Лысова.) Ведь Чика-то поведал мне по чистой совести, кто ты есть. Царь, царь! Ваше величество! Хи-хи-хи! Да ты, батюшка, не страшись: ведь здесь все пьяные, вишь, как орут, наш разговор никому не чутко. А я, видит Бог, люблю тебя, а вот ты злобишься на раба своего, рад бы живьем меня схрупать, да я ершист, уколешь глотку-то, батюшка, Емельян Федорыч, то бишь как тебя?! – брызгая слюной, бормотал Лысов, а сам все накручивал-крутил руку батюшке.

В глазах Пугачева загорелись злобные огни, он хотел крикнуть, чтоб вывели Митьку вон, или выхватить саблю и смахнуть гадюке голову. Однако последним усилием воли он сдержался, только зубами закрипел и вырвал руку из лап Лысова. Тот чуть не опрокинулся на пол от сильного рывка.

– Хи-хи-хи!.. Силен, силен, слов нет! А слажу с тобой, ей-ей – слажу! Ишь ты... царь!

Тут, бросив прикидываться спящим, вдруг вздыбил коренастый, угрюмый Максим Горшков. Уперев кулаки в стол, он хрипло сказал Лысову:

– Ты что? Ты это что тут раскудахтался?

– А ты, голомордый черт, чего чепляешься?! – вскочив, закричал Лысов на безбородого, безусого Горшкова и выругался матерно.

Горшков мигнул наблюдавшему их разговор Шигаеву, и оба они, пробираясь между плясунами, быстро вышли.

2

Между тем веселье было в полной силе: присвист, балалайки, дудки, плясы – дом дрожал. Грузно кидаясь вправо-влево, тряс боками семипудовый Пустобаев, разухабисто выкрикивал:

– Эх, кахы, кахы, кахы! Эх! Кахы, кахы, кахы!

Верткий Падуров выкручивал с носка на каблук забористые штучки. Скакали веселыми козлами Иван Александрыч Творогов в паре с атаманом Овчинниковым. Возле них крутились каруселью, взвизгивали, гикали молодые казаки. Вот втерлась в круг танцоров пышнотелая Ненила, за ней – молоденькая черноглазая татарка, за ней – подслеповатая полупьяная баба Лукерья в новых липовых лаптях и чубастый Ермилка с наклеенными под носом, смеха ради, черными усами. И все это – живое, пестрое – загайкало, с силой завертелось в вихре.

Митька Лысов, продолжая ругаться и бубнить, схватил самую большую кружку, до краев наполнил ее вином и с жадностью, единым духом выпил. Затем грохнул кружку об пол, вскочил на стол, спиной к Пугачеву, и диким голосом заорал что-то несурзное в толпу.

– Полковник Лысов, слезь! – озлобленно выкрикнул из хора Плясунов разгорячившийся атаман Овчинников и резко взмахнул рукой: – Геть! Государю смотреть мешаешь.

– Ха! Государь... – истошно, стараясь заглушить шумливый, беснующийся в плясе хор Плясунов, закричал Лысов. – Знаю, знаю я, кто батюшка-то наш... Емелька Пугач он, вот кто! В манифестах государыни все пропечатано... – Он, видимо, потерял всякую волю над собой и безудержно катился в пропасть. – Гей, казаки! Выбирай меня едино... единодержавцем... Завтра же Оренбург возьмем, по колено в золоте ходить станем, в господском вине купаться!

Пугачев впился руками в локотники кресла:

– Заткните ему глотку!

Горбоносый Овчинников, схватив Лысова за ворот ярко-красного чекменя, уже сдернул буяна со стола, опрокинул его на пол, начал душить. Лысов отчаянно барахтался, хрипел.

– Стой, Авдей Афанасьич! Не трог полковника! – кинулся к Овчинникову прибежавший с улицы Максим Горшков, – он в меховом чекмене, в шапке и с плеткой через плечо.

Пляска чуть приостановилась, наиболее трезвые казаки уже вытягивали шеи, стараясь всмотреться и понять, что такое среди начальства приключилось.

– Митя, друг! – меж тем обратился Горшков к Лысову. – Что ты наделал... Ведь тут тебя... Ах, друг!... Пойдем, Митя, тихо-мирно на улку.

– Макся, ты? – проквашал насмерть испугавшийся Лысов и стал чихать. – Этот сволота Овчинников... за горло... головушка гудит. Охмелел я... Пойдем, пойдем скорей.

Была звездная ночь с морозцем. Свежий воздух благотворно вламывался в грудь, охлаждал взбудораженную кровь, прогонял хмельной удар из головы. Во дворе уныло таякала продрогшая собака, гремела цепью. У высокого столба с сигнальным колоколом маячили черными тенями два неподвижных человека. Вдоль прясла привязаны казацкие лошади, они хрупали овес, отфыркивались, всхрапывали.

– Веди меня домой, Макся, я тебе два золотых перстня подарю, – бубнил Лысов. – Стой! Колодец... Водички бы. Душа горит, обжелея. Чхи!

Колодец был с высоким журавлем, с железной бадьей.

– Кто тебе, Лысов, сказал про батюшку, что он Пугачев? – сквозь зубы прошипел Максим Горшков.

– А сам Чика сказал, что вот кто.

– Ой, врешь! А ежели и так, ежели проболтался кто тебе, так по тайности, да и зазря, потому как ты сволочь, – скоргоча зубами, шипел Горшков, – ты всякому болты болтаешь. Мы знаем, как ты третьего дня в тверезом виде нашим илецким казакам о том же самом брякал, а вчера – трем пленным гренадерам, их сомущал...

– А вот буду брякать, буду! А вы...

Он не договорил. Сзади подскочил Идорка, размахнулся, ударил Митьку кирпичом по затылку. Тот враз уткнулся по плечи в колодезный сруб.

– Спускай!

Татарин схватил Митьку за ноги и с силой сбросил его вниз головой в колодец.

Загремела собачья цепь, залаял Шарик. За высоким тыном, вдоль дороги, громко переговариваясь, ехал казачий дозор. Во дворце, сквозь подернутые морозом стекла, тускнели огоньки, просилась наружу заунывная степная песня.

– А где Митя? – спросил Андрей Овчинников вошедшего в шумное зальце Горшкова.

– Воду пьет, – басом сказал Горшков и задвигал бровями; глаза его хмурые, беспокойные, взбаламученное сердце гулко колотилось.

Казак с Витошновым дружно выводили песню. Затем, усталые, сытые, принеся благодарность государю, начали расходиться по домам. Остались только ближние.

Поднялся с полу проспавшийся поп Иван, разыскал митру, истоптанную каблуками плясунов. Качая головой и причмокивая, он выправил ее, пообчистил, водрузил на кудлатую голову, поклонился Пугачеву в пояс и поблагодарил за угощение...

– Не обессудь, – ответил мрачный Пугачев. – Пошто ты в архиерейском колпаке-то?

– А как я могу в другом виде пред очами отца отечества, государя самого, явиться?

– Изрядно говоришь. А на ногах лапти... Пошто вы ему, господа атаманы, сапожнишек не добудете?

– Ох, царь-батюшка, – опустил поп голову, – добывали мне благодетели, добывали... да я... я возьму да и пропью, благословясь. Вот все корят меня – пьяница, пьяница! А чего ради винопивцем-то стал аз, грешный, об этом-то никто не спросит.

– Ну, ступай себе, отец Иван, ступай! Да не жри винцо-то зря, а то я выгоню, а нет – так плетью велю выдрать.

Чем свет труп Дмитрия Лысова был извлечен из колодца и повешен. Палач Иван Бурнов вздымал его на виселицу охотно и с легким сердцем. А ближние все еще сидели с государем в молчанку, грызли поджаренные арбузные семечки или вели разговор о пустяках. О скандальном же поступке Лысова никто не вымолвил слова. Пугачева стало клонить ко сну. Последним уходил от хозяина Шигаев.

– А где же полковник Лысов, запьянцовская голова? – спросил Шигаева Емельян Иванович. – На фатеру, что ли, увели его, али под арестом?

– Нет, ваше величество, – ответил Шигаев резко. – Подмок он маненько, ну так и подвесили его... сушиться.

Пугачев не вдруг понял. А поняв, сказал глухо:

– Так, так... Что ж, сам в петлю влез...

По армии было объявлено:

«Постановлением Военной коллегии полковник Дмитрий Лысов, уличенный в государственной измене и незаконных грабежах среди населения, приговорен к казни смертию, что и совершено».

Труп Митьки висел три дня, на четвертый был брошен в овраг, на съедение волкам и хищным птицам.

3

По прибытии в Берду Перфильев сразу направился к своему доброму знакомцу, с которым важивал в Яицком городке хлеб-соль, главному атаману Овчинникову. Атаман с грамотным молодым казаком Ершиком проверял записи по выдаче казакам жалованья: Ершик диктовал цифры, атаман щелкал на счетах.

– Ба! Перфиша! Да откуда это ты? – воскликнул Овчинников, пораженный столь неожиданной встречей с другом. Обнявши гостя, он отправил Ершика домой, а свою прислугу – форсистую, в скрипучих сапогах и бусах Фросю – послал к Горшкову: – Добудь-ка нам, девонька, веселенький штоф хмельничку!

Гость и хозяин остались одни. Перфильеву сорок три года, Овчинников был почти на десять лет моложе его, а уже имел при Пугачеве высокое звание. За короткое время атаманства он привык властвовать, был строг и тверд характером. Серыми умными глазами уставился он на гостя с некоторым подозрением. На него исподлобья смотрел Перфильев; его некрасивое, изрытое оспой лицо было сурово. Так они старались испытать один другого. Да оно и понятно: время стояло необычное, смутное, когда нельзя поручиться не только за приятеля, но и, дико сказать, – за самого себя.

Вспомнив, однако, про свою давнишнюю дружбу, они оба, как по уговору, облегченно захохотали. Овчинников потрепал приятеля по плечу, сказал:

– Толкуй-ка, брат, толкуй!

– А я, друг, из Петербурга, Андрей Афанасьич, – пряча завилявшие глаза, пробасил Перфильев. – А как прослышал, что здесь-ка объявился своею персоной государь, не стерпел, бросил все дела, да тайком и ударился сюда, послужить хочу батюшке.

– Хм... – недоверчиво хмыкнул длиннолицый горбоносый Овчинников, оглаживая кудрявую, как овечья шерсть, бороду. – Да ведь ты же был нашими казаками послан в Питер по войсковым делам. Как же ты, не окончивши делов, улепетнул оттудова?

– А чего же попусту поклоны там терять, Андрей Афанасьич? Рассудил я, что милости искать сподручней у самого государя.

– Так-то оно так, теперича мы и сами резолюции кладем, – сказал Овчинников. – Только нам, яицким казакам, все милости от пресветлого государя уже дадены по манифесту его. А вот ответь-ка мне: каким ты побытом из Питера мог вырваться самовольно? Да тебя уже двадцать разов изловили бы, покудов ты сюда ехал. Сдается мне, лукавишь ты, Перфиша, чего-то, какую-то утайку творишь от меня.

Перфильев надул губы, отвернулся, побарабанил пальцами по столу, затем с сердцем сказал:

– Не чаял я, что этак примешь меня, Андрей Афанасьич, с подозрением с таким.

– Вот и обидно, что своему приятелю врешь ты. Сознайся, ведь врешь, Перфильев? Я, брат, не терплю этого. У нас, брат, знаешь как? У нас, брат, здесь-ка строго!

Перфильев взглянул в серые похолодевшие глаза Овчинникова и сказал, вздохнув:

– Ну, слушай! Опасался я тебе открыться-то, понимаешь? Как бы ты простой казак, так моя душа вся пред тобой настезь была, а теперь ты самоглавный атаман. Эвот у тебя сабля-то какая, вся в серебре да золоте, и чекмень с позументом. Думал, наляпаешь на себя лишнего, так ты...

– А ты говори, говори о деле-то, а то девка скоро вернется, – нетерпеливо сказал Овчинников и раскинул по столу крепкие руки.

– Прямо, без утайки скажу, – решительно начал Перфильев. – Послал меня сюда граф Алексей Григорьич Орлов и дал повеленье казаков от самозванца отвращать, чтобы они от него отстали да связали бы его. Тогда, сказал мне граф Орлов, вы и все милости от государыни примете...

– Вот видишь, Перфиша, не прав ли я был, что в подозрении держал тебя? – тяжело задышав, сказал Овчинников и нахмурил брови. Наступило томительное молчание.

Затем Овчинников заговорил:

– Начхай ты на этого Орлова, мы сами здесь-ка Орловы-Чернышевы, графья! Плюнь, говорю, да служи верно батюшке – он точный государь, Петр Третий. Эвот его даже офицеры признают. Недавно Горбатов, офицер из Оренбурга, перебежал к нам, так и он в государе уверился довольно. А что Екатерина нашего государя злодеем обзывает, так это ее дело: ей податься некуда, ей так и так надобно простой народ обмануть. Идем, идем, Перфиша, к государю нашему, откройся ему во всем...

Пугачев только что вернулся с Маячной горы, куда он ездил с офицером Горбатовым, дававшим ему наглядное пояснение, как Оренбургская крепость устроена.

Войдя во дворец, Овчинников велел Перфильеву обождать в прихожей, а сам, прихрамывая, прошел в золоченое зальце и доложил Пугачеву о приехавшем из Петербурга казаке.

– Покличь! – сказал Пугачев. – А сам ты, Андрей Афанасьич, шагай до Военной коллегии, пушай все сюда идут. Надо нам под Уфу человека слать, чтобы обначать дело наше, полагаю Чикю туда спсылать, благо он на Воскресенском заводе, не столь уж далече от Уфы-то.

– Отменно, ваше величество, рассудить изволили! Чика хорош будет. Ну-к, я пошел в коллегию.

Войдя к царю и взглянув на чернобородого плечистого человека в простой казачьей одежде и в длинных валенках, Перфильев сразу заскучал сердцем. «Вот так царь, – подумал он, – мужик – мужик и есть... Ах, сукин сын Овчинников!» – и повалился Пугачеву в ноги. Сделал это вопреки всем своим мыслям, как если бы кто с силою толкнул его: на колени! – столь повелителен был взгляд у этого детины.

– Встань и Расскажи, что ты в Питенбурхе делал?

– Был по войсковому делу там, да, не дождавшись резолюции, коль скоро услышал, что вы здесь-ка объявились, бежал, чтоб служить вам верой и правдой.

– Истину ли говоришь мне, есаул? Не кривишь ли? Не шпионствовать ли прибыл к нам? Ась?

– Нет, ваше величество, супротив вас я никакого намерения не имею. Не такой я человек, чтобы...

– Ой ли? Ну, гарно, гарно... В таком разе оставайся, служи верно, как все казаки ваши мне служат. – Пугачев разглядывал Перфильева в упор. Он казался ему человеком твердым, воинственным и как будто честным. Лишь не нравились глубоко запавшие глаза казака, то, как исподлобья, сурово и хмуро смотрел он. – Ну, иди с Богом!

Когда Перфильев вышел через сени на крыльцо, охрана яицких казаков расступилась перед ним. Его все знали, спрашивали наперебой:

– Каким побытом пожаловал к нам, Афанасий Петрович? Ну, каково в Питере? Каково в дороге? Поди, государыня-коварница войско по нашу душу шлет?

– Нет, не бойтесь, братья казаки, – здороваясь со знакомыми, говорил коренастый, небольшого роста Перфильев, рыжеватые щетинистые усы его топорщились. – В Питере есть слых, что промежду великим князем Павлом Петровичем и его матерью черная кошка юлит. Быдто бы Павел-то Петрович сторону родителя держать собирается, Петра Федорыча!

– Дай-то Бог! – откликнулись хором казаки.

Перфильев, умный и бывалый, после краткой встречи с Пугачевым враз почувствовал в нем человека стоящего, сильного духом. «Эка диво, что в мужицком шебуре! Он ведь с похода прибыл... А вот как взглянул в глаза, так насквозь, кажись, и усмотрел меня. Эх, дурак я, дурак!.. Не открылся сразу! Беспременно открыться надо. Все начистоту доложить!»

К явившейся во дворец Военной коллегии Пугачев вышел не вдруг. Он облекся в нарядный, с позументами, кафтан, в бархатные, малинового цвета, шаровары, в желтые татарские, шитые шелками, сапоги.

Иван Почиталин вытащил из кармана бутылку с чернилами, Максим Горшков – свою. Поднялась вслед им из кухни Ненила, зашумела:

– Это чего же вы, молодцы, озоруете? Слянок поганных понатыркали на чистую скатерть... Опрокинете, кому стирать? Уберите!

Почиталин с Горшковым, оробев крикливой бабы, сняли чернильные бутылки. Ненила сдернула скатерть, сказала:

– Ладно, и на голом столе наварачкаете бумажонки-то, не бо знать какие писаря великие!.. – Она пренебрежительно крутнула носом. – Эта скатерть батюшке дареная... Сама Стеша Творогова препоручила ему... Ой, да уж... Не глядели б мои глаза... Чего пялишься-то на меня, Иван Александрыч? Не узнал? Твоя хозяйка батюшке скатерку-то приперла!.. Твоя, твоя!

– Геть на кухню! – притопнул на нее появившийся на пороге Пугачев.

Ненилу как ветром сдуло. Иван Творогов, вдруг помрачнев, метал косые взгляды на батюшку и, потерябливая черную, в крупных кольцах, небольшую бороду свою, сидел все время молча.

Пугачев приказал думному дяку Ивану Почиталину составить именной указ Чике-Зарубину, находившемуся на Воскресенском заводе, чтоб он немедленно отправлялся в Уфу и принял начальство над всей собравшейся там толпой усердных государю воинов.

– Окромя того... Ну-ка ты, Горшков, возьми бумажку, подбортней которая, голубенькую, да напиши Ивану Зарубину тако: «Я, Божией милостью Петр Федорыч Третий, император, тебя, Зарубина-Чику, облакаю навсегда полной мочью. И всем, как военным, тако и гражданского и церковного звания особам, тебе во всем покоряться. Облакаю тебя полной мочью казнить и миловать».

Пока Горшков, сопя и выделявая губами натужливые гримасы, писал, Пугачев, наморщив полуприкрытый челкой лоб, выискивал в своей памяти знаменитых генералов, с коими приходилось ему встречаться. «Граф Чернышев, с ним мы Берлин брали!» – мысленно воскликнул Пугачев и спросил Горшкова:

– Ну, что, господин секретарь, написал, что ли? Пиши еще... как его... лескрип: «И жалуем мы тебя, Ивана Зарубина, в графы Чернышевы. Отселева ты больше не Зарубин-Чика, а именоваться тебе по всей государственной форме тако: граф Чернышев...» Господа Военная коллегия, поздравляю вас с новым произведенным графом! И напредки нам надобно, внушения ради, звания графьев да князьев раздавать достойным. Давилин, прикажи, чтоб из пушки три раза вдарили в честь нашего казацкого графа Чернышева. А ты, Овчинников, не забудь объявить по полкам, чтобы честь честию касаясь чина и порядка.

4

С казнью полковника Лысова воздух очистился: атаманы и все приближенные вздохнули свободнее. На душе Пугачева тоже полегчало, как будто ему вырвали больной, сгнивший зуб.

За последнее время Дмитрий Лысов стал вносить в армию начало распада. По природе предприимчивый и коварный, он явно горел завистью к Пугачеву, умышлял тем или иным манером свалить его, захватить власть и объявить себя «не каким-то там царем», а доподлинным «казацким батшкой». В этом духе он и действовал: копил богатства для подкупа нужных людей, старался расположить к себе казачьи низы, крестьян и солдат. Привлек на свою сторону офицера Волжинского. Эти кривые, но далеко нацеленные пути Лысова впоследствии узнались.

Пугачевскому штабу довелось принять меры, дабы на корню прикончить брожение в армии. Военной коллегией было предано казни двенадцать явных изменников. А когда начались побегі заговорщиков, беглецов ловили и немедленно вешали. «Нечего злодеям мирволить, – говорил Емельян Иваныч в Военной коллегии и добавлял с угрозой: – Я еще доберусь и до шатунов-паскудников, кои не прочь повоздыхать об участии изменников... То в понятие воздыхатели не берут, что не укроти мы бешеного пса – он тысячи невинных загубит!»

Большую, полезную для порядка работу среди казаков, крестьян и солдат вели офицер Горбатов, атаман Витошнов, Горшков, Шигаев, полковник Падуров, отчасти офицер Шванвич. К речам депутата Большой комиссии, полковника Падурова, всегда носившего на себе депутатский золотой знак, народ относился с особым доверием. Верили люди и слову Горбатова, они уважали его как офицера, самовольно передавшегося батюшке.

– Мы, как люди образованные и в Петербурге подолгу жившие, – говорил Горбатов, – можем вас заверить, что тот, который называет себя государем, есть истинный государь Петр Третий, уж вы никакого сомнения не держите в мыслях. Он и в военном деле искусен, и ум у него крепкий, и государственные знания его предостаточны, да и по портретам зело схож, только что бороду отпустил.

Эти речи говорились не как заранее приготовленные, а как случайные дружеские беседы во время обычных учебных стрельбищ при полевых экзерцициях. Пугачеву было известно усердие офицеров, он прислал в подарок Горбатову и Шванвичу по отличной шубе.

Офицер Волжинский, живший в одной избе со Шванвичем, был арестован и казнен. Ему вменялась в вину государственная измена. Он подговаривал своих гренадер сесть ночью на казацких коней и мчать к губернатору Рейнсдорпу. Выдали его сами же гренадеры, в том числе денщик Шванвича, старый Фаддей Киселев. Он еще в походе усумнился в Волжинском и непрерывно следил за ним.

Вскоре после казни Волжинского в избу к Шванвичу с небольшим мешком в руке вошел Андрей Горбатов.

– Здравствуйте, Шванвич, – поприветствовал он молодого человека, читавшего возле окна книгу. – Вы не удивляйтесь, что я вломился в вашу келью без зова. Меня полковник Падуров направил к вам в сожители. Которая койка Волжинского? Эта? Чудесно! Жизнь есть жизнь, война есть война! Один уходит – другой на его место! – Он бросил мешок в угол, снял шубу.

Молодые люди пожали друг другу руки. В связи с изменою Волжинского юный Шванвич приметно насторожился и с людьми держал себя замкнуто. С Горбатовым он уже успел встретиться несколько раз, Горбатов был симпатичен ему.

– Слушай, Горбатов, я ласкаю себя надеждой, что мы сойдемся хорошо.

– Что ж, Шванвич, я буду рад этому... Вот дурак какой сожитель ваш, Волжинский этот, – продолжал он. – Взял да и сгубил себя безрассудно. Да разве побеги устраивают так?... Сущий дурак! Без меры болтал и... все прочее.

Горбатов отдернул занавеску в кухню, заглянул на печку, спросил:

– Вашего личарды, Киселева, нету?

– За бараниной ушел.

– Так вот, – раздумчиво сказал Горбатов, провел пальцами, как гребнем, по волнистым белокурым волосам, сел на кровать и уставился в лицо Шванвича темными улыбающимися глазами. – Так вот, Шванвич, можно нас с вами поздравить: мы оба на службе у самозванца... Да, да, у самозванца! Но какого! Талантлив, как сто чертей...

– О каком вы самозванце? – воскликнул Шванвич с явным притворством, тем не менее вздрогнул, как при ударе. – Он же царь, Петр Третий. Я безоглядно почитаю его таковым.

– Ай-яй, Шванвич! Как не стыдно прикидываться! – по-серьезному возразил Горбатов, глаза его перестали улыбаться. – Он такой же царь, как царица Екатерина – мать всех скорбящих. Оба неплохие актеры, только наш играет по воле народной, а та – под дудку сиятельной знати... Что, не так?

Шванвич вскочил с табуретки и принялся взволнованно вышагивать из угла в угол.

– Эге, голубчик, Михаил Александрыч, да вы изменились даже в лице... Уж не опасаетесь ли, что предам вас? Не бойтесь. Ведь вот я же нимало не страшусь, открыв с вами беседу по столь щекотливому предмету. Впрочем, вы можете поступать как вам угодно... К смерти я с равнодушием отношусь.

– Да что вы, Горбатов, с ума сошли! – вскричал Шванвич с жаром. – Какой же я предатель!

– Успокойтесь, успокойтесь! Я к слову. А что касемо этой казацкой затеи с мятежом супротив Екатерины, то прямо скажу: как бы мы ни расценивали дело, кончится-то оно печально. И меня, и вас ждет виселица, плаха. Словом, наша приверженность к царю-лиходею нам даром не пройдет. Вы юны, вы очень юны, Шванвич, и еще не знаете, на какую месть способно вельможное дворянство...

– Стойте! – прервал его Шванвич, густо краснея и прихмуриваясь. – Вы так говорите, такой держите со мной тон, будто наперед видите во мне труса.

– Нисколько, Шванвич. Я нимало не сомневаюсь в вашем мужестве и потому-то столь откровенен с вами... Да я и в помыслах не допускаю, что вы... что вы захотите повредить мне...

– Я – вам? Ни-ко-гда!

– Верю... Итак, извольте: мы с вами служим не царю, а всего лишь казаку Пугачеву. И, ежели угодно, не ему, а черни... И вот я спрашиваю вас, бывшего офицера армии ее величества, спрашиваю в упор: готовы ли вы в полной мере к испытаниям судьбы, связав себя службою с самозванцем? – Горбатов, сидя на кровати, засунул кисти рук под мышки, вытянул ногу, глядел вприщур на Шванвича.

Тот остановился, присел у стола, беспомощно вскинул голову.

– Собственно, об этом я еще не думал как следует, – сказал уклончиво и припал спиной к стене. – Пожалуй, думал, но... не решил еще вполне, как быть.

– Голубчик! – воскликнул Горбатов почти весело. – Да нам с вами и решать-то нечего. Обстоятельства за нас решили все. Нам с вами в удел – либо конец, как Волжинскому, от руки Пугачева, либо честная служба ему. Какой еще третий предвидите выход? Бегство?

– Хотя бы...

– Ах, милый юноша... Но ведь там, куда вы убежите, спросят вас: а скажите-ка, почему это тридцать два чернышевских офицера и сам Чернышев предпочли измене мученическую смерть, а ты, голубчик, на кровати у злодея полеживал да под окошком книжечки читал?..

Что вы на это ответите? Винюсь, мол, прошибся – как солдаты отвечают. «Ага, – скажут, – прошибся? Срубите этому офицеру голову, чтоб он в другой раз не прошибался!» Ну, так как, Михаил Александрыч, решена наша судьба или не решена?..

Шванвич некоторое время молчал, грудь его вздымалась, на верхней губе проступили капли пота.

– Вы правы... Все кончено, – глухо произнес он и опустил голову.

Глядя на него с лаской и жалостью, Горбатов продолжал:

– Сущая правда говорится: «Попала в колесо собака – пищит, да бежит». Так и мы. Впрочем, я-то сам в свою судьбу скакнул. А почему? Надобно знать жизнь мою, чтобы понять – почему. Жестокая, нещадная жизнь!.. Как-нибудь на досуге расскажу вам про себя.

– Расскажите сейчас.

– Нет, после. Итак, мой друг... Друг, не правда ли? (Вспыхнув, Шванвич кивнул в знак согласия головою.) Итак, дорогой друг, одна, неизбежная для нас обоих, развязка говорит нам о многом... И прежде всего о том, что жизнь и долголетие *нашего* царя есть *наша* жизнь, его преуспевание – *наш* успех... Да только ли наш? Ведь речь идет об участи несметного числа людишек, коим он, реченный царь, сулит вольную волю... Читали вы его манифесты да указы? Вот... А ежели так, то подь к черту всякое колебание мыслей!.. Вытянем! А вытянем общее дело – спасем и себя. Что, не так? Ей-Богу, так!.. И еще: вы, Шванвич, к нему, к царю-то нашему, присматривались? Присмотритесь-ка, очень советую. Конечно, Вольтера и Монтескье он сроду не читывал, зато в нем есть что-то такое... этакое, как бы вам сказать? Ну, одним словом – силища! Такой человек, ежели что вбил себе в голову, запросто не сдаст. Такого за здорово живешь не взять. Что, не так? Так, так Шванвич! Вы заметили, как он атаманов своих в лапах держит!

– Атаманы у него дельные, – отозвался Шванвич, оживляясь.

– Дельные, башковитые и... отчаянные! – проговорил Горбатов. – Слушайте, Шванвич, а вы, надеюсь, чем-нибудь меня покормите?

– Всенепременно! Сейчас придет мой Киселев, он нами и займется.

– И знаете что, Шванвич, – после короткого раздумья молвил Горбатов. – Я опять про нашего государя. Особый он человек, широкой души человек и вдобавок немалого внутрен-

него зрения; берет сердце человеческое теплым, трепыхающимся, берет рукой уверенной... И вот, Шванвич, я дал себе клятву служить ему до издыхания!

Шванвич в волнении закинул под затылок скрещенные руки, прикрыл глаза.

– А я еще буду с ним говорить, – сказал Горбатов. – Всенепременно! И по-серьезному! Душа в душу.

Помолчав некоторое время, он продолжал:

– Вы, Шванвич, наверно, немало удивлены, что я вот так вломился к вам и по первому же абцугу с самого щекотливого вопроса закрутил. Ведь так? Не изумляйтесь, милый юноша. Я многое слышал про вашего родителя, про то, например, как он вздумал подпортить ударом шпаги портрет красавчика Орлова. Ваш родитель человек честный, стойкий, с характером. И вы в него! Я многих ваших гренадер расспрашивал про вас... Ну, так вот... По этому самому я с вами и откровенен.

За окнами послышался нарастающий шум. Горбатов приник к окну. С песнями, с криками шагали мимо избы подвыпившие казаки, человек сорок. Они вели под руки какого-то коренастого, видимо, почетного, казака, с повязанным через плечо белым полотенцем. Впереди несли штоф, а на капустном листе – закуску. Вот приостановились, подали почетному казаку чарку, подали закуску, закричали «ура» и тронулись дальше.

Вошел, прихрамывая, старый гренадер Киселев.

– Что там за шум, Фаддей? – спросил его Горбатов. – Кого это вели по улице с песнями?

– А это, ваше благородие, какой-то Перфильев прибыл. С самого Питера! Его Перфишей казаки зовут. А кто он, в точности не ведаю. Уж я подумал, не с весточкой ли какой к государю от Павла Петровича? Был слых, будто великий князь с маткой-то своей повздорил, полки сюда ведет, отцу родимому на помощь, нашему Петру Федорычу, амператору.

Горбатов подмигнул Шванвичу и сказал, обращаясь к старику:

– А тебе матки-то Павла Петровича нешто не жалко? Ведь, как-никак, сын единокровный – и вдруг супротив нее пошел!

– Кого жалко? – сердито воззрился старик на Горбатова. – Да такую жалеть – себя потерять надо! Небось она батюшку-то нашего, а своего богоданного супруга не шибко-то жалела, как на жизнь-то его покушалась!..

Старый гренадер все повышал и повышал голос, поблескивая на молодых людей взором возмущения, а те, затаившись, глядели на него с жадным любопытством.

Затем они втроем стали полудневать, аппетитно уписывая ржаной хлеб с малосольным салом. При этом старик, как ни упрашивали его занять место за столом, устроился со своим куском в сторонке, поближе к печке: сердцем-то льни, а чин да порядок соблюдай!

Часть третья

Глава I

Губернатор Брант жует губами. Пожар все шире да шире. Чесноковка

1

Искры брошены – вспышки, вспышки, пламень и потоки огня. Как подожженная с многих сторон сухая степь, клубится, горит, охваченная народным волнением, восточная окраина России.

В Казанской и Оренбургской губерниях, от Саратова до Пензы, от Самары до Арзамаса, широкие тракты и малые проселочные дороги были полным-полны вышедшим из повиновения крестьянством; встречалось тут немало также помещиков, торговых и прочих людей, напуганных близкой опасностью. Вооруженные чем попало, толпы мужиков текли громить барские усадьбы либо – по лесам и долам – к месту нахождения объявившегося «батюшки». Мужики стремились к Пугачеву; дворяне – подальше от него: в Москву, в отдаленные от пагубы губернии.

Направляющийся в Казань член секретной комиссии, лейб-гвардии Семеновского полка капитан-поручик Савва Маврин, спрашивал встречных дворян:

– Ради Бога объясните, что сие значит? Все куда-то спешат, куда-то передвигаются. Что за причина?

– Ах, сударь! – отвечали ему. – Да разве вы сами-то не понимаете? Наш вам совет, коль службой вы не обязаны, в Казань не ездить... вертайтесь-ка, сударь, обратно вспять.

При своем двухнедельном переезде от Петербурга до Казани Маврин наслушался немало беспокойных речей, испытал многие от крестьян угрозы: «Ахвицер?! Имай его, братцы, да на березу!»

Впоследствии он доносил императрице: «Торопясь прибыть в Казань, некогда мне было всем буянам и предрезателям делать примечания и оных, забирая, отсылать к начальникам, да и невозможно в самом деле по причине множества их».

Казань переживала времена тяжелые. Тревожные слухи плыли, ширились, обыватель не знал, что делать. Губернатор одной рукой старался навести хоть какой-нибудь порядок, другой рукой, поддавшись общему настроению, успокоительные свои мероприятия первый же нарушал.

Так, в конце ноября, темной ночью, распахнулись дворовые ворота губернаторского дома, и двенадцать возов имущества Бранта тайно тронулись в более безопасное место – в Козьмодемьянск. А перед рассветом выехало туда же и все семейство его. «Эге-ге-ге», подумал обыватель, пронюхав о сем происшествии, и впал в еще большее уныние.

Примеры заразительны. Вслед за губернатором и многие крупные казанские чиновники, а вместе с ними и скопившиеся в городе дворяне-беженцы принялись вывозить свое добро в тот же богоспасаемый Козьмодемьянск.

И вот разнесся по Казани слух (может быть, пустил его какой-либо затесавшийся в город пугачевец): «К городу царь Петр Федорыч с воинством подходит».

Этот слух – очередная выдумка, но жители поверили. И вот зашумела, замутилась Казань. Обыватель ударился в разгул и пьянство.

Губернатор перетрусил. 1 декабря он выпустил к гражданам оглашенное по церквям воззвание. Он объявил, что все слухи о приближении мятежников к Казани есть сущий вздор, что сам душегуб Пугачев по сей день сидит под Оренбургом, а войско его вооружено дубинками, и что вообще Пугачев «отнюдь не имеет толикого числа людей, как слух о том носится».

Но словам губернатора уже не давали веры. Не стесняясь, людишки выкрикивали в церквях:

– А почто ж он свое-то добро спозаранку вывез? Обман кругом!

Капитан-поручик Маврин, имевший от Бибикова поручение вывести, пока что путем неофициальным, настроение Бранта, пришел рано утром в губернаторский дом. И немало удивился: дом был пуст, в залах ни стола, ни стула. Маврина провели в кабинет. Он представился губернатору как старший офицер, командированный Петербургом в Казань, где он, Маврин, будет ожидать из столицы особых инструкций. О том, что он член секретной комиссии, Маврин умолчал. После краткого и ничего не значащего светского диалога он спросил:

– Что это значит, ваше превосходительство? Ваш дом подобен пустыне... Уж не было ли вашему превосходительству какой тревоги?

– Да, господин капитан-поручик, тревога была и доднесь существует. Я всех отпустил в Козьмодемьянск, – ответил, виляя взором, Брант и пожевал губами.

– Что ж, очевидно, злодеи приближаются?

– О да!.. Без всякого сомнения... И в великих толпах злодействуют.

– В великих, извольте молвить? – переспросил притворно удивленный Маврин. – Но ведь вы в своем воззвании как раз наоборот... Впрочем... Да... – замялся он. – Значит, от этого самого и в городе почти никого из видных жителей не осталось?

– От этого от самого, – холодно ответил губернатор и незаметно стал нащупывать пульс на левой руке.

– А не находите ли вы, ваше превосходительство, что, отправив свое семейство, а также имущество в Козьмодемьянск, вы тем самым подали дурной пример гражданам?

«Дерзкий человек или круглый дурак», – подумал Брант и не ответил ему, только сердито стал жевать губами.

– Да, да, – продолжал Маврин настойчиво. – Все куда-то бегут, устремляются... Не все, а класс состоятельный... Но что же, ваше превосходительство, делать тем, коим бежать некуда и увезти нечего? Не остается ли им отпирать, в случае нашествия самозванца, ворота да встречать его?.. И, заметьте, не по предательству, а по необходимости, яко истинного гостя, чернь втуне не покидающего!

Губернатор от этих вызывающих слов какого-то... какого-то петербургского щеголя поежил и, ощутив в области сердца боль, совсем затревожился. «Да уж полно, не соглада-тай ли, подосланный по мою душу?..» – подумал старик.

– А вы какого мнения, ваше превосходительство, по сему смутному казусу? – И Маврин, сказав это, окинул пристальным взглядом сановную персону.

Они сидели друг против друга в обширном кабинете. В ярко топившемся камине непрерывно постреливали еловые дрова. Губернатор, приняв надлежащую осанку, сухим тоном произнес:

– Милостивый государь, я не считаю нужным и возможным ответить вам на ваш несколько... эм-м... щекотливый вопрос... И прошу, молодой человек, принять в мысль, что перед вами не кто иной, как сам генерал-аншеф. – Губернатор затряс головой и снова сердито зажевал губами.

Маврин нимало не смутился. Он был лично известен императрице, и ему казалось, что она ценила его как умного, исполнительного офицера, а также и первого великосветского танцора.

– Ваше превосходительство! – вздернув плечи и гордо вскинув голову, отвечал Маврин. – Я не осмелился бы докучать вашей особе праздными разговорами, но я обязан это сделать в силу данных мне лично ее величеством инструкций: я член так называемой секретной комиссии, назначенной ее величеством. Цель комиссии – расхлебать заварившуюся в ваших местах кашу. Я ничуть, ваше превосходительство, не теряю из памяти, что имею честь беседовать с генерал-аншефом, и счастлив уведомить вас, что на ближайших днях к вам прибудет в качестве главнокомандующего всем краем, охваченным мятежом, Александр Ильич Бибииков, тоже генерал-аншеф.

Покрытое старческим румянцем лицо Бранта то удивленно вытягивалось, то слагалось в подобострастную улыбку. «Ну, так оно и есть – соглядатай. Гм... Гм...» Губернатор встал и, крепко пожимая руку поднявшемуся Маврину, задабривающим тоном произнес:

– Очень рад сие слышать, господин капитан-поручик. Ведь мы с Александром Ильичом, мы с ним... как бы это вам сказать...

Собравшиеся в этот же день члены секретной комиссии: Маврин, лейб-гвардии Измайловского полка капитаны Лукин и Собакин, а в качестве секретаря – сенатский чиновник Зряхов, приступили к занятиям. Ознакомившись с истинным состоянием края, секретная комиссия воочию убедилась в том, что правящий Петербург имеет совершенно превратное понятие об оренбургской трагедии, что местная власть в крае парализована и что опасный мятеж, охватив Оренбургскую губернию, начал перебрасываться и в Казанскую.

Да и на самом деле: вся северо-западная часть Оренбургской губернии была во власти Емельяна Пугачева, а южная подверглась нашествию киргиз-кайсаков. Их предводитель Нур Али-хан подался с кочевниками к берегам Волги и появился неожиданно близ Черного Яра. Киргизские орды разоряли и жгли попутные деревни, забирали скот, а жителей уводили в полон.

Вслед за киргиз-кайсаками стали все настойчивей пошаливать гулящие люди и в степях Башкирии. Русские толпы, соединившись с башкирцами, бродили возле Бугуруслана и в окрестностях Бугульмы. А в Бугульме сидел со своим отрядом генерал Фрейман, покинутый на произвол судьбы злополучным Каром.

Толпы башкирцев стали проникать на пермские горные заводы и в Исетскую провинцию. Губернатор Брант организовал защиту заводов, поручив эту заботу члену главного заводоуправления на Урале, коллежскому асессору Башмакову. Юговский казенный завод (в шестидесяти верстах от Кунгура) был построен в виде крепости, чем и воспользовался Башмаков, решив защищаться тут от мятежников.

Большинство заводского населения, руководимого раскольниками, Башмакову не подчинилось. Горячие головы шумели по заводам:

– Не верьте, мастеровые да работники, начальству. Врет начальство, что это беглый казачишка Пугачев. Он истинный есть царь.

Почти все рабочие многих заводов приняли сторону Емельяна Пугачева. Восстание всюду разгоралось.

Вскоре в управление всей Башкирией вместе с уральскими заводами вступил, как уже было ранее сказано, «граф Чернышев», то есть Иван Зарубин-Чика.

Атаман Илья Арапов, когда-то посылавший Пугачеву в дар осетров с провесными севрюгами, находился в захваченном им Бузулуке. Пугачевской Военной коллегией ему приказано двинуться к Самаре и укрепиться на самарской линии. К нему пришло до тысячи крепостных крестьян графов Орловых и многие из волостей близ Сызрани.

Восстание охватило весь Ставропольский уезд. Арапов подошел к Самаре и был торжественно встречен населением. Комендант Балахонцев и поручик Кутузов с частью солдат еще загодя бежали в Сызрань.

Был жестокий рождественский мороз, но народу навстречу гостю высыпало много. Атаман Арапов, коренастый, с черной бородкой и горящими быстрыми глазами лихой детина, одет был в лисий, крытый темно-зеленым сукном чекмень, на ногах у него рысьи теплые сапоги. Грубое, продубленное степными ветрами лицо его с мясистым, нависшим на густые усы носом казалось особенно внушительным под форсисто надвинутой на ухо мерлушковой шапкой с красным верхом. За поясом у атамана пистолет, при бедре богатая, как у Пугачева, сабля. Подбоченившись, он зычно крикнул в народ: – Спасибо вам, самарцы, что предались мне без супротивленья! Это нашему батюшке в самый раз по сердцу, он, государь наш, отблагодарит вас, мирянушки, а ваш город Самару обратит в губернию.

– Вот бы добро было, вот бы славно! – отвечали дружно самарцы.

Арапов велел выкатить из питейных заведений бочки с водкой. Подгулявший народ, собираясь в шумные кучки, кричал до хрипоты:

– Здравствуй, батюшка наш Петр Федорыч!.. Ура-а!

2

Зарубин-Чика прибыл под Уфу в сопровождении своего помощника, яицкого казака Ильи Ульянова, и тридцати работников Воскресенского завода¹⁶. По пути Зарубин-Чика всюду встречал сочувствие и собрал толпу в полтысячи человек заводских крестьян, башкирцев, беглых барских мужиков.

Местом своей ставки он выбрал село Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, и поселился в доме священника Андрея Иванова.

Новоселье было проведено шумно, пьяно, весело. Нашлись скрипачи и дудари. Стараясь, страха ради, угодить пугачевцам, подвыпивший отец Андрей прикинулся дурачком: бил в такт музыкантам по медному подносу то кулаком, то лысой головой, то железными клещами. Удалей всех плясал сам «граф Чернышев» в набойчатой простой рубахе и широких плисовых штанах; ему под стать, с гиком и звонким хохотом кружились в плясе охмелевшие – кровь с молоком – девки да бабенки. Даже молодые поповны и сама попадья, не в меру приурезав наливки и медов, вились вихрем возле разухабистого чернобородого цыгана.

– Не брезговаю вами!.. – кричал «граф», высоко подскакивая и ударяя ладонями по голенищам. Подхватив железной рукой за талию какую-нибудь краснощеку красотку, он крутил ее по горнице, как мельницу. – С самим графом Чернышевым пляшете! – гремел он. – А по утрие – все за дело, дружки! Уфу зорить, супротивников батюшкиных изничтожать. А кто не с нами, тому перекладина с петлей!

У многих гостей, как ни были они пьяны, на душе становилось тревожно, а поп с попадьею всю ночь не сомкнули глаз.

– Пропали мы с тобой, матка!.. Со всем приплодом нашим, со всем жительством, – стонал батюшка, не находя себе покоя.

До рассвета гуляла Чесноковка, а на рассвете Зарубин-Чика принялся за дело. Напористый и на соображение скорый, он в полной мере чувствовал власть в своих руках.

«Будь в спокое, Емельян Пугачев, нареченный царь-государь, уж кто-кто, а Ванька Чика тебя не подведет», – держал он в мыслях, положив до последнего вздоха служить обожаемому «батюшке».

Ударили в набат. Сбежавшемуся к церкви народу «граф» сказал:

– Во всеуслышанье объявляю настрого: жителям собраться в поход! Чтобы с каждого двора по одному человеку, и с оружием. За супротивство – смерть! Отец Андрей, – обратился он к рыжеволосому священнику, – всех без изъятия мужиков и баб и всю мою армию

¹⁶ Зарубин-Чика и Ульянов были в начале декабря посланы Пугачевым на этот завод для литья пушек и ядер. – В.Ш.

приведи к присяге на верную службу государю Петру Федорычу. И зачти вгул манифест его величества.

До полден шла присяга. Зарубин-Чика немедля стал рассылать во все концы манифесты Пугачева.

Население в Чесноковке и по всему уезду спешно вооружалось, садилось на конь, торопилось к «графу Чернышеву». Вскоре армия его стала насчитывать более четырех тысяч человек. А спустя несколько дней, когда в Чесноковку прибыли толпы работных людей со многих остановившихся заводов, силы Зарубина-Чики утроились; у него скопилось до двенадцати тысяч человек. Громада!

Заводское население, спасая свою жизнь от разбойных наскоков башкирских толп, бежало и в Берду, и в Чесноковку. Депутаты жаловались:

– От набегов воровских башкирских партий спасу нет! наших людей, кои за сеном выезжали, многих башкирцы поувечили да насмерть покололи безвинно. И не стало нам николикой свободы.

Хотя таких своевольных башкирских партий было не так уж много, однако пугачевская Военная коллегия все же предписала «графу Чернышеву» принять строгие меры к прекращению бесчинств башкирцев и к возвращению награбленного хозяевам. Военная коллегия повелела:

«Да и впредь, ежели такие злодеи окажутся, не приемля от них никаких отговорок и не возя сюда, в Берду, чинить смертную казнь».

Зарубин стал широко пользоваться этим правом. Возле его дома были поставлены две виселицы. Под наметом из соломы и в поповском амбаре хранились пушки, боевые припасы и оружие, привозимые его людьми из разных городов и заводов.

Зарубин-Чика через два дня в третий послал в Военную коллегию свои донесения, а ответы коллегии приказывал публично читать на улицах. Впоследствии эта деловая связь с Бердой становилась все реже и реже – Чика решил действовать самостоятельно. Он назначал атаманов и полковников, у него была и своя военная коллегия, где он единолично принимал просителей, вершил суд и расправу, диктовал писарям свои распоряжения.

И стал он как бы вторым Пугачевым, а Чесноковка – второй Бердой.

Приказы Зарубина-Чики были разумны и толковы. Не в пример губернаторам фон Бранту и Рейнсдорпу, он обладал редким даром администратора. Этот задирчивый, с нахрапом, казак-гуляка, забубенная головушка, беспечный в обыденной жизни, и сам теперь приходил в немалое удивление, открыв такие у себя качества, о существовании которых и не подозревал.

«Ха-ха!.. Ай да Ванька, ай да сукин сын!.. Правителем стал!» – рассуждал он сам с собой в минуты душевного спокойствия.

Он издал приказ выбрать всем жителям в каждом селении и на заводе атамана или старосту и обязал их смотреть за порядком, содержать пикеты и заставы, всех подозрительных направлять в Чесноковку.

Рождественского завода атаману он писал:

«Надлежит вам свое население содержать в добром порядке и ни до каких своевольств и грабительств не допускать, ослушников же его императорскому величеству по произволению вашему наказывать на теле... Населению своему никаких обид, разорений и налогов не чинить и ко взяткам вам не касаться, опасаясь за ваш проступок неизбежной смертной казни. По моим ордерам исполнения чините в немедленном времени... Когда потребуют от населения вашего на службу его величества, по тому требованию хороших, доброконных и вооруженных ребят немедля

отправлять ко мне. А в службу надлежит набирать таковых, чтобы не были старше пятидесяти и малолетнее восемнадцати лет».

Оставшимся семействам выступивших в поход людей приказано было выдавать провиант из казенных магазинов.

Вскоре у Чики-Зарубина скопилось много денег, много вооружения, много всякого добра. Он ласково обращался с духовенством – задобренный священник может оказаться сообщником полезным; он иногда щадил и представителей правительственной власти: чем черт не шутит, могли пригодиться и они... Зарубин-Чика человек себе на уме: в его руках власть, в голове – русский охватистый разум.

3

На улице метель – свету белого не видно, снежная кутерьма от земли до неба. А вот в квартире нареченного графа Чернышева тепло, угревно. Покрытый белыми скатертями, нарочито сколоченный большущий стол ломится от изобильного хмельного питья и вкусной, горой наваленной снеди: пускай гости вдосыт наедятся и упьются – для дела польза. И что сегодня съедено, назавтра втрое доброхоты нанесут. Недаром поп Андрей внушал им: «Рука дающего не оскудеет».

Стены горницы, замест золоченой фольги, как у Пугачева, увешаны самодельными, из кошмы, башкирскими коврами, а сверх ковров – собранные в помещичьих домах ружья, сабли, кинжалы, старозаветные мечи. А возле икон врезанный в рамку старанием священника ярлык: «Быть Чике-Зарубину графом Чернышевым»; на ярлыке красная сургучная печать, как сгусток крови.

– Матка! – кричит «граф» попадье и утирает взмокшее лицо рукавом расстегнутой у ворота рубахи. – Брось швырять поленья в печку, и так мы как в аду...

Кроме Ильи Ульянова и ближних, среди гостей два попа: отец Андрей и прибывший из села Березовки, Сарапульского заказа, родной брат его – отец Данила. Андрей рыжебород, Данила черен.

Уже отгремели здравицы за государя Петра Федорыча, за наследника с супругою, за «графа Чернышева».

Пилю, чавкали, «граф Чернышев» кричал:

– А вы, господа попы-святители, тоже слушай мою команду! Ваше дело доглядывать за своими прихожанами само крепко. Дабы не было супротивников его величеству... Чтобы, значит... его высокой власти. Поняли, святители? А ежели кто где сыщется, таковых отвращать от сей пагубы добрым словом.

Оба родных брата, рыжий и чернявый, вылавливали из овсяной похлебки куриные потроха, согласно кивали грозному начальнику умашенными елеем головами:

– Паки и паки постараемся, ваше графское сиятельство, господин граф Чернышев, Иван Никифoryч.

У попа Данилы черноволосая бородастая голова посажена прямо на крутые плечи, он могуч, пышен со спины и предостаточно брюхат.

– Писаря, слушай! – продолжал Чика. – Чтобы точию отписать мои слова всем попам, всем муллам, не исключая... А буде кто и чрез оное поповское увещевание от злоумышлений не отвратится, то таковых ловить и доставлять ко мне немедленно, а будет с таковыми поступлено в силу указов немилосердно!..

Так великий хлопотун Зарубин-Чика даже и во время попоек не забывал своего дела.

Отец Данила слово свое сдержал. Прибыв в Сарапул, он собрал сход и убедил жителей присягнуть новоявленному императору. Сарапульцы немало попу дивились:

– Да, бывают, мирянушки, чудеса на свете, – говорили они. – Уж раз сам иерей Божий царя признал, так нам и сомневаться нечего. Аминь тому делу.

Иные же, слушая отца Данилу и накопив горькую слюну, сплевывали и зло возражали:

– Поповское ли это заделье в усобицу вступать? Такого кутьехлеба вверх пятками повесить бы... Да и повесят, уж это как Бог свят!

Отец Данила, закутавшись в теплую, подаренную ему графом Чернышевым шубу, объезжал окрестные селения, он всюду успешно привлекал жителей под знамена Пугачева и лишь на Ижевском заводе осекся. Народ шел в отпор, не желая признавать какого-то нового царя. Один из разгорячившихся сердцем работных людей во время словесной схватки ударил ретивого попа кулаком по шее. Пострадавший отписал обо всем в Чесноковку, и уже через три дня в Ижевский завод явилась высланная Чикой партия в триста человек.

Завод был приведен в повиновение, казенные дома разбиты и разграблены, забраны ружья, порох, девять тысяч рублей денег. Мастеровые и работники из приписных крестьян распущены на волю, по домам, завод закрылся. А вскоре поп Данила был схвачен отрядом правительственных войск, пытан в Казани и повешен.

В это время по Башкирии гуляли толпы мещеряков и башкирцев. Их вели «начальный возмутитель» мещеряк Канзафар Усаев и двадцатилетний башкирец Салават Юлаев. Молодой батыр Салават обладал редким даром слагать песни, был отважен и любим своими соплеменниками. Имя Салавата в скором времени с шумом пролетит по башкирским степям, по предгорьям Урала.

Канзафар и Салават лихим набегом заняли Красноуфимск; захваченную при этом казну они послали Пугачеву, а пушки оставили себе.

Чесноковка на первый взгляд напоминала собою пугачевскую столицу Берду, но здесь, начиная от хозяина, все было второго сорта. Хозяин вел себя необычайно просто, вовсе не по-царски и не по-графски даже, а как Бог на душу положит. Любил он всласть поесть и крепко выпить, любил громко поохотать и подурить с бабенками. Одевался так себе – ни генеральских лент, ни позументов. За своей наружностью следил плохо: борода запущена, с мылом умывался редко, да и то кое-как, словом – цыган и цыган. Когда дома – ворот рубахи всегда расстегнут, густо волосатая грудь обнажена, а на морозе – замызганный овчинный чекмень накинут на одно плечо. Квартира не из важных, у него золотой горенки нет и почетного караула нет, свиты тоже не положено. Подруги сердца его живут в двух избушках, на краю селения.

Ранний вечер, уже мерцают звезды. Коров подоили, несет по Чесноковке парным молоком. Улочки, переулочки заметены снегом. Высоко приподнятая метелями дорога укутана горбом. Она, как крепостная насыпь, громоздится выше окон. По откосам ее, от избушек, от домков, выются проторенные тропинки. И ежели б дыхнуть враз и по-настоящему на Чесноковку жаром, все селение захлебнулось бы снеговой водой – столь глубоки, столь обильны тут сугробы. На задах, на огородах и возле Чесноковки, на степи, многочисленные, из плотной кошмы, башкирские юрты. Из их круглых отверстий валит дымок. Кругом костры, костры; гривастые кони хрумкают овес и сено. На кострах медные, до десяти ведер, котлы, в них баранина, или махан. Башкирцы сыпят в котлы соль, крупу, болтают в котлах большими, как оглобли, жердями, готовят ужин. Скулят там и тут собаки. И откуда шайтан принес их? Башкирец выхватил из котла оглоблю, огрел ею собачью свору: «Аря, аря!» – и снова оглоблю в котел.

Кругом селения ездят бессменно дозорные – казаки, крестьяне, башкирцы. И там, далеко впереди, стоят зоркие пикеты. Недавно Зарубин-Чика в три часа ночи объезжал проверкой все посты и заставы. Караульные всюду бодрствовали. Лишь в перелеске, возле моста, дозорный спал у потухшего костра, дремала, опустив голову, и пегая его кобылка.

– Так-то караулишь, сволочь! – гаркнул Чика. Мужик вскочил, протер глаза, сказал хрипло:

– Прошибся! Сон одолел...

– Ха-ха-ха!.. Сон одолел? А ежели б из-за тебя, гада, нас всех одолели?! – И Чика выстрелом из пистолета уложил дозорного на месте: в пример другим.

А приехав домой, он сказал атаману Грязнову:

– Сменить дозорного, что под ельником у моста! Уснул до самого второго пришествия.

Веселый Чика! Бесшабашный Чика! А с народом обходительный, простой. Однако его все как огня бояться. Граф разговаривать долго не станет. У него пить так пить, воевать так воевать.

На улице сумерки гуще, звезды в небе ярче. Выдоенные коровы, подогнув сначала передние ноги и кряхтя, неуклюже валятся на соломенную подстилку, на них накатывает дрема, они устало, вполглаза, глядят во тьму и всю ночь пережевывают жвачку.

По взгорбленной дороге вдоль села, покачиваясь и обнявши друг друга за шеи, движутся трое: Чика, атаман Грязнов и сотник Кузнецов. Остановятся, поцелуются, Чика всохотнет на все село и – дальше.

Скачет всадник, кричит:

– Сторонись, ожгу!

– Стой, куда? – гремит Чика.

– К хозяину, ко грахву, гонец я...

– Я граф. Что надо?

Гонец скатывается с лошади, срывает шапку, рапортует:

– Так что докладую: Красноуфимск занят Салаваткой, ваше благородие. Ижевский завод занят такожде...

– Ха-ха-ха! Слыхали, атаманы? Ижевский занят... Чья это изба?

– Мужичка Абросима.

И уже грохает в калитку железное кольцо. Гонец кричит, припав голоусым лицом к волоковому оконцу:

– Эй, дедка Абросим! Вдувай огня, сам грахв к тебе, сам Иван Никифoryч.

Чика вломился в избу, поздоровался «об ручку» со стариком, со старухой, с парнем, велел принести от попа снеди с выпивкой.

– Ну, как, казаки-удальцы? – заговорил он, усаживаясь за стол. – Дела наши идут не надо лучше! Города и заводы сдаются нам с легкостью... Ты что притуманился, атаман Грязнов? Поди, все – хаха! – о божественном помышляешь, а?

Лысый, бородатый, с умным глубокомысленным лицом, еще не старый, атаман Грязнов, потупя свои бесцветные, водянистые глаза, ответил:

– Эх, Иван Никифoryч... Думал я когда-то и о божественном, а вот как определил себя на кроволитье за простой народ, уж тут не до божественного...

– Ха-ха-ха!.. Ну-к, удалцы, чего же дале-то нам делать? Обмозгуем, чего ли...

– А тут и мозговать неча. Наше дело воевать! Уфу брать надобно.

– Уфа – что... – возразил Чика. – Придет час, эту фрукту мы съедим. Нам вширь распространяться треба. Покамест народишко не остыл, главные города забирать, кои в отдаленности. Да и за Урал-горой пожарище неплохо бы пустить! Ха-ха-ха! Недаром ведь народишко-то с огоньком пошаливает...

– Командуй, батюшка Иван Никифoryч, мы всеобщему отцу отечества Петру Федорычу послужить рады, – степенно оглаживая бороду, сказал атаман Грязнов.

– Стало быть, так. – Чика со всей застолицей выпил, положил в белозубый рот склизкий соленый груздок и, чавкая, продолжал: – Главный город Пермской провинции какой? Слыхал я – Кунгур. Стало быть, брать нам Кунгур! Это я тебе доверяю, Иван Кузнецов. (Черноусый

табынский казак, сотник Кузнецов, встряхнул пьяной головой, поклонился Чике.) И ставлю тебя главным российского и азиатского войска предводителем... Чувствуй, чертова ноздря!

– Чу-чу-чувствую, – сказал сильно захмелевший Кузнецов; он кособоко поднялся, впился руками в стол, чтоб не упасть, и вновь стал кланяться. – Вдругорядь благодарим тебя, Иван Никифориш, гы-гы... грахв...

– Ха-ха-ха!.. Ладно, садись скорей, а то ляпнешься, – и Чика обернулся к Грязнову: – А тебе, атаман, подлежит идти с отрядом под Челябину. Она Челябину, как мне известно стало, главный городок Исетской провинции. Верно ли? И где-то там Деколонт генерал бродит, и где-то Чичерин, губернатор сидит всей Сибири. В Тобольске, кажись? Верно ли? Ивану Кузнецову подмогу дадут верные нам башкирцы с Салаваткой да Канзафаром Усаевым. А тебе, Грязнов, подлежит забирать всех заводских крестьян. Опослезавтра и выступать. Конечно!.. А ну, нальем!..

Военные планы Чики были широки и основательны. Изрядно грамотный атаман Грязнов, удивляясь его сообразительности, недоумевал: то ли он человек заранее обдумывал свои намерения, то ли это накатывало на него вдруг, вроде как «от благодати».

Отправив сотника Кузнецова под Кунгур, атамана Грязнова под Челябину, Зарубин-Чика 23 декабря сделал первую попытку овладеть Уфой.

Но Уфа не поддалась.

Глава II

Купчик Полуехтов. Есаул Перфильев. «Ты, батюшка, похитрее сатаны». Бибиков в Казани

1

Бесшабашный купчик Полуехтов, чтоб восстановить былое уважение к своей храбрости со стороны Рейнсдорпа и оренбургских граждан, решил, с пьяных глаз, немедля направиться в стан Пугачева. Он заручится в Берде каким-нибудь доказательством своего пребывания там и личного свидания с Пугачевым. Вот и все. Купчик обрядил себя под бухарца: выкрасил рыжеватые усы и бороду в черный цвет, добыл цветистый халат, голову обмотал чалмой и отправился в это отчаянное путешествие на верблюде, ночью, с небольшим тюком бухарских товаров.

Утром был он схвачен пугачевским разездом и доставлен в Берду. Прикинувшись «азиатом», он по-русски ни слова не говорил и на допросе в Военной коллегии объяснялся знаками, а если и лопотал, то всякую неудобь-тарабарщину.

– Не высмотрень ли Рейнсдорпа? Как знать?.. – выразил опасение главный судья, старик Витошнов.

– Может статья, и так... – подал голос угрюмый Горшков.

– А ежели так, то не иначе – шея его по петле стосковалась.

Полуехтов испугался, нижняя губа его задрожала, как у зайца, глаза осоловели.

– Да нет, господи судьи, – сказал молодой Почиталин. – Он кубыть действительно бухарец-купец. На мою статью, не следует чинить ему помехи, пускай себе торгует!

Полуехтов, прислушавшись к Почиталину, приободрился, даже оскалил в легкой ухмылке зубы. Осторожный Максим Григорьевич Шигаев, все время наблюдавший бухарца, нажимисто проговорил:

– Нет, чего там... Повесить! Всенепременно повесить его!

Полуехтов пошатнулся, часто задышал. На щеках Шигаева заиграли улыбочивые ямки. Обратясь к судьям, он громко сказал:

– Надо скликать сюда бухарца, их десять человек живет в землянках подле мельницы. Ежели бухарец дознается, что оный пойманный тоже бухарец, так мы оставим его в Берде жить без выпуска под крепким смотрением, а ежели это русский перевертень, так мы его тотчас на перекладинку... Эй, казак, живо сюда бухарца! А этой птице связать назад руки...

В это самое время подъезжал к себе на тройке Пугачев, сзади него с пиками отряд телохранителей.

Вдруг он видит: по снежной дороге что есть сил бежит бухарец в полосатом халате и чалме, за ним гонится Ваня Почиталин: «Держите, держите его!» Вот оба они шмыгнули в проулок, и Пугачев, остановив тройку, приказал:

– Взять!

Купчика вволокли во дворец два молодых казака, а следом за ними пришел и запыхавшийся Почиталин. Один из казаков, двигая бровями, заявил:

– Это, надежа-государь, не бухарец и не персюк, это кулачный боец из Оренбурга. Он, тварь, самый русский, он супротив наших воевать намеренсь выезжал на коне...

– А-а-а, – протянул Пугачев и прикрыл правый глаз. – Так это ты моему верному казаку зубы клюшкой выбил?

– Я, – ответил Полуехтов. Он хотел многое рассказать Пугачеву и не мог: его трепала нервная дрожь, рукава длинного халата встряхивались, зубы стучали. Он только выдохнул: – Винца бы... Невмоготу мне...

Пугачев умел ценить храбрость и на оробевшего молодца посматривал со снисходительной улыбкой. Пока молодой гуляка тянул из стакана настоящую на перце водку, Почиталин торопливо докладывал Пугачеву все, что знал о пойманном купчике.

– Военная коллегия присудила одного шпиона вздернуть, – заключил секретарь.

Забористая водка уже успела всосаться в кровь курского купчика, трясение кончилось, он вновь почувствовал в себе прилив дерзости.

– Вешать меня не за что, – молвил он и с наглостью посмотрел на Почиталина. – Вам такого права нет надо мной... Я человек не разбойный, а мирный.

– Хорош мирный! – улыбнулся Пугачев. – Я, ведаешь, сам видал, как ты наших-то... И велели мы тебя живьем словить, чтоб быть тебе при мне, люди отчаянные мне любы... А ты и сам к нам припожаловал. Чего ради, не дождавшись святок, бухарцем-то вырядился да ко мне в таком обличье дерзнул?

– А вот слушай, хозяин, – проговорил купчик и принялся рассказывать Пугачеву все свои похождения, вплоть до последнего свидания с Рейнсдорпом. – Ты дай мне, хозяин, удостоверение, что я у тебя был и с тобой разговор имел, да отпусти-ка меня за ради Христа либо к папаше моему в Курск, либо в Оренбург...

– А что у вас дееся в Оренбурге, ну-ка отвечай. Ась?

– А в Оренбурге у нас расчудесно, всего вдосталь, народишко живет безбедно, войсков боле двадцати тысяч...

Пугачев, охватив грудь руками, сердито захохотал, закачался в кресле, крикнул:

– Ах ты, негодник! Ах ты, подлая твоя душа! С голоду вы там все, дьяволы, подыхаете, лошадей жрать начали...

Полуехтов таращил глаза, молчал.

– Я б тебя, чувырло неумытое, немедля повесить приказал, да вот за проворство, за отчаянность твою прощаю тебе. Оставайся у меня служить, сыт будешь и награду примешь от меня.

– Нет, хозяин! Я не в согласье...

– Какой я тебе хозяин! – поднял голос Пугачев. – Ты раб мой, а я твой царь...

Винные пары затуманили голову молодого забулдыги. Глаза его стали дикими, голос наглый, скандальный, он потерял всякую волю над собой.

– А мне горя мало – царь ты али кто! – выпучив глаза, закричал он и покачнулся в сторону Пугачева. – Ты только дай мне знак какой алибо записку, что я был у тебя.

Улыбка, похожая на судорогу, тронула лицо Пугачева, брови его сдвинулись.

– Так знак, говоришь, тебе?

– Без знака не уйду!

– Ладно, я тебе знак сделаю... Эй, обрежьте-ка ему правое ухо да спровадьте немедленно с поклоном Рейнсдорпу.

Купчик сразу отрезвел, упал Пугачеву в ноги:

– Батюшка, царь-государь! Батюшка!..

– Стой! Как прозвище твое?

– Полуехтов, царь-государь! Полуехтов...

– Ну, так таперь Полуухов будешь... Взять его!

2

Пугачев сидел в маленькой боковой горнице за фасонистым, на гнутых ножках, столом, придвинутым к самому окну, чтоб лучше видеть. Большой, широкоплечий, он, ссутулясь, громоздился кое-как на легком золоченом стуле, держал в правой, испачканной чернилами руке гусиное перо, смотрел в четко написанный Шванвичем на особом листке русский алфавит и с напряжением выводил на бумаге робкие каракули: палочки, хвостики, кружки. От натуги на носу и лбу выступила у него мелкая россыпь пота, он прикрывал, поскрипывал зубами, ударял пяткой в пол, но толку было мало. Без сторонней помощи осилить грамоту – дело многотрудное. «Эх, голова, голова, – горестно укорял себя Емельян Иваныч, – кабы знала ты, голова, да ведала сызмалу, не то было бы. А теперь, не иначе, катиться тебе, темная головушка, с крутых плеч долой, а все из-за того, что темная!»

Иногда он взглядывал за окно, в синие сумерки: там проезжали с песней казаки, повизгивал полозьями по каленому, наезженному снегу обоз. А вон прошагал вовсе трезвый поп Иван, опираясь на длинную палку с завитком; пробрела вдвое перегнутая временем старуха, пробежала с санками гурьба ребятишек. Жизнь шла своим чередом, и никому не было дела до мучительного труда Емельяна за этими самыми «буками, ведами, глаголями».

За белыми пуховыми крышами нежно блестел на светло-зеленом небе тонкий серп месяца. На улице крепчал мороз, а здесь, в натопленной вволю горенке, было жарко, как в бане. Царь сидел в одной рубахе, с расстегнутым воротом, обнажив белую грудь со старинным серебряным крестом на гайтане и «царскими знаками» под правым и левым соском. Босые, начисто отмытые ноги его отдыхали от узких щегольских сапог, широкие, как юбка, алого сукна шаровары касались пола.

– Ваше величество, Перфильев просится, – проговорил появившийся в дверях несменный дежурный, пухлый рыжеусый Давилин.

Пугачев проворно прикрыл ладошками свою работу, с досадою сказал:

– Пущай войдет.

Перфильев, взглянув исподлобья на Пугачева, повалился ему в ноги.

– Ну, с чем явился?

– Батюшка, виноват пред вами. Намеднись всей правды не сказал вам, вроде как утаил.

– Коль винишься, Бог простит. Встань! – молвил Пугачев и подумал: «Второй раз смотрю на него... Обличьем злой, а характером, кажись, крепок, да и вояка, сказывают, бывалый... Обласкать надо молодца». – Какую же ты от меня утайку сделал, друг? Ну-ка?

Перфильев глубоко передохнул, переступил с ноги на ногу, овладев собою, заговорил:

– Меня на Яик государыня послала и приказ дала: яицкое войско уговаривать, чтоб оно от тебя отстало да пришло бы в повиновение ее величеству, а тебя чтобы мы связали да доставили в Питер.

– Ох ты, ох ты, окаянство какое! – помрачнел Пугачев. – Ах, злодеи, чего измыслили. Да ты ведаешь ли, на какую пагубу толкали тебя? – тряхнув головой, воскликнул Пугачев и отбросил упавшие на глаза волосы. – Стало быть, угадал я тогда, Перфильев, что со злым намерением ты прислан. Ах, Перфильев, Перфильев!

– Винюсь, ваше величество! Опасался вдруг-то открыться вам, язык не поворачивался... ну, только что положил я в душе служить вам верно-неизменно.

– Правду ли говоришь, Перфильев?

– Я за правдой к тебе и пришел! – воскликнул казак.

Он был горяч и скор в решениях, зол на незадачливую жизнь свою, на холодный, себя-любивый Питер, на графа Орлова, что втравил его в лихой умысел, особо же на самого себя – за то, что неоглядно взялся за этакое окаянное дело. К черту же, к черту! Он еще тогда, впервые взглянув в мужественное лицо Пугачева, заколебался, а потом и окончательно решил связать свою жизнь с этим человеком. В нем, в Перфильеве, вскипала казацкая кровь, сердце его рвалось разделить участь с обиженным царицей казачеством и помочь Пугачеву поднять народ.

Бывалый, смысленный, он ясно видел, что все атаманы вместе с Овчинниковым, Падуровым, Витошновым умышленно притворялись, признавая Пугачева за императора Петра Третьего. Все они до единого обманывали близких и дальних, а ныне, когда народ и заправду поверил им, стали эту веру народную оберегать, стали зорко следить друг за другом – не споткнулся бы кто. Что ж, он, Перфильев, и сам нынче готов на все, хотя бы впереди и ожидала его жестокая расправа царицы... Пусть! Пятиться он не станет... Лед взломало, река тронулась, полые воды затопляют берега, и – гуляй душа, добывай казак волю!

Вытаращенными глазами глядел Перфильев в хмурое лицо Пугачева, он весь был в каком-то исступлении, готовый на любые жертвы по зову этого, вдруг ставшего родным его сердцу, человека.

– Богом клянусь и всем светом белым, – вымолвил он звонко и, выхватив саблю, с жаром поцеловал ее сталь. – Клянусь, ваше величество, на боевом оружии своем! Веди, куда народ зовет!..

Пугачев поднял руку, сказал:

– Благодарствую, Перфильев. Поди и служи мне. Служи, как я сирому народу служу!

Так был вовлечен в круг пугачевских дел один из самых верных приверженцев царя-самозванца – яицкий казак Афанасий Петрович Перфильев.

Поклонившись, Перфильев было собрался уходить, но Пугачев остановил его.

– Подай-ка мне обутики сюды, – неожиданно сказал он, мотнув рукой к печке, где лежали сапоги.

Перфильев с готовностью подал. – Пособи-ка обуться, брат... – сказал Пугачев и вытянул ногу, зорко наблюдая за выражением лица Перфильева.

Тот, припав на колени, со всем усердием напялил на ногу Пугачева сначала теплый чулок, затем форсистый подкованный сапог, вскочил, ухватился за ременные ушки и натянул поглубже, сказав при этом:

– А ну, притопните, ваше величество, ногой-то... Вошел ли?

– Вошел. Спасибо, – ответил Пугачев и многозначительно добавил: – Не гордый ты, без чванства. Ну, а другой сапог я уж сам. – Однако правую ногу обувать Пугачев не стал. Спросил казака: – Слышь-ко Перфильев, а что да что про меня в Питере-то балакают?

– Да кто его ведает, батюшка... Чернь проговаривается, пьяненькая, да и то не въявь, а скрытно: явился-де возле Оренбурга государь Петр Третий и города с крепостями берет...

– А что ж, сущая истина! – сказал Пугачев. – Сам видишь, сколько крепостей взято. А народу у меня несметно, кажинный Божий день пятьсот да тысяча, пятьсот да тысяча! Меня чернь с радостью везде примет, куда бы ни пошел я. Крестьянство, как стадо без пастыря, только голоса моего ждет. А я, братец, уж крикнул, крикнул! Аж гулы кругом пошли! Ну, а как, того... наследник мой?

– Павел Петрович обручен, а теперь, поди, и свадьбу сыграли...

– Ах, ах!.. Не довелось мне на свадьбе у сынка своего погулять. – Пугачев вздохнул и опустил голову. – Детище мое рожоное... – Затем он поднял лицо, глаза его были влажны.

Встряхнув волосами, спросил в упор:

– Веришь ли мне, Перфильев, что есть я истинный Петр Федорович Третий, император?

Перфильев замялся. Пугачев пронзил его строгим взглядом. Казак дрогнул. Испорченное оспой лицо его стало сизо-красным, как бурак, небольшие острые глаза беспокойно шмыгали по сторонам.

– Отвечай, Перфильев, – дружелюбно повторил Пугачев и как бы приоткрыл для казака некую лазейку: – Веришь ли обету моему?

– Верю, ваше величество! – громко, с облегчением выкрикнул казак.

– Верь, Перфильев!.. Ты в меня верь, а я в тебя и во всех вас верю, а наипаче народу-труднику... по зову его и объявился. И еще скажу: ежели не будет в нас веры обоюдной, от нашего дела, от обета нашего одни черепки, как от разбитого горшка с кашей, останутся, а каша-то барам в лапы угодит. Я есть царь твой, а ты мой верный раб. На том стой до смерти!

Пугачев подарил Перфильеву кармазиновый красный кафтан, одиннадцать рублей денег и коня.

Едва казак ушел, Емельян Иванович, кряхтя, стащил сапог с ноги и, оставшись снова босым, принялся за прерванную работу. Серп месяца еще больше высветлился и успел подняться над пуховыми, погружившимися в сумрак крышами. В зеленоватом небе взмигивали звезды. Ермилка принес две зажженные свечи, задернул окна занавесками.

– Ваше величество, – сказал, входя, Давилин, – к вам выборные от Воскресенского завода просят. Да еще от четырех волостей ходоки-крестьяне.

– Фу ты, и заняться не дадут, – молвил Пугачев и сплюнул. – Ну ин ладно!.. С завода пущай войдут, а крестьян на утро либо... в Военную коллегию пусть. Стой, крикни-ка Нениле, валенки мои на полатах... Да подай-ка сюда государев кафтан мой при ленте, при звезде который.

3

О приезде из Петербурга Перфильева и о том, что государь почтил его богатыми дарами, уже знала вся армия. А перебежчики донесли о нем весть и до Оренбурга. Сам Пугачев и атаманы пустили молву, что прибыл из столицы гонец с известием от самого наследника Павла Петровича: наследник выйдет-де скоро на помощь отцу с сильным воинством и тремя генералами.

Вскоре сам Пугачев с двухтысячным отрядом подступил рассыпным строем к городу. Все яицкие казаки, оставшиеся верными правительству, залезли на вал крепости в надежде увидеть Перфильева, которого знали лично.

Было раннее утро. Красноватый шар солнца медленно выплывал из-за горизонта. Перестрелка не начиналась. Обе стороны оглядывали друг друга. Перфильев молодцевато вымахнул вперед своей части и, подъехав к валу, закричал:

– Эй, казаки-молодцы! Поприглядитесь ко мне да узнайте-ка, кто я есть!

Тысячи любопытных глаз влипли в бравого наездника, любовались его красным, с меховым воротником, кафтаном, лихо заломленной на затылок высокой шапкой, серым, удало приплясывающим конем.

– А кто ж тебя знает, кто ты! – кричали с крепости. – Видим, что казак... У кого барского-то коня украл?

– Я есаул яицкого войска, Перфильев, был по вашим делам в Петербурге. А оттуда прислан великим князем Павлом Петровичем. С приказом к вам, яицкие казаки! Чтобы вы крепость бросали да шли бы служить законному императору Петру Федоровичу!

– Перфильев ли ты, не знаем, отсель личность твою не можно рассмотреть. Подъезжай ближе! Да покажи нам грамоту от Павла Петровича. Тогда мы все уйдем к вам...

– На что вам грамота? – звонко голосил Перфильев. – Глядите на меня: я сам есть живой, Павла Петровича посланник!

– Нет, брат! – отвечали с крепости. – Ты, может, и верно – посланник, только невесть от кого. Отъезжай, покуда цел!..

Тут ударила с крепости пушка, морозный воздух дрогнул, пролетевшая ворона метнулась вбок, ядро с воем пронеслось над пугачевцами. Пугачев отдал приказ возвращаться восвояси.

– Пустобаев, – сказал он могучему старику казаку. – У тебя силенка есть и голос – что труба... Садись-ка ты в эти сани да подвези под самые стены пять мешков муки...

– Кому же, ваше величество, муку-то? – соскочив с коня, пробасил гулко Пустобаев. С проседью широкая борода его моталась под ветром веником.

– А вот кому, – ответил Пугачев. – Сбрось ее там, в степу. А как сбросишь, дак возгаркни, что, мол, от государя императора подарок. Ни ружья, ни пики не бери с собой, а поезжай мирно... Чуешь?

– Сполню, ваше величество, батюшка! – Пустобаев, шевеля бровями и морща лоб, уселся в сани, заехал за мукой и двинулся по направлению к бердским крепостным воротам.

«Вот так уха из петуха! – раздумывал он. – Да уж не с ума ли спятил батюшка, чтоб непокорных снедью жаловать?»

Вскоре раздался на всю степь зычный голос старика:

– Эй, народы! Слышь, нет?

– Слышим! – донеслось от крепости.

– Как вы все изголодались, лошадей всех переели, а теперь скотские кожи в пищу употребляете, так вот царь-батюшка жалость возымел к вам... Слышите? И жалуется он вас попервости пятью мешками оржаной мучицы. Молите за отца нашего Богу да ешьте на здоровье!..

Он сбросил мешки при дороге, стегнул лошадь и, все время оглядываясь, понесся прочь.

...Вскоре возле мешков выросла толпа. Поднялись крик, ругань, а затем и потасовка. Мешки то грузились на салазки, то вздымались на загорбки. Но более сильные с боем завладевали нечаянным добром.

– Это не по-божецки! – вопили в толпе.

– Всем поровну, всем! Волоки на важно!.. Там разделим.

А когда вкатился народ с мешками в городские ворота, его сразу же окружил наряд конных полицейских да сотня казаков.

– Мирянушки! Не отдавайте! Это нам Бог послал...

– А ну, в нагайки! – скомандовал казачий сотник.

– Окаянные! Хриstopродавцы! – завывали разбегавшиеся под ударами нагаек голодные горожане. Иные из них, придя в отчаянье, повалились на тугие мешки. – Убивайте нас, – кричали они, – а добро не отдадим!..

Со всех сторон сбегались люди с дубинами, топорами, железными палками. В крепости забил барабан, скатывалась вниз, в город, вооруженная подмога. По улицам и переулкам вскипела драка. Двух стариков затоптали насмерть, какой-то тетке вышибли нагайкой глаз, кузнецу раскроили саблей голову, многим повредили руки, ноги. Люди валялись на снегу, стонали, изрыгали ругательства, ползли, обливаясь кровью, на карачках.

Перемешанные с грязным снегом и лошадиным калом, серели на дороге кучи ржаной муки, на кучках с усердием работали воробьи. Там и сям валялись в клочья раздернутые пустые мешки, чернели лапти, шапки, опорки, оторванные в драке полы.

От губернаторского дворца проскакал на коне обер-полицмейстер, следом за ним, в открытых санях, губернатор Рейнсдорп с генералом Валленштерном. Губернатор пучил во все стороны изумленные глаза, ничего не понимая.

Емельян Иваныч узнал о происшествии лишь поздно вечером. Во дворец ввалился пьяный Пустобаев, без шапки, в наспех наброшенном на плечи полушубке и, низко кланяясь сидевшим за столом Пугачеву и Шигаеву, закричал:

– Ключуло, батюшка, ключуло!

Он сипло дышал и шурился на огоньки свечей.

– Ты о чем, дед? – спросил Пугачев. – Что там у тебя ключуло!

– А мучица-то, пять мешочков-то, – оглаживая пудовой рукой бороду, ответил Пустобаев. – Ключуло, говорю... Как на приваду... Сей минут прибегли оттедова, с Оренбурху, четверо штукатуров, да три сапожника со всем струментом, да мастеров слесарного цеху человек шесть, тоже со струментом, да восемнадцать человек солдат с ружьями, с порохом, да пятьдесят два наших яицких казачишек, при них четыре бабенки, ваше величество. Ур-ра, батюшка, ура!.. – скосоротившись, заорал вдруг Пустобаев и замахал руками; по горнице гулы пошли, а Пугачев, ткнув Шигаева локтем в бок, захохотал:

– Видал, Максим Григорьич? А ты муки жалел...

Пустобаев вытер кулаком слезы на глазах и восторженно сказал Пугачеву:

– Ну, батюшка, твое царское величество! Сатана хитер, а ты, не во вред тебе будь сказано, похитрей сатаны будешь...

Пугачев опять захохотал, посплюнул пальцы и снял со свечей нагар.

– А я, как ты мне приказ отдал, все думал да думал: зачем бы это царю-государю в ум взбрело муку неприятелю подбрасывать? – продолжал Пустобаев.

– А таперь спознал? – милостиво спросил Пугачев. – Всякий теперь убедится, что в Оренбурге голод живет. Не долго уж Рейнсдорпу супротивничать моему царскому величеству. А ежели будет упорствовать, так народ с голодухи-то сам ворота отворит мне. А за верность твою и за усердие жалую я тебя, Пустобаев, чином сотника. Твои атаманы вместе с комендантом Симоновым в рядовых тебя до седых волос держали, а я вот, император, награждение тебе дарую. Служи и впредь верно, как предки твои служили моим предкам блаженной памяти.

Пустобаев повалился Пугачеву в ноги и со всем усердием стукнулся широким лбом в половицу.

Военная хитрость Пугачева имела удачный для него отзвук в Оренбурге. В народе говорили, что не пять мешков, а целых шесть возов было с хлебом, да бедноте-то не досталось ничего: немилое начальство весь хлеб спроворило себе забрать.

Вездесущая Золотариха в хлебной склоке участия не принимала, у нее в то время гулял купчик Полуехтов. Он поведал шинкарке о своем приключении в Берде, о том, как разбойник Пугачев приказал обрубить ему ухо, но спас его промысел Божий да дюжий старичина Пустобаев: «Я, говорит, этому жулику и ухо обкорнаю, и в город отвезу». В город он дей-

ствительно Полуехтова отвез, но к уху его не прикоснулся и ни гроша за услугу свою не взял. «Только, говорит, на глаза батюшке не показывайся...»

– А ведь я ему империял совал... Ну-тка, милушка, налей во здравье Пустобаева. Ура!

4

Бибиков даже при поверхностном знакомстве с положением дел в Казанской губернии пришел в отчаяние. Боже, что за колпак, что за безвольная тряпка этот Брант! Ему ли, этому старому немчуре, управлять губернией в столь смутное время?

Не выпуская из руки пера, Бибиков, при посредстве секретной комиссии, сразу впрягся в неослабную работу: день и ночь писал он инструкции, приказы, принимал множество просителей с жалобами на нераспорядительность начальства, на многие обиды и убытки, творимые восставшей чернью и башкирцами; выгонял с должностей нерадивых чиновников, заменяя их надежными людьми из своей многочисленной прибывшей с ним свиты. Узнав, что нелепой прихотью Бранта некоторые ответственные места в губернской иерархии заняты пленными польскими конфедератами, Бибиков соорудил брезгливую мину. «Отказываюсь понимать милейшего Якова Илларионыча... Какая вопиющая политическая беспринципность!»

Он все еще не находил времени как следует перемолвиться с губернатором. И вот 1 января, когда губернские чиновники приносили Бибикову новогоднее поздравление, он взял Бранта под руку, отвел в кабинет и там заперся с ним.

– Яков Илларионыч, как это случилось, что Пугачев на ваших глазах мог столь усилиться?

Брант мялся, не находя надлежащего ответа. Наконец сказал:

– Дражайший Александр Ильич, я считал бы справедливым подобный вопрос адресовать не мне, а губернатору Рейнсдорпу... В нем корень зла!

– Может быть, отчасти вы правы. И подобный вопрос, только в сугубой степени, будет своевременно Рейнсдорпу предложен. Но вот вы-то, скажите мне по-приятельски, почему так нерешительны стали в делах своих? И все у вас... гм-гм... шиворот-навыворот. Подчиненные сверх меры распущены, ни дисциплины, ничего. И эти конфедераты... Ох уж эти конфедераты! А вы с ними цацкаетесь, на балах они у вас первые гости.

Брант, волнуясь и мысленно шепча «умную» молитву, стал оправдываться:

– Ну, а что же я могу поделать, когда все меня обманывают? Кем места занимать, если честные люди редки в наш век? Тут и про конфедератов вспомнишь, и им поклонись...

– Нет, Яков Илларионыч, вы не правы. Среди нашего чиновничьего мира много людей добропорядочных, лишь надо знать секрет выискивать их. Или, быть может, вы нашим людям предпочитаете вообще иностранцев? Я прежде знал вас за человека энергического и справедливого, а вот ныне... – Бибиков развел руками. – Сами посудите, на что сие похоже: воеводы и гражданские начальники страха ради из многих мест удалились, бросили города свои на расхищение злодеям. Край оставлен без правителей, без защиты...

Брант был до чрезвычайности взволнован, он весь внутренне сжался, даже позабыл следить за пульсом.

– Все меня обманывают, все обманывают, – бормотал он и сокрушенно потряхивал головой.

– Ежели сами не можете всем распорядиться, за всем усмотреть, так приказали бы присматривать за порядком кому-либо из надежных...

– Как это возможно! – воскликнул Брант скрипучим голосом и зажевал губами. – Ежели я не поеду по губернии, так и никто не поедет...

– Удивляюсь, – сказал Бибиков и стал отдуваться, как будто ему не хватало воздуха. – Уж не больны ли вы, ваше превосходительство? Может быть, на покой хотели бы, да стесняетесь? Прошу вас быть со мной откровенным.

Бранта стало бросать в жар и в холод. «Вот оно... вот... началось», – мелькало у него в мыслях.

– Ваше высокопревосходительство, – нервно откашлявшись, сказал он, и старческие глаза его оживились. – Прошу повергнуть к священным стопам ее величества изъявление моих верноподданных чувств и заверить государыню в моей ревностной в столь тяжелое время для нашего отечества службе.

Бибиков насупился, молчал. Он заметил, как рука Бранта, оправлявшая орденский бант на груди, дрожит мелкой дрожью.

– Ну, а каков же у вас план, Яков Илларионыч, для истребления злодея?

Тогда, собрав последние силы, Брант стал излагать Бибикову свои соображения. Слушая его сбивчивую речь, Бибиков то удивленно вскидывал брови, то пожимал плечами. Неужели этот немец выжил из ума, он вовсе не мыслит широким планом, как подобает государственному мужу? Сдается, Пугачев для него то же самое, что для ребенка бука, не больше!

– Не кажется ли вам, – едва сдерживая чувство горечи, начал главнокомандующий, – что ваш план для уловления плута Пугачева недостаточно основателен и, я бы сказал... я бы сказал... просто наивен! Вы советуете защищать границы Казанской губернии, дабы не допустить за оные толпы мятежников. Не так ли? Но разве Оренбургская и прочие губернии за пределами нашей империи? Пугачева надлежит истреблять всюду, где бы он ни был обнаружен. Ежели б он и под водою скрылся, то и там его должно атаковать... – Подметив, как лицо Бранта покрывается мертвенной бледностью, Бибиков оборвал речь, испуганно звякнул в звонок и поспешил старику на помощь.

Хотя сегодня большой гражданский праздник – Новый год, но у Бибикова полна охапка всяких дел. Он направился в дом предводителя дворянства Макарова, где ожидали его казанские дворяне.

В приподнято-патриотической речи Бибиков изложил дворянам свой взгляд на происходящие в крае события и напомнил, что первый долг дворянина жертвовать не только всем своим именем, но и жизнью для спасения отечества.

– Я говорю с вами, как дворянин с дворянами. Наши интересы суть едины. Я призываю вас оказать мне немедленную помощь к прекращению до крайности возросшего зла.

Ответив Бибикову не менее парадной патриотической речью, припугнутые дворяне тут же постановили составить из собственных крепостных и своим иждивением вооружить конный корпус, собрав для этой цели по одному человеку с каждых двухсот душ. Командование корпусом было поручено родственнику Бибикова, отставному генерал-майору Ларионову.

На другой же день казанский магистрат, ведающий купечеством, постановил, по примеру дворянства, сформировать конный эскадрон гусар на своем иждивении и содержании.

В поощрение дворянству Екатерина приняла на себя звание «казанской помещицы». Bravo, bravo! Императрица умеет играть на душевных струнах своих подданных. Получив известие от Бибикова, она весьма довольна была поведением казанского дворянства: «Сей образ мыслей прямо есть благороден». И 20 января 1774 года дала указ дворцовой канцелярии: собрать с государственных крестьян Казанской губернии по одному человеку с двухсот душ и «снабдить каждого всем к службе потребным: мундиром, амуницией и лошадью с прибором».

Гонец из столицы скакал быстро. Уже через неделю Бибиков получил от Екатерины рескрипт и личное письмо. А три дня спустя, то есть 30 января, он собрал дворян, живших в Казани и окрестностях, для объявления им высочайших словоизлияний.

Дворяне, заранее ознакомленные с содержанием рескрипта, в эти три дня успели к торжественному собранию подготовиться. Предводитель дворянства Макаров позвал к себе в гости возвратившегося из Самары Державина и попросил его составить ответную от имени дворянства речь, к императрице обращенную.

– Я осведомлен, молодой человек, от вашей достопочтенной родительницы, – сказал он, – что вы искусны в пиитических опусах, а также с отменным изяществом излагаете свои мысли на бумаге.

Державин, отдавая поклоны, сначала отказывался, краснел, наконец согласился. Удалься в кабинет хозяина, куда были поданы ему для вдохновения графин смородиновой наливки и закуска, он довольно быстро набросал нужную речь и затем, сияющий, вдохновенный, приподняв плюшевую портьеру, вернулся в зал.

– Готово, ваше превосходительство! – воскликнул он, прицелкнув по бумаге перстнем. – Разрешите огласить?

– Стойте, стойте... – вымолвил задремавший в кресле хозяин. – Сейчас, душенька, своих скличу, – и приказал позвать жену и четверых ребятишек.

Явившиеся уселись на широкий, в парчовой обивке, диван. Маленькая Верочка, в бантах, удивленно открыв малиновый ротик, уставилась темными детскими глазками на великана. А тот, оправляя офицерский кушак с шелковыми кистями, нетерпеливо поглядывал на предводителя. В полукруглые, выходящие на запад окна падал солнечный холодный свет. Всюду блеск позолоты и хрусталя. В простенке – большой, писанный масляными красками, портрет императрицы во весь рост, а в противоположном простенке, от потолка до пола, богатое трюмо. Екатерина, в накинутой на плечи порфире, гляделась в зеркало и приятно самой себе улыбалась.

– В сей зале послезавтра, – сказал предводитель, сделав плавный жест пухлой барственной рукой, – генерал-аншеф Бибиков будет принимать доверившееся моему попечению дворянство. – Лицо предводителя крупное, овальной формы, одутловатое, нос широкий, приплюснутый. – Итак, приступим, – сказал он.

Державин выставил вперед левую ногу, правую руку закинул за спину и откашлялся. И все, приготовившись слушать, тоже легонько откашлялись. Откашлялась, подражая взрослым, и маленькая Верочка. Державин повел взором по портрету государыни, по лицам хозяев дома и стал с выражением читать мужественным басом, напрягая голос, все громче и громче.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.